ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗ[illegible]ТЕЛЬСТВО

[illegible]

КОМИТЕТ
ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ Г. В. ПЛЕХАНОВА

Gruppa

ГРУППА «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА»

Osvobozhdeniye truda

ИЗ АРХИВОВ Г. В. ПЛЕХАНОВА
В. И. ЗАСУЛИЧ и Л. Г. ДЕЙЧА

Sbornik

СБОРНИК № 2



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

КОМИТЕТ
ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ Г. В. ПЛЕХАНОВА

ГРУППА «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА»

(ИЗ АРХИВОВ Г. В. ПЛЕХАНОВА, В. И. ЗАСУЛИЧ И Л. Г. ДЕЙЧА)

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Л. Г. ДЕЙЧА

СБОРНИК № 2



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1924

Гиз № 7974. Главлит № 25789. Москва. Напеч. 4 000 экз.

Госиздат. 1-я Образцовая типография. Москва, Пятницкая, 71.

СОДЕРЖАНИЕ.

Г. В. ПЛЕХАНОВ

ФИЛОСОФСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ МАРКСА

(ПОСМЕРТНАЯ РУКОПИСЬ)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Найденная в архиве Г. В. Плеханова лекция [1]), посвященная философской эволюции Маркса, отличается, само собой разумеется, глубоким интересом. В известном смысле эта лекция появится в печати весьма своевременно: вопросы философии марксизма сосредоточивают на себе в настоящее время особенное внимание. Теория диалектического материализма является в наши дни господствующим философским мировоззрением. Но, на-ряду с полезной работой в этой области, мы видим, к сожалению, различного рода фальсификации и упрощения марксизма до неузнаваемости, до превращения этой сложной и тонкой теории в полную ее противоположность. Подчас совершенно ясно выступает перед нами облеченная в марксистскую терминологию старая отвлеченная схоластика. С одной стороны, оставляется в стороне конкретный реальный «базис», и вся мысль тонет в бесплодной и бессодержательной метафизической абстракции, а с другой, — устраняется сложная надстройка, ее тонкая связь с «базисом», и вместо грандиозного здания получается один только фундамент. В таких случаях очень полезно еще и еще раз представить образец истинного мастера, архитектора-творца, который искусно справлялся со всем многоэтажным зданием во всем его целом.

В трактате об искусстве великий автор «Войны и мира» иллюстрирует силу и сущность настоящего художника на одном весьма тонком и весьма удачном примере. Толстой рассказывает там, как однажды ученик Брюллова нарисовал

[1]) Она прочитана была Г. В. Плехановым в Высш. Русск. Школе в Париже зимой 1905 — 1906 г.г. *Р. П.*

картину, оставшись ею совершенно довольным. Но Брюллов, окинув взглядом произведение ученика, взял кисть и слегка коснулся ею там и тут полотна. Картина мгновенно совершенно преобразилась, все в ней приняло плоть и кровь и зажило полной жизнью. Заметив это чудодейственное преображение, ученик воскликнул: «Но ведь вы чуть-чуть коснулись ее». — «Да, — ответил Брюллов, — в области художественного творчества «чуть-чуть» и составляет существо дела» [1]). Это глубоко справедливое замечание творца-художника характеризует как нельзя лучше способность и уменье обращаться с диалектическим методом. В творчестве Плеханова вот это именно «чуть-чуть» имело решающее значение: оно удерживало от крайностей, которые всегда превращают живую конкретную диалектику в сухую, бездушную и скучную метафизику.

В этой лекции Плеханов устанавливает путь философского развития Маркса. Маркс совершил свою философскую эволюцию от метафизики Гегеля, через философию Фейербаха, завершив ее своим собственным диалектическим материализмом. Тут, кажется, нет ничего нового: эти стадии развития давно известны читателям. Тем не менее, «чуть-чуть» Брюллова нашло себе полное применение в той характеристике, которую дает ей Плеханов.

Центральная мысль Плеханова заключается, как увидит читатель, в том, что Маркс в своей философской эволюции идет от абстрактного к конкретному, от метафизики к строго научному мышлению. Завершение этого пути диалектическим материализмом определяет собою характер и содержание пройденных промежуточных стадий. Само искание Маркса вытекало не из академической мертвой любознательности, а являлось отчетливым следствием начавшегося революционного движения политической мысли, которому Маркс отдается со всей страстью и свойственными его гению силой и решительностью. «Причины борьбы, — пишет Плеханов, — с Бруно Бауэром и его единомышленниками были общественно-политические. Эти господа видели в политической борьбе чартизма и французско-пролетарской массы поверхностное, философски необоснованное и неглубокое движение. Они хотели спасти общество помощью своей критической мысли, витавшей высоко над действительностью. И Маркс не перестает их преследовать скорпионами и бичами своей иронии, беспощадно разоблачая их комическое самомнение и полное непонимание конкретной исторической действительности».

[1]) Не имея под рукою книгу *Толстого* «Об искусстве», цитирую на память, но уверен в точности передачи.

В этом периоде борьбы и критики гегелианства приходит на помощь Марксу и Энгельсу философия Фейербаха. Резкая и бурная критика идеализма Гегеля, решительное противопоставление абсолютному самосознанию мышления человека увлекает Маркса, который сам находится в периоде разрыва с Гегелем. Фейербах содействовал, таким образом, полному преодолению «пьяной спекуляции». «Вот почему, — пишет Плеханов, — Энгельс мог говорить о своем и Марксовом знакомстве с Фейербахом, как о решительном моменте их философского развития, как о разрыве с прошлым, или, употребляя его собственное выражение, как об акте самоосвобождения».

Влияние Фейербаха является, таким образом, с точки зрения Плеханова, необходимым и в то же время превзойденным звеном в философской эволюции основателей диалектического материализма.

Само собой разумеется, что некоторые элементы из философии Фейербаха вошли в диалектический материализм. Такими элементами являются общая материалистическая основа и логическая критика идеализма. Если бы из философии Фейербаха ничего не вошло в мировоззрение Маркса-Энгельса, фейербахианство вообще не могло бы считаться промежуточной стадией. «Фейербаховский человек был ему (Марксу. *Орт.*) симпатичен, как противовес гегелевскому подчинению живого человека мертвой абстракции». Но в дальнейшем развитии фейербаховский антропологический гуманизм сделался для Маркса в свою очередь новой абстракцией.

Тонко различая все стадии развития философской эволюции Маркса, Г. В. Плеханов как бы тревожно предостерегает от преувеличения и чрезмерной оценки элементов гегелианства и фейербахианства для марксизма.

Диалектический материализм представляет собой синтез, а не эклектический конгломерат вошедших в него и в то же время превзойденных элементов. Идеалистическая диалектика Гегеля, как и «конкретно-абстрактный» человек Фейербаха фактически превзойдены в теории диалектического материализма. «Весь путь, — заключает Г. В. Плеханов характеристику философской эволюции Маркса-Энгельса, — представляет три этапа: первый этап — абстрактно-гегелевское самосознание, второй этап — конкретно-абстрактный человек Фейербаха, третий и последний этап — реальный человек, живущий в реальном классовом обществе, в определенной общественно-экономической обстановке». Совершенно ясно, что общественный человек, каким его видит и определяет исторический материализм, и идеалистическая диалектика Гегеля, преображенная *в корне* материализмом, являются *совершенно новыми категориями*. Поэтому анализ

Гегелевой системы и философии Фейербаха с точки зрения их роли и значения, как стадии в процессе развития диалектического материализма, требует самой строгой, самой дотщательной и самой тонкой критики. Рассмотрение же этих стадий без надлежащей критики *должно неизбежно привести к искажению диалектического материализма и легко может положить начало возрождению этих пройденных и превзойденных стадий.*

В заключение еще два слова: в предлагаемой вниманию читателей лекции Г. В. Плеханова заслуживает особого внимания определение философии.

Это определение будет нами рассмотрено в «Красной Нови», в «Очерках по историческому материализму»,—там и тогда, когда речь будет итти о предмете, задачах и целях философии с точки зрения диалектического материализма.

Л. Аксельрод-Ортодокс.

Надо сказать правду — философию скорее следует отнести к числу наук проблематических. Когда-то, в эпоху Фалеса-Аристотеля, философия была *всем*. Она простирала свои права на все научные области. Аристотель, резюмировавший древне-классическую мысль, был, как известно, популяризатором и основателем многих наук. Он был метафизик, физик, зоолог, основатель этики и логики. Его сравнительно мало известное сочинение «Проблемы» заключает в себе целый ряд вопросов и ответов по всем известным в его время отраслям человеческого знания. Древние трактаты так и носили заглавия «О природе», «О вселенной». И эту гегемонию над наукой философия удержала вплоть до конца первой четверти XIX века. Еще к концу XVIII века скептик Давид Юм писал: «Это своего рода оскорбление для философии, если ее вынуждают каждый раз защищать себя за вытекающие из нее следствия, оправдывать ее перед всеми науками и искусствами, с которыми она не согласна, между тем как ее властный авторитет должен был бы быть признан повсюду. Это все равно, что обвинять монарха в измене своим собственным подданным» (цит. у Маркса в предисловии к его диссертации об Эпикуре. «Nachlass», B. I, S. 68). Один из академических учителей Маркса, профессор естествознания, или, по терминологии того времени, натурфилософ — Стефенс, — дал плохой отзыв об одном студенте геологе за то, что последний предпочел изучение конкретных предметов изучению «абстрактного духа». Увлечение Кантом, в особенности Гегелем, в двадцатые и тридцатые годы прошлого века доходило прямо до сказочных размеров. По остроумному выражению Михайловского, от философии Гегеля не было проходу и на берегах Москвы-реки (намек на философский кружок Станкевича и Герцена).

Все это изменилось в настоящее время. От универсальной философской монархии одна за другой отложились отдельные научные области, так что философия, считавшаяся «всем» когда-то, в настоящее время должна, можно сказать, бороться за свое существование. Она дошла до совершенной растерянности и еще до сих пор продолжает искать своего об'екта, устанавливать свой метод. Многие крупные мыслители — к их числу принадлежат Маркс и Энгельс — оспаривают ее право на самостоятельное существование. Так, в своем «Анти-Дюринге» Энгельс пишет: «Как только каждой отдельной науке ставится требование выяснить себе свое место среди всей совокупности вещей и знания, то отдельная наука о всеобщей связи явлений становится излишней. Все, что тогда остается от всей существовавшей до сих пор философии, как нечто самостоятельное, — это учение о мышлении и его законах, формальная логика и диалектика. Все же остальное поглощается положительной наукой о природе и историей» («Anti-Dühring», III Aufl., S. 11). В другом месте Энгельс говорит о философии, как о «покойной» науке.

Философия теперь не так горда, как в эпоху Давида Юма. Она считает титул *научный* самым почетным и не только не мечтает о монархической власти над другими науками, а скорее была бы счастлива, если бы ее бесповоротно признали равноправной гражданкой в свободной республике научной мысли.

Если мы, тем не менее, считаем возможным изучать, вместе с вами, *философские основы марксизма*, то мы при этом руководимся следующими соображениями:

1. И Маркс, и Энгельс не всегда так плохо думали о философии, как это должно заключить по уже цитированному месту из Энгельса. В «Zur Kritik der Naturphilosophie» («Nachlass», B. I, S. 398) Маркс написал следующие пророческие слова: «Философия находит в пролетариате свое мате-

риальное оружие, как и пролетариат обретает в философии свое духовное оружие».

2. В последнее время возникла целая литература, которая посвящена философскому обоснованию марксизма. Достаточно указать на имена Плеханова-Бельтова, Ант. Лабриола, Кроче, Вольтмана, Массарика, Булгакова, Струве, Бердяева, Ф. Адлера, Паннекука и на целый ряд статей других авторов в органах научного социализма.

3. Если мы и примем ограничение Энгельсом области философии областью мышления и его законов, то и эта область достаточно обширна и интересна. Ее-то и можно подразумевать под названием «философских основ марксизма».

4. Теория мышления и его законов предполагает общий синтетический взгляд на природу и жизнь. Мы увидим, что такой общий синтез и был дан самим Марксом и Энгельсом. Мы считаем диалектическую философию одной из самых замечательных попыток об'единяющей философской мысли.

5. Если не считать, вместе с классической метафизикой, философию наукой об абсолютных субстанциях, о которых, по меткому выражению Энгельса, мы знаем только одно, а именно то, что мы абсолютно о них ничего не знаем, то философии приходится дать следующее рациональное определение:

Философия есть система синтетических идей, об'единяющих совокупность человеческого опыта на достигнутой в данную эпоху ступени интеллектуального и общественного развития. Короче: философия есть *синтез* познанного бытия данной эпохи. Мы далее увидим, что выводы, к которым пришли Маркс и Энгельс, целиком подходят к нашему определению.

Потребность общественной мысли вызывается всеми условиями общественного и интеллектуального бытия. И чем более развиваются отдельные науки, тем настойчивее эта потребность ищет удовлетворения. Результаты отдельных наук дают только *материалы* для всеоб'емлющего научного синтеза. В области мысли, как в общественно-экономической, применим известный экономический принцип, по которому мы должны стремиться с помощью минимума средств достиг-

нуть максимального эффекта. Это своего рода интенсивное хозяйство в области мысли, конденсация мысли. Человеческий мозг в процессе своего приспособления к окружающей среде справляется с ней при помощи обобщающей мысли, стремящейся найти гармонию в кажущемся хаосе, единообразие — в бесконечном разнообразии, высшую законосообразность — в царстве кажущегося произвола и случая. Другой вопрос, возможно ли это научное об'единение, возможен ли всеоб'емлющий научный синтез? И на этот вопрос мы находим ответ у Маркса и Энгельса. Не забегая вперед, скажем пока только, что ответ этот положительный. Мы, значит, со спокойной совестью можем приступить к изложению нашей темы. Об'ект ее — конкретная, а не мнимая величина.

Остановимся прежде всего на ходе развития философской мысли Маркса и Энгельса, оговорив раз навсегда, что существует полная философская и научная солидарность между этими двумя мыслителями-материалистами, которых об'единяет беспримерная в истории идеальная дружба двух гениальных умов, как бы слившихся в один для одной общей творческой работы. Многие историки философии, говоря о Марксе, просто причисляют его к левому гегелианскому крылу. Это не вполне точно: им просто неизвестна была одна из крупнейших философских работ Маркса «Die heilige Familie» («Святое семейство», писана в 1844 году и появилась в печати в начале 1845 года). В этой работе, как мы покажем далее, Маркс самым резким образом критикует так называемых левых гегелианцев — Бруно Бауэра и его единомышленников. Но не подлежит также сомнению, что Гегель сыграл в философской эволюции Маркса немаловажную роль. Но отношение Маркса к Гегелю не так просто, как это может показаться при поверхностном изучении автора «Капитала». Отношение это подвергалось значительным колебаниям.

Оно пережило три различных фазиса. В молодости Маркс был безусловным поклонником философии Гегеля. Это—Маркс второй половины тридцатых годов. К этому периоду относится его диссертация об Эпикуре, предисловие которой помечено: март 1841 года. Марксу тогда было 23 года. В этой первой теоретической работе Маркса гегелевское Selbstbewusstsein — самосознание — играет роль руководящей идеи.

«От великого и смелого плана «Истории философии» Гегеля надо, по мнению молодого Маркса, считать начало история философии вообще». Он считает Гегеля «мыслителем - великаном» (den riesenhaften Denker). Он преклоняется пред «абсолютным, мировым» (weltbezwingend) могуществом философии, обращающейся к своим противникам со словами Эпикура: «Безбожник не тот, который презирает богов толпы, а тот, который склоняется к мнениям толпы о богах». «Философия, — продолжает Маркс, — не скрывает этого. Исповедь Прометея: «Я ненавижу всех богов» — есть ее собственная исповедь, ее собственный приговор над всеми небесными и земными богами, не признающими человеческого самосознания верховным божеством. Нет другого бога, кроме него». Это в гегелевском стиле. Известно, что Гегель признал самосознающий Дух абсолютным существом. Характерны для будущего Маркса - революционера и эта симпатия к мифу Прометея, самого революционного типа древней мифологии, антагониста богов и светоносителя, и эти смелые слова о «ненависти ко всем небесным и земным богам» во имя самосознания, превратившегося впоследствии у его противника Бруно Бауэра в «критическую мысль».

Вот почему Энгельс мог говорить о своем и Марксовом знакомстве с Фейербахом, как о решительном моменте их философского развития, как о разрыве с прошлым, или, употребляя его собственное выражение, как «об акте самоосвобождения». Это было самоосвобождение от гегелевской спекулятивной философии. Это был конец первого философского периода в развитии Маркса и Энгельса.

В наше время может показаться непонятным и странным это массовое увлечение интеллигенции тридцатых годов прошлого века гегелевской метафизикой. На это, конечно, были свои причины. Немецкая экономическая и политическая жизнь, немецкая культура стояли тогда на очень невысокой ступени развития. Подобно нашей народнической интеллигенции семидесятых годов, немецкая интеллигенция того времени доказывала необходимость самобытного развития Германии, невозможность развития в ней капитализма, считавшегося английской болезнью, и революционного пролетариата, считавшегося болезнью специфически французской. При отсутствии политической и общественной жизни вся энергия творческой мысли передовой интеллигенции уходила в философию и литературу. Чем безотраднее была окружающая жизнь, тем отвлеченнее становилась оторванная от жизни мысль. Не находя вокруг себя ничего достойного преклонения, мысль преклонилась пред собой, признала себя абсолютом, чуть ли не божеством. Во Франции одна революция сменяла другую, потрясая и волнуя весь мир, а в это время в Германии происходила бескровная борьба философских систем: одна система заменяла другую, — Кант вытеснял Вольфа, Фихте вытеснял Канта, Гегель вытеснял Фихте, и эта борьба тоже страшно волновала мир — мир ученых и студентов философского факультета.

Но как об'яснить торжество метафизики после уничтожающей критической работы Канта? Как мог такой гениальный ум, как Маркс, увлекаться «Феноменологией» Гегеля после «Критики чистого разума» Канта, который, казалось, навсегда разрушил возможность туманных метафизических построений? Это, во-первых, показывает, что вышеуказанные жизненные причины оказались сильнее идеологической критики кенигсбергского философа. Раз общественная атмосфера тогдашней Германии заключала в себе элемент возможности и необходимости развития метафизических систем, то философская критика Канта, как бы сильно она ни действовала на отдельные умы, в общем была бессильна в борьбе с метафизикой.

Во-вторых, сам Кант, благодаря двойственному (дуалистическому) характеру своей философии, был до известной степени виновником того небывалого расцвета метафизики и отвлеченной умозрительной философии, который начался при его жизни и продолжался после его смерти. В известном смысле можно считать Канта самым основательным, а потому и самым опасным метафизиком. И в самом деле, какова была основная мысль кантовской философии, поскольку она получила свое выражение в антиметафизической «Критике чистого разума»? Вот она в двух словах. Кант показал, что человеческий разум не имеет других средств, кроме чувственного опыта, для расширения нашего знания или, как он выражался, для синтетических построений a priori. Все бесконечно разнообразное содержание нашей мысли

дается нам опытом — и только опытом. Вне опыта мысль пуста, бессодержательна. Это был смертный приговор метафизике, претендующей возвыситься над опытом, стать трансцендентальной. Но это была половина дела Канта. Кант пошел дальше. Он поставил вопрос: как возможен сам опыт? И ответил решительно: Опыт возможен, исключительно благодаря свойственным нашей чувственности и нашему разуму априорным, внеопытным или надопытным элементам: времени, пространству и причинности. Мы говорим о науке, о научных законах. Но научный закон предполагает, что известное сочетание явлений происходит всегда и везде, другими словами: закон заключает в себе понятия всеобщности и необходимости. Но разве опыт дает право на признание какого-нибудь факта всеобщим и необходимым? Опыт ограничен во времени и пространстве. Опытом можно установить лишь то, что во всех известных нам случаях явление совершается известным образом. Но говоря *всегда и везде*, мы выступаем из области опыта. Кант, таким образом, пытался пробить брешь в самом опыте. *Он сделал из самой науки опору для метафизики.* Он от невозможности всеобщего и необходимого опытного знания не умозаключил, подобно позитивной мысли нашего времени, к относительности нашего знания вообще, а к невозможности науки без априорных идей. «В природе, — говорит он, — нет законов. Это наш разум диктует ей *свои* законы». Это основная, руководящая мысль Канта. Если наша мысль без опыта пуста до бессодержательности, то и опыт без трансцендентальной, т.-е. безаприорной, мысли слеп до неузнаваемости. Мысль творит науку, законодательствует в природе. Вот эти-то учредительные и законодательные функции суеверного человеческого разума широко раскрыли двери позднейшей метафизике. Раз наш разум творит науку и законы природы, то его силы неограничены.

И Фихте обвиняет Канта в непоследовательности. Он опирается на эту законодательную и учредительную власть разума и делает из него абсолютного творца вселенной. Мир, учил он, это продукт моего разума, моего *я*. Гегель пошел дальше. Он превратил этот творческий, законодательный разум в абсолютный дух. И наш бедный мир оказался лишь бледной копией какого-то духа-невидимки. Носителем этого абсолютного Духа оказался человек, вернее философ, усвоивший Гегеля. Мир был поставлен на голову. Философ получил божественные, творческие функции. Он носил в своей голове лабораторию мира. Наука, религия, искусство, право, общество и семья — все это, проделывая целый ряд удивительных диалектических процессов, выходило в готовом виде из этой лаборатории нашего ума. Неудивительно, что энтузиасты мысли, — а к ним, бесспорно, принадлежал молодой гениальный Маркс, — страстно увлекались такой системой философии, которая отводит разуму, т.-е. философствующей интеллигенции, такую высокую, можно сказать, божественную роль. Нет радости выше радости творчества. Диалектическая игра ума опьяняет, как наркотик.

Осторожный и научно дисциплинированный ум Канта отводил разуму роль конституционного монарха, законодательные права которого ограничиваются и гарантируются нашими пятью чувствами, опытом. Фихте и Гегель террористически уничтожили эти демократические гарантии и провозгласили диктатуру Разума, «самодержавие Духа». Его власти теперь не было предела. Спекулятивная, абстрактная философия грозила обратить конкретный мир, конкретную жизнь в бездушную абстракцию — на радость и выгоду господствовавшему абсолютизму, признававшему в философии Гегеля официальную философию прусского полицейского государства.

Но жизнь развивалась. Волны революционного движения переплеснулись из Франции в старую, добродетельную Германию, демократическое движение охватило широкие общественные слои. Вожди молодой Германии, Людвиг Берне и Генрих Гейне, пошли в изгнание и очутились в центре революционного движения, в Мекке тогдашней демократии — в Париже. Отсюда Берне пишет свои полные революционного энтузиазма и огня «Парижские письма». Отсюда Гейне посылает свои ядовитые стрелы ancien regime'у. Это движение увлекает Маркса, и он, благодаря своей решительности и дарованиям, немедленно оказывается в его центре. Он становится редактором лучшего демократического органа. Он покидает заколдованное царство спекулятивной философии для суровой практической борьбы. Борьба с прусским абсолютизмом должна была охладить в молодом Марксе энтузиазм к гегелевской философии.

Мы вступаем во второй фазис его философского развития, — в период его решительной борьбы с традиционным гегелианством. Это период сороковых годов, период «Heilige Familie», важнейшего философского документа этого периода.

В «Heilige Familie» Маркс самым беспощадным образом осмеивает гегелевскую философию: он это делает в форме критики эпигонов Гегеля, критики братьев Бруно и Эдгара Бауэра. Но достается и самому Гегелю. В «Heilige Familie» он безжалостно срывает с спекулятивной философии ореол философского величия, показывая ее во всей ее абстрактной наготе и вскрывая вместе с тем ее логическую подкладку.

В Гегеле Маркс видит три элемента: субстанцию Спинозы, самосознание Фихте и основанное на противоречии этих двух элементов единство абсолютного духа, принадлежащее самому Гегелю. Но что такое, — спрашивает Маркс, — субстанция Спинозы? Это метафизически переодетая природа. Что такое самосознание Фихте? Это метафизически переодетый дух, оторванный от человека. А метафизически переодетое единство этих двух элементов и представляет гегелевский абсолютный дух («H. F. Nachlass», S. 247—248). Другими словами, гегелевская философия представляется Марксу во второй период его философского развития в виде фиктивного об'единения двух фикций. Два 0 в сумме или произведении дают 0.

Философия истории Гегеля есть спекулятивное выражение христианской догмы о противоположности духа и материи, бога и мира («H. F.» «Nachl.», S. 186). Спекулятивная критика,—говорит Маркс в другом месте,—превращает человека в логическую категорию (Ib., S. 195). Спекулятивная философия, а именно философия Гегеля, в решении всех вопросов заменила язык здравого смысла языком спекулятивного разума, а действительные вопросы превратила в спекулятивные вопросы. Она извращает обыкновенные человеческие вопросы и, подобно катехизису, дает свои ответы на измышленные ею же вопросы («H. F.», «Nachlass», S 192). Дух смотрит на массу, как на материал, и находит свое абсолютное выражение лишь в философии. Исторический процесс совершается бессознательно. Абсолютный дух в виде философа является только *post factum* (Ib., S. 187). Истина для Гегеля автомат, себя самое доказывающая (S. 179).

История превращается в метафизический суб'ектив, — олицетворяется (Ib., S. 180). Особенно ярко характеризует Маркс фиктивный характер абстрактного гегелевского метода в следующих словах: «Когда я, на основании знакомства с действительными яблоками, грушами, земляникой, миндалем, выработаю себе представление «*плод*», когда я затем иду дальше и воображаю, что мое отвлеченное представление «плод» существует вне меня и даже составляет истинную сущность груш, яблок и т. д., то я, — выражаясь языком умозрительной философии, — об'являю «плод» «субстанцией» груш, яблок и т. д. Я говорю: для груши не существенно то обстоятельство, что она является в виде груши, для яблока не существенно быть яблоком. Существенно в них мною от них же отвлеченное представление: «плод». И я об'являю яблоко, груши, миндаль и т. д. простыми видами существования — Mode «плода». Мой конечный, опирающийся на внешние чувства, рассудок отличает яблоко от груши и грушу от миндаля, но мой спекулятивный разум об'являет эти различия неважными, несущественными, он видит в яблоке то же, что и в груше, в груше то же, что и в миндале — «плод». Различные действительные плоды рассматриваются им лишь как плоды-призраки, истинной сущностью, «субстанцией» которых является «плод».

Отсюда видно, что если христианская религия знает лишь одно воплощение божества, то спекулятивная философия обладает столькими воплощениями, сколько есть вещей, подобно тому, как она здесь в каждом плоде видит воплощение субстанции, воплощение абсолютного плода... Когда обыкновенный человек говорит, что существуют яблоки, груши, то он не думает сказать этим что-нибудь необыкновенное. Но спекулятивный философ, высказывающий то же самое на спекулятивный манер, изрек нечто необыкновенное. Он совершил чудо. Он из недействительного, воображаемого существа: *плод вообще*—создал действительно существующие предметы: яблоки, груши, т.-е. он из своего абстрактного разума, который он себе представляет в виде абсолютного суб'екта, находящегося вне его, в данном случае из плода, создал эти определенные плоды утверждением существования всякого предмета; он таким образом производит акт творчества (Ib., S. 156 — 158).

Маркс поэтому так резко отзывается и о гегелевской философии вообще, и о так называемой «Критической критике» Бруно Бауэра — в частности. Он пишет в «Heilige Familie» (стр. 114): «Критика (Бауэра) занимается исключительно составлением формул из категорий существующего, а именно, из существующей гегелевской философии и из существующих социальных стремлений. Да, формулы, ничего больше как формулы, и, несмотря на свою брань против догматизма, она (т.-е. критика Бауэра) сама впадает в догматизм, да еще в бабий догматизм. Гегелевская философия — отцветшая, овдовевшая старушка, которая изукрашивает румянами свое до абстракции исхудавшее тело и ищет себе по всей Германии поклонника».

Маркс не мог бы так безусловно резко и *без всяких оговорок* отозваться о философии Гегеля, если бы он в то время придавал ей то значение, которое и он и Энгельс придавали ей в свой окончательный, третий, период развития, когда они выработали основы научного социализма. Как известно, они тогда видели в философии Гегеля философскую систему, выработавшую могущественное орудие исследования, — диалектический метод. На расстоянии более двадцати листов «Святого семейства» мы ни разу не встречаем оценки *этого* положительного значения гегелевской философии. Нам остается заключить, что в сороковые годы Маркс и Энгельс, под влиянием борьбы с реакцией, прикрывавшейся гегелевской философией, и с философским филистерством лево-гегелианцев, презрительно взиравших с высоты своей «критической» мысли на волнующуюся, необразованную, «некритическую» чернь, абсолютно отрицательно относились к Гегелю, не думая тогда отделять зерна от плевел, диалектический метод от абсолютного духа.

Причина борьбы с Бруно Бауэром и его единомышленниками была общественно-политическая. Эти господа видели в политической борьбе чартизма и французской пролетарской массы поверхностное, философски не обоснованное и не глубокое движение. Они хотели спасти общество помощью своей критической мысли, витавшей высоко над действительностью. И Маркс не перестает их преследовать скорпионами и бичами своей иронии, беспощадно разоблачая

их комическое самомнение и полное непонимание конкретной исторической действительности.

Ко второму же периоду — антигегелевскому — относится и знакомство Маркса и Энгельса с философией Фейербаха. О влиянии Фейербаха сам Энгельс пишет следующее: «Я считал, что за нами остается долг чести: полное признание того влияния, которое имел на нас больше, чем какой-нибудь философ послегегелевской эпохи, Фейербах в период бурных стремлений». «Период бурных стремлений» это в нашей характеристике второй, антигегелевский, период философского развития Маркса и Энгельса. Известно, что периоду «бурных стремлений» («Sturm und Drang-Periode») свойственна склонность перегибания палки в другую сторону. В философской эволюции Маркса и Энгельса это выразилось в сороковые годы в крайне несправедливом отношении к философии Гегеля, сменившем крайне восторженное к ней отношение тридцатых годов.

Возвратимся, однако, к влиянию Фейербаха. Согласно Марксу, Фейербах покончил с «негодным старьем (alter Plunder) бесконечного самосознания». Фейербах—антипод Гегеля. Он исходит из реального человека и смотрит на теологию и метафизику, как на продукт человеческого творчества. В лице Фейербаха философия опускается с неба абстракции на реальную землю. «Он признал человека, — говорит Маркс в «Heilige Familie» (стр. 195), — сущностью, основой всей человеческой деятельности, человеческих состояний». Для Маркса того времени — человек, достойное человеческое существование, человечность являются теми магическими словами, которые открывают путь к пониманию действительной жизни. Маркс, как мы сейчас увидим, пошел дальше фейербаховского человека, слишком общего, а потому слишком абстрактного существа. Но фейербаховский человек ему был симпатичен, как противовес гегелевскому подчинению живого человека мертвой абстракции. Фейербах, заявляет Маркс, противопоставил пьяному умозрению трезвую философию («H. F.», «Nachlass», S. 232).

В «Heilige Familie» Маркс дает краткий исторический очерк французского и английского материализма. Он находит необходимым дополнить философский материализм фейербаховским гуманизмом. Материализм развивается в борьбе с су-

ществующими политическими учреждениями, как и с теологией и метафизикой, со всякой метафизикой... Союз материализма и гуманизма навсегда победит метафизику. Французский и английский социализм и коммунизм и представляют этот синтез фейербаховского гуманизма с материализмом.

Если материализму XVIII века удалось победить метафизику XVII века, то этим мы обязаны прежде всего практическим требованиям французской жизни. Внимание общества было поглощено реальными интересами (S. 234). Мы не можем коснуться подробно замечательной исторической оценки, которую Маркс дает в «Heilige Familie» различным материалистическим системам. Отметим одно. В «Heilige Familie» нет и намека на те оговорки, которые мы встречаем в сочинениях третьего, окончательного, периода философского развития Маркса и Энгельса, когда уже вполне оформилось миросозерцание, обеспечившее им такое почетное место в истории. Мы на каждом шагу чувствуем, что мы имеем дело с переходным периодом, с промежуточной стадией развития. Маркс и Энгельс ушли, освободились от Гегеля, но еще не стали вполне на свой «собственный», настоящий путь. Но весь путь их представляет три этапа: первый этап — абстрактное гегелевское самосознание, второй этап — конкретно-абстрактный человек Фейербаха, третий и последний этап — реальный человек, живущий в реальном классовом обществе в определенной общественно-экономической обстановке. Линия развития основателей материалистического понимания истории для нас таким образом вполне выяснена. Мысль их, постепенно углубляясь и расширяясь, развивается от абстрактного к конкретному, от исторически бессодержательного к исторически определенному, от психологического индивидуализма и суб'ективного морализма к историческому об'ективизму и материализму.

Все те, которые в настоящее время стремятся к «реформе» и «пересмотру» марксизма, внесением в него, так называемого, общечеловеческого и морального элемента, должны, по добросовестном изучении генезиса этого миросозерцания, признать, что они, в сущности, апеллируют от Маркса к Марксу же, т.-е. от зрелого и окончательно установившегося Маркса к Марксу, находившемуся в периоде колебания, от Маркса как диалектического материалиста к Марксу гуманисту, поклоннику Фейербаха, т.-е. к исторически пройденной и изжитой самим Марксом ступени развития.

Не говоря уже о том, что наш девиз должен быть скорее: «вперед!», чем «назад!» и что, развиваясь «по Марксу», но в обратном направлении, чем сам Маркс, можно, пожалуй, добраться и до еще более раннего периода его развития, вплоть до его юношеского восторга перед гегелевским «самосознанием», окрестив его как-нибудь иначе, соответственно времени. Не говоря уже обо всем этом, мы должны обратить внимание на следующее немаловажное обстоятельство. На протяжении всей истории так называемых высших идеологий мы неизменно наталкиваемся на следующий факт: чем выше *теоретическая* оценка человека, тем ниже, тем хуже *практическое* к нему отношение. Возьмите, например, традиционное христианство. Оно окружает человека мистическим ореолом, производит от него высший об'ект своего культа. Практически же оно отдает его во власть земных и небесных эксплоататоров. Не было такой несправедливости, такой жестокости, которая не получила бы мистической санкции и благословения святой христианской церкви. Возьмите, далее, официальный, демократический девиз очень высокой формальной ценности: свобода, равенство и братство. Уже более ста лет, как этот прекрасный девиз как нельзя лучше уживается с экономической, политической и идеологической эксплоатацией масс. Спекулятивная гегелевская философия, реставрировав мистического человека, немедленно отдала его под палку прусского политического режима. Прудон, во имя вечной истины, вечной справедливости, написал двухтомную апологию войны à la Мольтке, а «бессердечный материалист» Маркс был вождем I Интернационала...

[На этом рукопись кончается.]

В. И. ЗАСУЛИЧ

НЕЧАЕВСКОЕ ДЕЛО

(ПОСМЕРТНАЯ РУКОПИСЬ)

Настоящие записки Веры Ивановны Засулич найдены были мною летом 1922 г. среди ее бумаг, хранившихся в архиве Г. В. Плеханова в Париже. Записки эти были начаты ею, вероятно, еще зимой 1883 г., когда мы, члены незадолго перед тем возникшей группы «Освобождение Труда», решили прочитать в Женеве ряд рефератов о нашем революционном движении. Ввиду робости Веры Ивановны, друзья ее — Плеханов, Стефняк и я — долго уговаривали ее рассказать на собрании о нечаевском деле, по которому, как известно, она привлекалась. Согласившись, наконец, она набросала конспект, но, когда наступила ее очередь выступить с докладом, она до того растерялась, что не в состоянии была произнести ни слова, и собравшиеся разошлись, ничего от нее не услыхав. Затем, спустя много лет, Вера Ивановна, повидимому, задалась целью переделать оставшиеся у нее наброски этого непроизнесенного реферата в статью, вероятно, для какого-нибудь возникшего в России во второй половине 90-х г.г. легального марксистского журнала: на это указывает ее стремление придать этим запискам характер об'ективного изложения, без всякого упоминания о ее личном участии в нечаевском деле. Повидимому, для того, чтобы цензура не могла догадаться, кто автор, Вера Ивановна не называет даже своих сестер, также привлекавшихся по этому делу. Что записки эти она предназначала для печати, видно также из тщательно переписанной ею первой части и из сделанного ею на одном листе подсчета количества заключающихся на нем букв, с припиской: «из моих 2-х стр. выходит одна печатная».

Для лиц, знакомых с делом Нечаева, нет ничего нового в этих набросках; все же, ввиду ограниченности материала о той эпохе,—о второй половине 60-х г.г.,—небезынтересны личные впечатления Веры Ивановны о настроении тогдашней

молодежи, а также ее отношение к нечаевским приемам и стремлениям и заключительные ее замечания.

Как я уже упомянул, имеются полный текст и с большими изменениями переписанный на-бело второй экземпляр второй части, но с некоторыми существенными пропусками из первого. Я помещаю второй вариант, дополнив его всем тем, что Верой Ивановной было опущено из черновой тетради.

Далее, ввиду того, что часть правой стороны первых 4-х страниц, не имеющих дубликата, оказалась оторванной, я по смыслу постарался восстановить отсутствующие слова, взяв это в прямые скобки.

Слова, поставленные мною в двойные скобки, обозначают зачеркнутое в рукописи. В конце этих записок я счел полезным поместить замечания, сделанные по прочтении их старшей, в минувшем году умершей, сестрой Веры Ивановны,— Александрой Ивановной Успенской, в памяти которой очень хорошо сохранились многие подробности из того отдаленного прошлого.

Л. Д.

I.

Каракозовское дело, конечно, займет в истории нашего движения гораздо более [скромное] место, чем нечаевское. [Его] подробная история, быть может, станет известной не раньше, как [документы] III Отделения подвергнутся разработке.

Это был заговор, [дело], тайное не для полиции только, [но и] для окружающих его более [мирных] элементов, на которых стара[лись дей]ствовать члены общества. Ишу[тин у]говорил [уговаривал? *Л. Д.*] их в таком роде: наступит великий час, мы люди обреченные, [его он] называл прекрасной Фелициной [?]. Судя по рассказам о нем, это был тип революци[онера], умевший разжигать настроение слушателей представ[лением] о чем-то великом и таинственн[ом]. Как кружок, это общество су[ществ]овало с 63 г.; [члены его] обучали в школе, имели 2 ассоциации и сообща уст[роенное] общежитие, [[вероятно, задолго до катастрофы]]. Во всяком случае, к осени 65 года это были уже заговорщики: члены принимались с клятвами, [и в их] среде успел уже даже обра[зовать]ся раскол, более крайние сос[тавля]ли, так сказать, общество [в общ]естве под названием «Ад».

[Целью его] было, [вернее] шла [в нем речь], об избиении царской фами[лии, при] чем крайние стояли за пред[варите]льную агитацию, пропаганду. [Оно] приговорило 17 чел. [После] выстрела Каракозова полиция [напал]а на след этого заговора.

Система, [как вес]ти себя на следствии, в то время [не] могла даже и начать еще выра[бат]ываться, люди, как видно, по большей части считали нужным на каждый [воп]рос следователей давать более или [ме]нее правдоподобный ответ, лживый, [ко]нечно, кроме нескольких предателей, — [на]шлись и предатели. Начались очные [ст]авки, уличения во лжи, давались новые [о]б'яснения: запутались даже такие люди, как сами Худяков, Ишутин; и понемногу все члены [без иск]лючения были открыты: [нелегаль]ность тогда изобрете[на не] была, дожидаясь ареста, [спокой]но оставались на своем [месте]; все были переловлены и [посланы] в Сибирь.

С тех [пор] о [каракозовцах не] было слышно: никто из [них] не выплыл в поздней[шем дви]жении, а они только и м[огли] бы подробно рассказать о [своем] деле [I].

В последнее время [поя]вились воспоминания Худя[кова] [1], но там подробно рассказано с[лед]ствие, поскольку оно касалось... самого Худякова, о московском тайном общ[естве], из которого вышел Каракозов, [[говорится очень мало]], его [он] едва касается: он говорит, что это были люди энергичные, талантливые, выработанные, но все они [скоро] были изловлены и отправлены в Сибирь; на свободе были [оставл]ены только люди, оказавшиеся, [после] подробнейшего рассмотре[ния] самой муравьевской ко[миссией], вполне невинными, а, сле[дователь]но, уже действительно [невин]ные. Опыта, традиции внести [в но]вое движение они не могли, [а также не мог]ли составить ядра, вокруг [ко]торого группировались бы но[вые] элементы.

«Что делать» [Чернышевского] продолжало перечитываться молодежью, но самый доступный, легко исполнимый

[1] Эта брошюра по предложению Лаврова, получившего рукопись, кажется, из Сибири через д-ра Белоголовова, была напечатана в устроенной мною для народовольцев типографии летом 1882 г. в Женеве. Следовательно, раз В. Ив. говорит здесь «в последнее время», значит, она не очень долго спустя после появления воспоминаний Худякова писала *эти* строки. *Л. Д.*

из являвшихся прежде ответов на поставленный в заголовке романа вопрос — заводить ассоциации — уже не удовлетворял [1]. В предыдущий период ассоциации, по большей части швейные, росли, как грибы, но большая часть из них вскоре распадалась, а некоторые кончались третейскими судами, ссорами (II). Заводились они по большей части женщинами, настолько состоятельными, чтобы купить швейную машинку, нанять квартиру, нанять на первый месяц, пока не будут раз'яснены им принципы ассоциации, двух или трех опытных модисток. В члены набирались частью нигилистки, не умевшие шить, но горячо желавшие «делать», частью швеи, желавшие только иметь заработок. В первый месяц сгоряча все шили очень усердно, но более месяца шить по 8 — 10 час. в день ради одной пропаганды примером принципа ассоциации, к тому [же] без привычки к ручному труду, мало у кого хватало терпения. Шить начинали все меньше и меньше. [[К тому же и швеи]], мастерицы негодовали и сами начинали небрежно относиться к работе; заказы убывали. Лучшие работницы скоро покидали мастерскую, так как приходившиеся на их долю части дохода оказывались меньше жалованья, которое они получали от хозяина, несмотря на то, что основательницы по большей части отказывались от своей доли. Иногда дело кончалось тем, что мастерицы забирали себе машины и основательниц выгоняли из мастерской. Устраивались третейские суды. «Сами же постоянно твердили, что машина принадлежит труду», — защищалась бойкая мастерица перед таким судом, на котором мне случилось присутствовать. «А уж какой с них был труд, — как есть никакого: только, бывало, разговоры разговаривают!» Суд не признал, однако, мастерицу олицетворением «труда» и присудил машинку возвратить.

[1] Увлекались снами Веры Павловны, Рахметовым. Но что же именно делал Рахметов? Что делать для осуществления снов Веры Павловны? Пересоздать существующий строй. Рахметов — революционер. Это говорили, но смысл в такие слова вкладывали самый туманный, самый разнообразный. Был, однако, указан в романе и путь к некоторой подготовке осуществления снов — швейные ассоциации. Вещь, как казалось, очень простая, легкая, доступная каждому, у кого есть деньги на покупку машины и на наем квартиры.

Так же плохо шли и переплетные мастерские, хотя там менее сложный и не требующий долгой предварительной подготовки труд был более приспособлен к ассоциации (II).

В 69 году затишье, наступившее вслед за каракозовщиной, еще продолжалось во всей силе. Из людей 60-х годов иные сошли со сцены, другие куда-то попрятались, и [[по меньшей мере]] зеленой молодежи, под'езжавшей из провинции после погрома, не было к ним доступа. Она оставалась совершенно одна; ей предстояло отыскивать дорогу собственными силами. Каракозовщина не оставила ядра, около которого она могла бы группироваться. Я говорю, конечно, о среднем уровне молодежи, затронутой разыгравшимся зимою 68—69 годов в Петербурге пролог[ом] неч(аевского) дела. Такая изолированность молодежи, отсутствие пропаганды в ее среде, отсутствие соприкосновения с людьми сложившегося миросозерцания, могущими [[ответить]] помочь в разрешении вопроса: «что делать?», — приводило ищущую дела молодежь в тоскливое, тревожное состояние.

Те надежды, с которыми ехала она в Пет[ербург], оказывались обманутыми. Начало 60-х годов облекло столицы, а в особенности Петербург, в самый яркий ореол. Издали, из провинции, он представлялся лабораторией идей, центром жизни, движенья, деятельности. В провинции между семинаристами и гимназистами седьмого класса, между студентами провинциальных университетов образовывались маленькие группы юнцов, решившихся посвятить себя «делу», как тогда многие выражались кратце, или даже просто — «революции». А за выяснением, что это за «дело», что за «революция», начинали рваться в Петербург: там все узнаем, там-то выяснится. Дорвавшись, наконец, [[до Питера]], преодолевши иногда для этого, при крайней бедности большинства [[из них]], величайшие затруднения, они являлись в Питер иногда целой группой, человек в 5—6, и [начинали] всюду толкаться, знакомиться, расспрашивать, но, натыкаясь [везде], куда [они] могли проникнуть, на ту же шаткость и неопределенность понятий, на те же нерешенные вопросы, на «ерунду», от которой бежали из провинций, они скоро впадали в уныние, тревожное состояние. Но, после яркого,

насильственно задавленного движения начала 60-х г.г., чувствовалась просто потребность в каком-нибудь проявлении движения, так что, например, фразы: «Хоть бы студенческое движение что ли было!» можно было слышать еще летом, прежде чем студенты с'ехались.

II.

Не знаю, кому первому пришла идея затеять студенческие волнения, — вероятно, многим сразу, [[но несомненно, что]] в таких-то кружках, о которых я только [что] говорила, в особенности являвшихся в Петербург на второй год и уже успевших разочароваться в нем, идея студенческих волнений должна б[ыла] встретить живейшее сочувствие. Конечно, это не «дело», не работа для «блага народа», не «революция», но хоть «что-нибудь», какая-ниб[удь] «жизнь». Уже в начале [[сент.]] осени 1868 года [[как только собрались студенты]] во многих студенческих кружках можно б[ыло] слышать, что [[в этом году]] к Рождеству непременно будут студенческие волнения, что будут требовать касс и сходок. Кассам-то, собственно, несмотря на крайнюю бедность, придавалось лишь второстепенное значение — добьемся их, — хорошо, но если не добьемся, — тоже хорошо: сходки привлекательны сами по себе.

Они, действительно, сами по себе, независимо от цели, должны б[ыли] удовлетворить реальную действительную потребность в движении, в общественной жизни. Некоторые инициаторы движения на сходки возлагали и другие, более определенные, надежды: на них ознакомятся между собой лучшие люди из молодежи, образуется и сплотится кружок из наиболее определившихся людей, выдвинутся и выработаются способные деятели [[личности]].

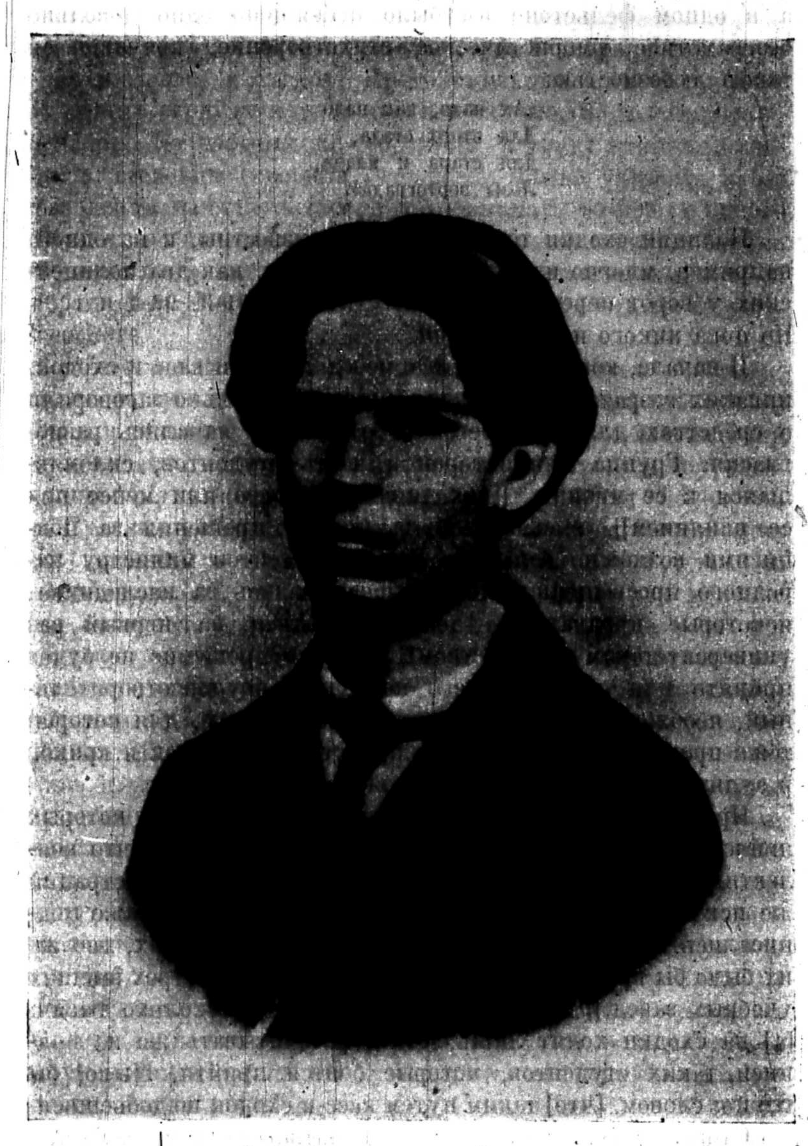
Всю осень шла агитация, и в декабре, действительно, начались сходки. Собирались эти сходки на частных квартирах, всегда на разных. [[Иные либеральные барыни, знакомая дама]], иной раз какая-нибудь зажиточная семья предоставляла по знакомству в распоряжение [[студентов]] инициатора сходки свою залу, в которую и набивалось битком 2—3 сотни студентов. Иногда собирались и на студен-

ческих квартирах, и тогда сходка разбивалась на две-три группы по числу комнат, так как в одной всем уместиться б[ыло] невозможно. Всем приходилось, конечно, стоять, и теснота бывала обыкновенно страшная. На Рождестве сходки особенно участились [[и каждые 2 — 3 — 4 дня где-нибудь да назначалась сходка]]. Собирались студенты из университета и из [[медицинской]] технологического института, но самый большой процент составляли медики. На сходки ходило также человек 10 — 15 женщин; женских курсов в то время не было, — приходили просто женщины, сочувствовавшие движению студентов.

На самых больших и удачных сходках ораторы обыкновенно влезали поочередно на стул и оттуда произносили свои речи, вертевшиеся на первых порах на необходимости для студентов иметь кассы и право сходок. Никакое бюро при этом не выбиралось, а раздачей голосов заведывала группа инициаторов, доставававшая также квартиры, оповещавшая о месте сходок и т. п.

В числе этих инциаторов [[скоро всем сделалось известно одно имя, прогремевшее впоследствии на всю Европу]] был и Нечаев. Во всеуслышание он говорил редко; на стуле почти не появлялся; [[тем не менее в организации входил и принимал деятельное участие]]; воля его чувствовалась всеми. [Он] заботился о достаточном количестве ораторов, в которых, в начале особенно, чувствовался недостаток. С личностями, чем-ниб[удь] выдвинувшимися, отличившимися, тотчас же знакомился, уводил к себе в Сергиевское училище, где он занимал место учителя, и сго[варивался], о чем говорить в следующий раз [[на сходке]].

Никакой тайны из этих сходок не делали, наоборот, на них старались затащить всех и каждого. На Рождество несколько усердных пареньков взяли даже на себя обязанность, переписавши в конторах заведений адреса студентов I и II курса (остальные считались безнадежными, так как из них посетителей сходок не насчитывалось и десятка), обегать все квартиры и звать всех на сходки. Тем, кого не заставали дома, оставляли записочки с адресом ближайшей сходки и с несколькими упреками, зачем, мол, не ходит.



С. Г. Нечаев во время процесса.

Сведения о сходках начали появляться даже в газетах, а в одном фельетоне им было посвящено одно довольно безграмотное юмористическое стихотворение, кончавшееся такою любезностью:

«Ах надо, как надо
Для этого стада,
Для стара и млада,
Лозы вертограда».

Полиции сходки тоже были не безызвестны, и на одной, например, многие из входивших слышали, как два полицейских у ворот пересчитывали посетителей: 91-й, 92-й и т. д. Но пока никого не тревожили.

В начале, когда речь шла о необходимости касс и сходок, никаких возражений не являлось, но как только заговорили о средствах для приобретения этих благ, начались разногласия. Группа инициаторов и часть студентов, склонявшаяся к ее мнению, [[находившаяся более или менее под ее влиянием]], высказалась за подачу прошения за подписями возможно большого числа студентов министру народного просвещения (иные высказывались за наследника, некоторые предлагали удовольствоваться на первый раз университетским начальством); если же прошение не будет принято или ответ на него последует неудовлетворительный, необходимо будет устроить демонстрацию, для которой тоже предлагались различные проекты—[от сходок и криков в аудиториях] до шествия толпой ко дворцу.

Противники этих проектов, главным оратором которых явился студент университета Езерский, возражали, что коллективного прошения, конечно, не примут, за демонстрации же исключат и вышлют, что к тому же, если бы даже подписались под прошением все бывающие на сходках, все же их было бы крошечное меньшинство, так как [[в трех высших учебных завед.]] студентов в Пет[ербурге] несколько тысяч, [а] на сходки ходят лишь сотни; рассчитывать же на подписи таких студентов, которые боятся прийти, б[ыло] бы глупо; словом, [что] таким путем касс и сходок не добьешься.

Сторонники демонстраций, — нечаевцы или «радикалы», как их начали называть в то время (не совсем удачное название, только что введенное, приобревшее впоследствии право гражданства для обозначения членов революционных

кружков), — возражали не столько опровержениями, сколько упреками в трусости, в неискренности, спрашивали: какой же путь могут они предложить с своей стороны для приобретения касс и сходок? Противники отвечали уклончиво. На общих сходках и те и другие, видимо, не договаривали до конца. На частных же собраниях, в кругу единомышленников, езеровцы говорили, что кассу можно устроить и без дозволения начальства; если не поднимать об ней большого шума, то на нее, наверное, посмотрят сквозь пальцы; сходки же можно заменить литературными, музыкальными и т. п. собраниями. И большинство, видимо, склонялось на сторону Езерского.

Нечаевцы же в своих интимных собраниях говорили, что, конечно, демонстрациями касс и сходок не добьешься, да их и не нужно, они только развратили [[удовлетворили]] бы молодежь, облегчив ее положение, но что демонстрации нужны для возбуждения духа протеста среди молодежи.

С самыми близкими, доверенными людьми Нечаев шел еще дальше и рисовал приблизительно такой план: за демонстрациями, конечно, последуют высылки на родину. Они отзовутся в других университетах, и оттуда тоже повысылают лучших студентов. Таким образом к весне по провинциям рассыплется целая масса людей недовольных, возбужденных и, следовательно, настроенных очень революционно. Их настроение, конечно, сообщится местной молодежи и главным образом семинаристам, а эти последние по своему положению почти не разнятся от крестьян и, раз'ехавшись на вакации по своим родным селам, сольются, сблизятся с протестующими элементами крестьянства и создадут революционную силу, которая об'единит народное восстание, момент которого приближается (это приближение момента и говорившими и слушавшими принималось за аксиому, не требующую доказательств. Сомнение б[ыло] бы принято за неуважение к народу: «Ведь он недоволен, обманут, — так неужели вы думаете, что так вот он и станет сидеть, сложа руки?»).

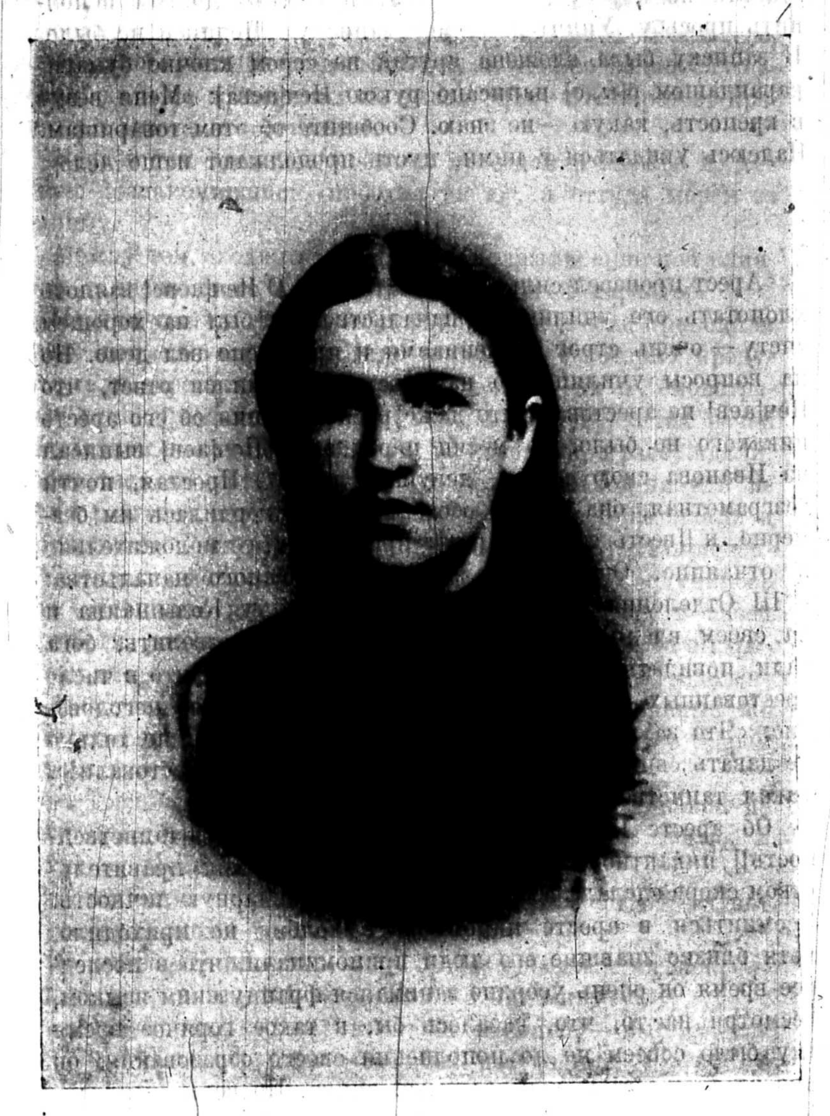
Между тем, сходки принимали все более и более бурный характер, и многие из езеровцев уже перестали ходить на них. Становилось очевидным, что в прежнем виде движение продолжаться не может и должно или разрешиться чем-

ниб[удь], или принять иной характер. Собралась еще сходка. В самом начале Нечаев взял слово и заявил, что уже довольно фраз, что все переговорили, и тем, кто стоит за протест, кто не трусит за свою шкуру, пора отделиться от остальных; пусть, поэтому, они напишут свои фамилии на листе бумаги, который оказался уже приготовленным на столе.

Группа инициаторов подписалась первая, а за ними бросились подписывать и другие. На листе стоял уже длинный ряд фамилий, когда послышались протесты, что это глупо, бессмысленно, что лист может попасться в руки полиции. Подписи прекратились; послышались даже требования уничтожить лист, но он уже был в кармане Нечаева.

На следующий день среди знакомых Неч[аева] разнесся слух, что после сходки его и еще двух студентов призывали к начальнику секретного отделения при полиции, Колышкину, который заявил им, что, если сходки будут продолжаться, они трое будут арестованы и посажены в крепость. При этом прибавлялось, что Нечаев настаивает, чтобы сходки продолжались, что уступить перед такими угрозами было бы постыдно. Сходку действительно созвали, но после истории с подписями никто из езеровцев на нее не явился; оставшихся же верными насчитывалось не более 40 — 50 чел. При таком меньшинстве нечего было и думать, конечно, о демонстрациях, и бедные радикалы побранили вволю езеровцев: «Консерваторы, пол, подлые, трусы этакие», — не знали, о чем и говорить. Первого слова ждали от инициаторов, конечно, и главным образом от Неч[аева], но он не являлся, а вместо него прибежал его сожитель Аметистов, — ад'ютант, как шутя называли его некоторые, — и об'явил, что Нечаев арестован: он рано утром, когда Аметистов еще спал, ушел из дому и с тех пор не возвращался, а перед вечером одна из его знакомых [1]) получила по городской почте странное письмо [[конверт с двумя записочками: одна на сером клочке бумаги, другая — на белой, пером в последней]], в котором говорилось: «Идя сегодня по Васильевскому острову, я встретил карету, в которых возят арестантов, из ее окна высунулась рука и выбросила запи-

[1]) Этой знакомой и была Вера Ивановна. *Л. Д.*



В. И. Засулич (17 лет) до нечаевского процесса.

сочку, при чем я услышал слова: «Если вы студент, доставьте по адресу». Я — студент и считаю долгом исполнить просьбу. Уничтожьте мою записку». Подписи не было. В записку была вложена другая на сером клочке бумаги; карандашом б[ыло] написано рукою Неч[аева]: «Меня везут в крепость, какую — не знаю. Сообщите об этом товарищам. Надеюсь увидаться с ними, пусть продолжают наше дело».

III.

Арест произвел сильное впечатление. О Неч[аеве] взялось хлопотать его училищное начальство: он был на хорошем счету — очень строг с учениками и прекрасно вел дело. Но на вопросы училищного начальства получился ответ, что Неч[аев] не арестован, что даже распоряжения об его аресте никакого не было. За месяц перед этим Неч[аев] выписал из Иванова свою сестру, девушку лет 17. Простая, почти безграмотная, она просто обожала брата, гордилась им безмерно, и [[весть об]] его аресте приводил[а] ее положительно в отчаяние. Она побывала у всевозможного начальства: в III Отделении, у коменданта крепости, у Колышкина и на своем владимирском наречии просила «дозволить, бога ради, повидаться с братом». Ей всюду отвечали, что в числе арестованных его нету. Это возбуждало ужасное негодование: «Что за варварство — арестовать человека и не только не давать свидания, а даже отрицать, что его арестовали!». Такая таинственность производила сенсацию.

Об аресте Нечаева заговорили повсюду, а [[таинственность]] пикантность его секретного похищения правительством скоро сделала из него какую-то легендарную личность. Усомниться в аресте никому и в голову не приходило, хотя близко знавшие его люди припоминали, что в последнее время он очень усердно занимался французским языком, несмотря на то, что, казалось бы, в такое горячее время ему было совсем не до пополнения своего образования; он продал также за неделю все свои книги. Но ведь он просто (он), во-первых, не приобрел бы популярности, да и студенческое движение, по всему вероятию, прекратилось бы, [а теперь] была надежда, что оно будет продолжать[ся]; быть может, студенты за арест обидятся, и дело дойдет до протеста. Обидеться-то обиделись, но не совсем сильно [1]): поговорили о том, чтобы просить университетское начальство, но оказалось, что Нечаев был записан только вольнослушателем, да и то на лекциях не бывал, т[ак] ч[то] протест против его ареста не состоялся.

Нечаев тем временем побывал проездом в Москве и, кое с кем познакомившись, проехал на юг, а оттуда морем за границу.

Между тем, сходки нечаевцев продолжались, но под влиянием таинственного ареста приняли другой характер.

На них уже не тащили всех и каждого, а если приводили новых лиц, то только коротких знакомых, о которых предупреждали заранее. Ни о кассах и сходках, ни о демонстрациях речей [[больше]] уже [не] говорилось. Да общих речей с влезанием на стул и вообще уж не говорили, а рассуждали, разбившись на группы, и только если в какой-нибудь из групп разговор сильно оживлялся, остальные примолкали и окружали ее. Говорили обо всяких более или менее запрещенных вещах: о предстоящих бунтах; те, кому случилось быть очевидцем или слышать рассказы о бунтах в своей местности, рассказывали подробности, расспрашивали о каракозовщине, — мало кто знал об ней что-ниб[удь] определенное, — пытались говорить и о социализме, и наивные же то были речи! [[Вот]] один рыжий юноша, напр., с жаром ораторствует перед группой человек из 10:

— Тогда все будут свободны, — ни над кем никакой не будет власти. Всякий будет брать, сколько ему нужно, и трудиться бескорыстно.

— А, если кто не захочет, — как с ним быть?—задает вопрос один юный скептик.

На [рыжем?] нервном лице оратора выражается искреннейшее огорчение. Он задумывается на минуту.

— Мы упросим его, — говорит он, наконец, — мы ему скажем: друг мой, трудись — это так необходимо, мы будем умолять его, и он начнет трудиться.

— Ну, если Ежицкий к кому пристанет, так уж он и самого ленивого упросит, — шутят товарищи.

---

[1]) Это не совсем верно, что видно из сообщений Л. П. Никифорова и др. *Л. Д.*

Собирались теперь эти сходки аккуратно раз в неделю на одной и той же большой студенческой квартире на Петерб[ургской] стороне. Некоторые сходки начинались чтением какого-ниб[удь] литературного произведения: читали сказки для детей Щедрина, новые стихи Некрасова, «Тройку». Стихотворение: «Какое адское коварство, — ироническое обращение автора к бледному господину лет 19, — ты замышлял осуществить? Разрушить думал государство или инспектора побить?» — мы, помню, приняли на свой счет. И, действительно, все как раз подходило, начиная с возраста. Хотя было между нами несколько «стариков», — лет 22 — 23, но зато было много и 17-летних. Перед этим мы только что, месяца $1\frac{1}{2}$, протолковали о своего рода побиении инспектора, т.-е. о студенческой демонстрации, а теперь начали понемногу переходить к разговорам о «разрушении» государства.

[[Некоторые из ходивших на первые из этих преобразованных сходок потом поотстали, но оставшиеся, человек 30, знакомились между собой все ближе и ближе]]. На одном из собраний было предложено устроить мастерскую, в которой студенты могли бы обучаться ремеслу. Необходимость этого мотивировалась, между прочим, тем, что перспектива диплома и карьеры развращает студентов. На первом и втором курсах жаждут движенья, с радостью бегут на каждую сходку, интересуются общественными делами, а как почувствуют близость диплома, так их уж ни на какую сходку и не затащишь. Потолковавши, решили устроить на первый раз кузницу и сейчас же сделали сбор с присутствовавших; кто внес рубль, кто и больше, и все обязались продолжать эти взносы ежемесячно. Всем очень нравилось иметь свое предприятие. Из неопределенного брожения начинало вырабатываться нечто вроде кружка. Запрещенных тем никаких у нас не было, но было несколько рукописей: «Письма без адреса», «Письмо Бел[инского] к Гоголю, [[перевод из «Organisation du travail» Луи Блана и еще что-то. Все эти рукописи усердно переписывали с намерением распространять]].

Устроить кузницу б[ыло] предложено технологу Чубарову, 10 лет спустя повешенному в Одессе. Он в это время собирался в Америку и уже взял паспорт, но ради кузницы



В. И. Засулич в ссылке по нечаевскому делу.

согласился отложить [[на месяц]] свой от'езд. На следующем же собрании б[ыло] доложено, что кузница устроена и несколько студентов уже постукивают в ней молотками. Так дело шло месяца три.

Между тем в средине марта [[ближайшие знакомые]] от Неч[аева] начали получать письма из-за границы. В первом из них рассказывалось, что «благодаря счастливой случайности» ему «удалось бежать из промерзлых стен Петропавловки», что он пробрался в Одессу, там снова был арестован, опять бежал и перешел, наконец, границу.

Письма стали приходить одно за другим [1]). «Как только устрою здесь связи — тотчас же вернусь, что бы меня ни ожидало, — писал он. — Вы должны знать, что пока я жив, не отступлюсь от того, за что взялся... Что же вы-то там теперь руки опустили! Дело горячее... Здесь варится такой суп, что всей Европе не расхлебать. Торопитесь же, други, не откладывайте до завтра, что можно сделать сию минуту».

К одному из писем была приложена прокламация Интернационала на фр[анцузском] языке с надписью сверху по-русски: «Привет новым товарищам» или что-то в этом роде за подписью Бакунина. С каждым письмом упреки и жалобы на затишье [[на молчанке]] в Петербурге становятся все настойчивее. Но, несмотря на его призывы, никто не находил возможным возвратиться к вопросу о демонстрации, которой он, очевидно, требовал.

Но как будто сама судьба позаботилась исполнить его желание: в апреле, вдруг, совершенно неожиданно и без всякой прямой связи с рождественскими сходками, разразились беспорядки. Началось в университете по какому-то совершенно частному вопросу насчет экзаменов, и одним из инициаторов явился Езерский. Университет закрыли, и тотчас же начались сходки в академии и технологическом. [[Бывшие]] нечаевцы подняли на них вопрос о студенческих правах и кассах. Ткачев с Дементьевой напечатали воззвание от студ[ентов] к обществу, в котором говорилось, что они, студенты, не желают дольше сносить унизительного полицейского гнета и просят защиты у общества. Воззвание было перепечатано некоторыми газетами. А от градоначальника появилось на него возражение, что, мол, ни под каким особым полицейским надзором студенты не находятся, а под таким же, как и все жители Петербурга. Академию тоже закрыли. Человек сто из всех трех учебных заведений было арестовано и рассажено по частям, а затем 68 выслано на родину.

[1]) Как известно, Нечаев присылал их на адрес Веры Ивановны, вследствие чего она и была арестована. *Л. Д.*

В числе высланных оказались все посетители сходок на Петербургской стороне вместе с кузнецами. Это произошло на Страстной неделе, а на Фоминой полиция перехватила письмо Неч[аева] к Томиловой, его знакомой, либеральной вдове полковника, у которой жила его сестра. Томилову, сестру Неч[аева], его сожителя Аметистова и еще нескольких личных знакомых Неч[аева] арестовали, прихватили кстати и братьев и сестер, даже и не видавших Неч[аева]. У Томиловой застали одну приехавшую из Москвы девушку Антонову; арестовали ее, а также ее жениха Волховского и ученицу, 14-летнюю девочку, Успенскую и, насбиравши таким образом человек 15 — 20, посадили их почему-то в Литовский замок (никогда потом подследственных в него не сажали), т.-е. на буквальный голод, и оставили там на целый год. Эту Надю Успенскую без смеха никто из Литовского начальства видеть не мог: «ах вы, государственная преступница!», «наш агитатор!». И, действительно, толстая девочка, на вид даже не 14, а 12 лет, школьничала... под кровать прячется, котенка наряжает. Исхудали все страшно, а Аметистов даже умер там. В Петербурге, с этими апрельскими арестами, связанное с неч[аевским] делом движение прекратилось.

Действие переходит в Москву.

IV.

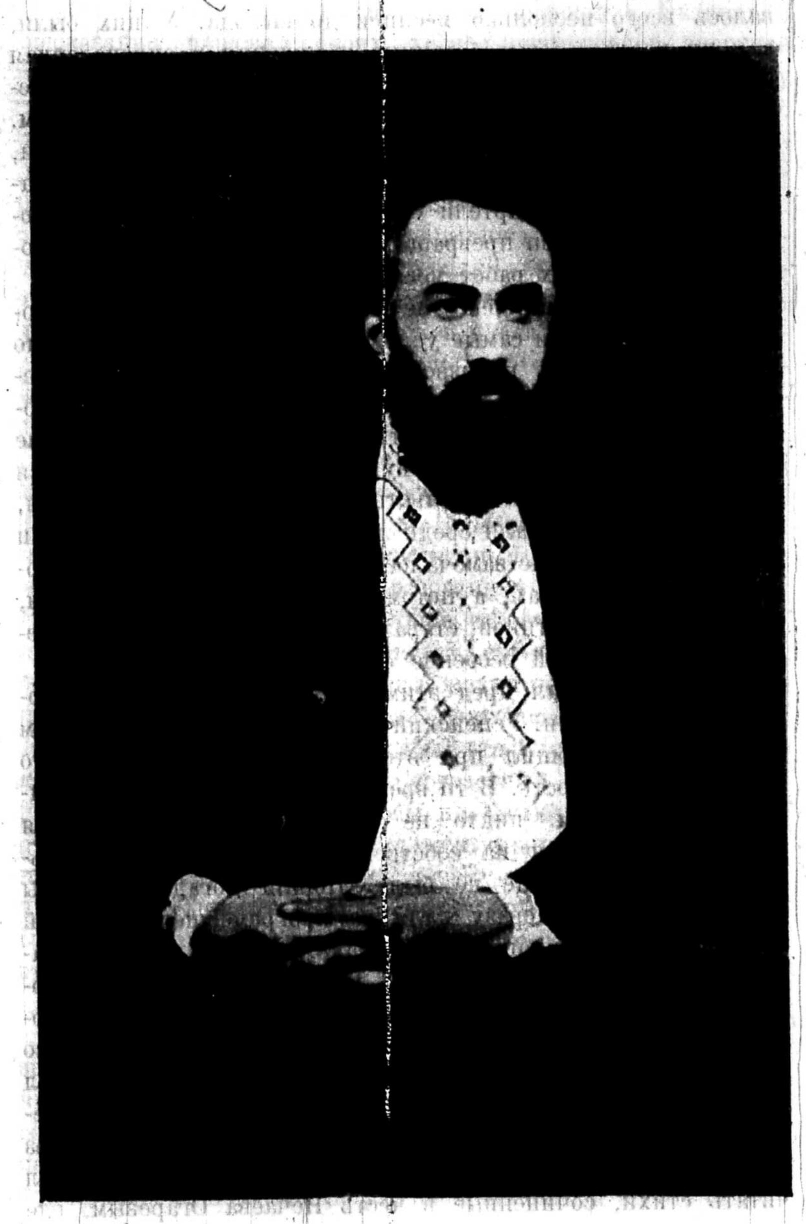
В конце августа Нечаев возвратился из-за границы и явился к приказчику книжного магазина Черкесова — П. Г. Успенскому, с которым познакомился под вымышленной фамилией еще зимой проездом из Петербурга за границу. В то время около Успенского и Волховской существовал

целый кружок, вроде сильно распространившихся позднее кружков самообразования. Несколько членов кружка, знавших иностранные языки, распределили между собою главнейшие страны Запада и взялись за их всестороннее изучение. Не знавшие языков изучали Россию. Книжный магазин, бывший к услугам кружка, представлял все удобства для дела. Результаты своих трудов [[члены]] излагали потом на собраниях, на которые приглашались и посторонние. Апрельский погром расстроил этот кружок, выхвативши из него несколько членов. Успенский остался цел, но книжный магазин был с тех пор под надзором полиции, и туда то-и-дело являлись шпионы под самыми наглыми предлогами. Опасаясь поэтому поселить своего гостя в магазине, Успенский свел его в Петровскую земледельческую академию к своему знакомому студенту Долгову, что как нельзя лучше послужило тем планам, с которыми Нечаев явился в Россию.

Петровская академия была в то время в исключительном положении, и студентам жилось там неизмеримо лучше, чем в остальных учебных заведениях. Право сходок, которого добивались петербуржцы, здесь не имело смысла: половина студентов жила на казенных квартирах в одном здании, остальные размещались в слободке, в нескольких шагах друг от друга; к их услугам был великолепный парк при академии, и сходки, если бы таковые понадобились, могли продолжаться там хоть круглые сутки. У них была общая кухмистерская, общая библиотека, которыми заведывали выборные от студентов, была и касса, считавшаяся, правда, тайной, но спокойно существовавшая целые годы, насчитывая до 150 членов.

При таких условиях не было, конечно, никакой возможности вызвать чисто студенческие волнения или протесты, но зато, при сплоченности студентов и зачатках организации, можно было смело рассчитывать, подчинив своему влиянию несколько выдающихся личностей, повести за собою очень многих. И для этого Нечаев попал в самые лучшие условия — сразу в самый центр академической жизни.

Долгов и его товарищи Иванов, Лунин, Кузнецов, Рипман составляли наиболее выдающийся и влиятельный кружок в академии. Они были на последнем курсе, и им оста-



П. Г. Успенский во время нечаевского дела.

валось всего несколько месяцев до выхода. У них были, как им казалось, выработанные убеждения и определенная цель впереди: окончивши курс, они устроят земледельческую ассоциацию и займутся также народным образованием. Они и теперь уже обучали грамоте всех жителей слободки, из'являвших к тому какую-нибудь склонность. Лунин выработал даже проект артели странствующих учителей, в которых намеревались превращаться члены ассоциации в свободные от полевых работ месяцы.

Такие ассоциации еще не были испробованы, не потерпели неудачи, да и самые условия их казались чрезвычайно привлекательными: производительный труд, жизнь в деревне, соприкосновение с настоящим «не испорченным» городской жизнью народом. По этим причинам земледельческие ассоциации составляли любимую мечту всего выдающегося в академии. Тоски, недовольства, незнания за что взяться, которые господствовали среди лучшей из зеленой молодежи Петербурга, здесь не замечалось. Занятия имели смысл, соответствовали мечтам, а потому занимались с увлечением, в особенности практикой, старались развивать в себе физическую силу, которой особенно отличался Иванов.

Нечаев предстал пред этим кружком облеченный ореолом таинственности. Успенский рекомендовал его под именем Павлова, но сообщил при этом, что он скрывается, что ему грозит опасность. В то время такой человек был необычайным явлением: никто не скрывался; даже предвидя арест, его ожидали на собственной квартире, — нелегальность изобретена еще не была. Пошли догадки: кто бы это мог быть? — и сразу пали на прогремевшего прошлой зимой Нечаева. Спрашивать, однако, не решались и оставались при одних догадках. В разговорах незнакомец сообщал [[тоном очевидца]] о вопиющих страданиях и революционном настроении народа и давал понять, что он только что исходил пешком всю Россию. Он много рассказывал о Нечаеве, — какая это была крупная личность и как преждевременно погиб; распространял даже печатный рассказ о том, как его везли в Сибирь и дорогой удушили; давал читать стихи, сочиненные в честь Нечаева Огаревым, где также упоминалось, что до самой смерти он остался верен борьбе (III).

Он поселился у Долгова, потом перешел к Иванову и несказанно поражал своих хозяев неимоверной энергией в труде. Каждый день после обеда он отправлялся в Москву и возвращался поздно вечером. Потом всю ночь писал что-то, вычислял, просматривал какие-то рукописи и ложился, наконец, только перед утром. После 2 — 3 часов сна он вставал одновременно с ними и снова принимался за занятия.

Добродушные петровцы, привыкшие после дневных трудов покататься на лодке [[погулять]], бродить по окрестностям, а потом проспать часов 7 — 8, были поражены и очарованы. Таинственный незнакомец сделался для них необычайным существом, героем. С первого момента своего появления он сосредоточил на себе все внимание, все разговоры кружка, но сам мало говорил с ними.

Он занялся сперва Успенским, к которому Нечаев явился как знакомый, и на этот раз рекомендовался под настоящей фамилией. Успенский был для Нечаева очень подходящим человеком, — едва ли не единственным из членов будущей московской организации, [[образованной из всей увлеченной Нечаевым молодежи]]. Он раньше встречи с Нечаевым уже думал, скорее, мечтал о заговорах, о революции. «Я всегда был уверен, что мне предстоит в жизни нечто в этом роде, — писал он своей жене [1]) после приговора к 15-летней каторге; — не думал только, что[бы] это случилось так скоро и в таких размерах». [Он был] страстный читатель, не пропускал ни одной книги, чтобы не заглянуть в нее. Перед отправкой в Сибирь он просил жену принести ему какую-то вновь вышедшую книгу. Та почему-то не принесла. «Так я и уеду, не прочтя книги, — писал он ей, — а вдруг на том свете меня спросят: читал ли ты такую-то книгу? Что я на это скажу? — Ведь я сгорю со стыда!»

Эта шутка очень характерна для Успенского.

Несмотря на то, что по делам магазина ему приходилось знакомиться с массой людей, [тем не менее] он был застенчив с чужими и именно от застенчивости держал себя иной раз как-то ложно причудливо [[не естественно]]. Только перед немногими близкими друзьями он высказывал во всем блеске свой оригинальный ум, насмешливый и вместе склон-

---

[1]) Александра Ивановна, урож. Засулич, сестре Веры Ив. *Л. Д.*

ный к ужасной идеализации. В книгах, в идее революции, — борьба, заговоры уже давно привлекали его своим величием, поэзией, так сказать. Один из очень немногих членов московской организации, он заранее, еще до встречи с Нечаевым, обрекал себя на участь русского революционера. Но по собственной инициативе, без этой встречи, едва ли он скоро сделался бы заговорщиком: в его натуре не было элементов практического деятеля — ни сильного характера, ни знания людей, ни изворотливости.

С [него] Нечаев начал, пред'явив [ему] документ, который гласил:

«Податель сего № 2771 есть один из доверенных представителей русского отдела всемирного революционного союза.

Бакунинъ.

К бумаге была приложена печать с подписью: «Alliance révolutionnaire européenne. Comité général». Нечаев об'яснил при этом, что «alliance» принадлежит к Интернационалу и составляет притом самую революционную и влиятельную часть его.

Интернационал был тогда в апогее своей славы: отчеты о его конгрессах печатались даже в русских газетах, и Успенский сильно увлекался им. Затем рекомендация Бакунина, деятельность Нечаева в Петербурге и его побеги, — все это расположило Успенского отнестись к своему гостю с величайшим уважением и безусловным доверием. Заметивши произведенное впечатление, Нечаев сообщил Успенскому, что прислан в Москву организовать ветвь Великорусского отдела общества «Народной Расправы». [Это] общество сильно распространено в Петербурге, на юге, по Волге, почти всюду, только Москва отстала. Здесь, правда, давно уже распространяется одна из ветвей общества, но слабо: мешает традиционный консерватизм Москвы, а между тем необходимо придать делу бо́льшую энергию, необходимо спешить. Озлобление народа растет не по дням, а по часам. Членам общества, действующим в среде народа, приходится употреблять все силы, чтобы сдерживать его и не допускать до отдельных вспышек, которые могли бы помешать успеху общего восстания. Восстания следует ожидать в феврале 1870 года. К этому сроку народ ждет окончательной, настоящей воли и, обманувшись в своих ожиданиях, конечно, восстанет. В народе действуют и могут действовать только люди, вышедшие из его среды, но много дела, и чрезвычайно важного, предстоит также всем честным личностям из привилегированных классов. Они должны действовать на центры и парализовать энергию правительства в момент народного восстания. Для этого им необходимо сплотиться и быть наготове. Подготовлять, убеждать людей — дело совершенно бесполезное, напрасная потеря времени. Их следует втягивать в организацию такими, каковы есть, и брать с них то, что можно.

Предсказанию всеобщего восстания непременно в феврале 1870 года Успенский особенного значения не придал, но всем фактическим сообщениям Нечаева поверил безусловно и об отсутствии обширного заговора узнал уже только под арестом. Грандиозная картина увлекла его сразу, и после двух-трех разговоров он стал сообщником Нечаева: получил на хранение привезенные из-за границы прокламации, разные рукописи и печать «Народной Расправы» с изображением топора и с надписью «19-е февраля 1870 года». Ее предполагалось прикладывать к бланкам, на которых будущим членам общества предстояло получать приказы «Комитета» (IV).

Уладивши с Успенским, Нечаев принялся за Долгова и Иванова. Он расспросил их, — каждого в отдельности, — об их планах и намерениях. Те тотчас же рассказали ему о своей земледельческой ассоциации и народном образовании. Нетрудно было Нечаеву показать неосновательность таких планов: раз правительство узнает о существовании какой-нибудь ассоциации, оно закрывает ее, и нельзя же пахать землю тайно, а народным образованием людям, побывавшим в высших учебных заведениях, заниматься запрещено. Что могли петровцы возразить на это? «А может быть, реакция и ослабеет?» «Может быть, правительство не станет преследовать земледельческих ассоциаций?» Нечаев осмеивал такие наивности и доказывал, что заводить ассоциации мыслимо, только опираясь на сильную организацию, которая всегда сумеет защитить своих членов. Такая организация существует, и им следует вступить в нее, но народное восстание так близко, что осуществлять свои планы им придется уже в обновленной России.

На вопросы Долгова и Иванова: откуда почерпает Павлов свою уверенность в близости народного восстания, тот отвечал, что может сослаться на людей из народа, принадлежащих к организации, а также на свои собственные наблюдения. Он сам до 17 лет был простым работником, а в настроении народных масс людям из народа открыто то, что незаметно для членов привилегированных сословий.

Затем шли сообщения о громадности организации «Народной Расправы» и об обязательности для Иванова и Долгова присоединиться к ней, раз они стоят за благо народа и не желают быть зачисленными в ряды его врагов.

V.

В то время слова «сын народа», «вышедший из народа» звучали совсем иначе, чем теперь: в таком человеке, в силу [одного] его происхождения, готовы были допустить всевозможные свойства и качества, уже заранее относились к нему с некоторым почтением. «Сыны народа» были еще тогда большой редкостью. В сколько-нибудь значительном количестве крестьяне и мещане по происхождению стали появляться в среднеучебных заведениях только после реформы. В 1869 году еще очень немногие окончили образование, и от них готовы были ожидать и нового слова и всяких подвигов. Да и самый народ представлялся в то время в неизмеримо более мифическом свете, чем впоследствии. С тех пор изучение общины, раскола, всевозможные исследования народного быта в нашей литературе, все семидесятые годы, наконец, со своим хождением в народ постольку ознакомили с ним нашу интеллигенцию, что у нее сложилось теперь об'ективное, фактическое представление о народе, независимое от суб'ективных пожеланий и идеалов отдельных личностей. Но тогда, при отсутствии фактических данных, под внешнюю форму пашущего землю существа в сером кафтане и лаптях можно было подкладывать какое угодно внутреннее содержание. И не только можно, — для известной части интеллигенции это было неизбежно. Неведомый крестьянин играл слишком [важную] роль во внутреннем мире юноши [для] грядущего «дела». От свойств и качеств этого крестьянина зависело все содержание его дальнейшей жизни. Поэтому оставаться при одном голом *незнании* для такого юноши было немыслимо. Ему волей-неволей приходилось строить, так сказать, гипотезы о крестьянине, и строил он их, конечно, сообразуясь с тем идеалом человека, какой у него сложился. Для одного — это был прирожденный революционер, ежеминутно готовый схватиться за топор; для других — он обладал альтруизмом, справедливостью и массой иных мирных добродетелей.

Такими именно юношами были и Долгов с Ивановым. Их представление о крестьянине не [[совсем]] совпадало с сообщениями Нечаева, но ведь он зато сын народа: ему лучше знать. Разыгралось воображение, и одна гипотеза легко заменилась другой.

Поверить на слово в существование несуществующего громадного заговора в то время тоже было много легче, чем впоследствии. С каракозовского дела прошло всего три года. Члены петровского кружка были уже в то время в академии (Кузнецову в 69 году было 23 года, Долгову и Иванову по 22), а ведь не знали же они о существовании общества, пока его члены не были арестованы. Нет ничего невероятного, что и общество «Народной Расправы» давно существует и распространяется, — только они-то в первый раз наткнулись на его члена. Сперва Долгов, потом Иванов согласились поступить в общество и свели Нечаева со своими ближайшими друзьями, Кузнецовым и Рипманом (Лунин был в отсутствии). Уже заранее очарованные и подготовленные рассказами о Павлове, они тоже с первого же разговора дали свое согласие. Это, впрочем, было правилом Нечаева: сделавши решительное предложение, добиваться окончательного согласия, по возможности, в один разговор, как бы длинен он ни был. Если человек колеблется, просит подумать — из него, наверное, не будет толку.

— Он [Павлов] так ловко ставит вопрос, что, отказавшись, пришлось бы назвать себя подлецом, — говорил Кузнецов про Нечаева.

Заручившись поочередно [их] согласием, Нечаев созвал их 20 сентября всех вместе и прочел им следующие общие правила организации:

«1) Строй организации основывается на доверии к личности. 2) Организатор (член общества) намечает пять-шесть

лиц, с которыми переговорив одиночно и заручившись [их] согласием, собирает их вместе и составляет замкнутый кружок. 3) Вся сумма связей и весь ход дела есть секрет для всех, кроме членов центрального кружка, куда организатор представляет отчет. 4) Труды членов специализируются по знанию местности, среды и т. д. 5) Каждый член немедленно составляет вокруг себя второстепенный кружок [[второй степени]], к коему становится в положение организатора. 6) Не должно действовать непосредственно на тех, на кого можно действовать посредством других. 7) Общий принцип организации — не убеждать, т.-е. не вырабатывать, а сплачивать те силы, которые уже есть налицо — исключает всякие прения, не имеющие отношения к реальной цели. 8) Устраняются всякие вопросы членов организатору, не имеющие целью дело кружков подчиненных. 9) Полная откровенность членов к организатору лежит в основе успешности дела».

По прочтении этих «правил» кружок считался основанным, и каждому из его членов назначены номера по порядку их приглашения: Долгов назывался № 1, Иванов 2-м, Кузнецов 3-м, Рипман 4-м. «Фамилии же ваши для организации не существуют»,—заявил Нечаев. Кружок должен собираться раза два в неделю, и члены обязаны сообщать на этих собраниях о ходе своих занятий, а № 1 должен составлять протокол всего, о чем говорится на собрании, и передавать его Павлову, являющемуся по отношению к кружку представителем всей организации.

На следующем же собрании Иванов и Кузнецов заявили, что уже составили вокруг себя по полному кружку, — каждый из пяти лиц. Правила приема членов они целиком нарушили, и вместо того, чтобы переговаривать с каждым отдельно и сперва получить согласие, а потом уже сообщать что бы то ни было, просто созвали каждый своих ближайших приятелей и рассказали им все, что сами знали. Оба были сильно увлечены близкой революцией и огромной организацией, к которой пристали, а всего больше — самим Нечаевым. Увлечение подействовало заразительно: все приглашенные, за исключением названного Кузнецовым Прокофьева, согласились вступить в организацию, выслушали правила и получили №№. Завербованные Ивановым назывались: № 21-й, 22-й и т. д., а Кузнецовым: № 31-й, 32-й, т.-е. к № организатора прибавлялось по единице. Первоначальному кружку было [[теперь]] об'явлено, что он повышается с 1-й степени на 2-ю и становится центром по отношению к вновь образовавшимся кружкам.

Протоколы их заседаний должны сперва доставляться ему, и уже с его замечаниями итти дальше в «Комитет», в первый раз выступивший теперь на сцену в качестве центра, которому кружок обязан безусловным повиновением.

Раз появившись, этот Комитет начал давать себя чувствовать на каждом шагу. Особенно заинтриговало вновь испеченных заговорщиков такое обстоятельство: через 2 — 3 дня после производства первоначального кружка в центральный Нечаев сообщил его членам, что от Комитета получено предписание произвести расследование: кто из них [[членов]] нарушает правила организации и пробалтывается об ее делах лицам, к обществу не принадлежащим? Все отреклись. [[Грешки в этом роде они за собой знали]]. Пункт второй общих правил они, правда, нарушили, но были уверены, что Нечаеву-то, а тем более какому-то Комитету, узнать об этом неоткуда. Нечаев советовал лучше сознаться: у Комитета, мол, масса агентов — от него не скроешься, и, если бы факт не был верен, он не сделал бы предписания. Петровцы не сознавались.

По уходе Нечаева начали строить предположения, что бы это могло значить? Кузнецову и Иванову пришло даже в голову: уж не Долгов ли, в качестве № 1-го и составителя протокола, вздумал фискалить на них Нечаеву? Они принялись стыдить его. Но Долгов клялся, что не думал ничего говорить, что он и сам не безгрешен: попробовал привлечь Беляеву и на ее вопросы рассказал ей все с мельчайшими подробностями, а она потом наотрез отказалась вступить в организацию. Беляева была невестой Лунина, [[другим почти членом их, студентом]], и близкой приятельницей его товарищей. Она намеревалась вместе с ними работать в ассоциации. В это время она жила в Москве и лишь изредка показывалась в академии.

На другой день Нечаев снова уговаривал виновных сделать чистосердечное признание. Он и сам [[высказывал изумление]] удивлялся той быстроте, с какой Комитет узнал

об их проступках и сделал предположение, что, быть может, тут же в академии распространяется другая ветвь организации и что проболтался кто-ниб[удь] из них именно ее члену, тот сообщил своему центру, а центр донес Комитету. Но члены кружка так и остались при своем запирательстве. Комитет на этот раз оказался, однако, довольно снисходительным. Все наказание ограничилось присылкой Долгову синего бланка с [[печатью]] прописанным на нем строжайшим выговором за нескромность.

Петровцы [[так и остались в]] недоумевали, и только в тюрьме Долгов узнал, что невольной доносчицей на него была Беляева: Нечаев познакомился с ней в Москве, принял в организацию и запретил сообщать об этом товарищам. Члены должны, мол, знать свою пятерку да ими самими организованные группы и ничего более. Правило это соблюдается очень строго: «Вот Долгов, напр., состоит членом организации, но вам он этого не скажет». Беляева заспорила, что непременно скажет, что они с Долговым такие старые приятели, что он не сможет утаить от нее никакой тайны. А когда Долгов действительно, рассказал ей все, что знал, она без всякого злого умысла похвасталась Нечаеву и навлекла таким образом на Долгова бланк с выговором.

В другой раз Нечаев явился в академию в офицерском костюме и сообщил в виде об'яснения, что он прямо со сходки офицеров, куда иначе нельзя было проникнуть.

В том или ином виде подтверждения существования организации повторялись беспрестанно. В начале октября в академию явился даже ревизор от Комитета. Он пред'явил [[бланк с печатью]] свои полномочия, выразил желание присутствовать на собрании центрального кружка. Молча просидел весь вечер и уехал, даже не сообщив, остался ли он доволен или будет прислан бланк с выговором. Этот ревизор, положим, ничего общего ни с какими комитетами не имел, а был просто приезжий из Петербурга технолог Лихутин, согласившийся по просьбе Нечаева разыграть комедию, но петровцы этого не знали и начинали все сильнее и сильнее чувствовать себя под сплошным присмотром какого-то таинственного начальства.

VI.

Вербовка, между тем, продолжалась. В Петровской академии Нечаев лично никого более не принимал, но каждому завербованному вменялось в обязанность привлечь своих ближайших товарищей, и в каких-нибудь две недели в кружках 2-й и 3-й степени состояло уже человек 40, т.-е. все студенты, находившиеся прямо или косвенно под влиянием кружка Кузнецова и Иванова или, вернее, Лунина, который до появления Нечаева был самым влиятельным его членом.

Вернувшись в конце сентября в академию, Лунин тотчас же познакомился с Нечаевым и, поспорив с ним, наотрез отказался вступить в организацию; попытался отвлечь от нее и своих старых друзей, но, потерпев неудачу, бросил академию и уехал в Петербург.

Скоро оказалось, что у всех завербованных ближайшие товарищи тоже состоят в организации и делать становилось нечего. Все были под номерами, члены третьестепенных кружков даже под сотыми; собирались [[на заседании]] по пятеркам и писали протоколы заседаний. С этими протоколами членам высших кружков была постоянная возня: с них строжайшим образом требовались письменные доклады, а составлять их никому не хотелось да и писать-то было нечего. Надо при этом помнить, что все они — и высшие и низшие — жили в нескольких шагах друг от друга и помимо всяких заседаний виделись ежедневно по нескольку раз. Самым исправным составителем протоколов, да и вообще самым исправным членом оказался Кузнецов. Нечаеву он подчинился безмерно и изо всех сил старался, чтобы Комитет был им доволен. Кроме вербовки членов и писания протоколов, организации вменялось в обязанность распространять прокламации, и первою была роздана прокламация «Народной Расправы». Длинная, не особенно складная и очень кровожадная, она никому не нравилась и не помогала, а скорее мешала вербовать. Когда об этом замечали Нечаеву, он отвечал, что зато она нравится людям из народа: те, мол, находят ее полезной. Розданы были также прокламации «бакунинская» и «нечаевская», в которых говорилось о пе-

тербургском студенческом движении и, наконец, «дворянская», не имевшая для студентов ни малейшего смысла. В ней «Рюриковичи» приглашались сбросить с себя иго вытеснивших их отовсюду немцев, чиновничества и купечества и снова явиться в прежней силе и славе. Приводили также многих в недоумение стихи Огарева «Студент», посвященные молодому другу Нечаеву. Всем, знавшим Павлова, казалось, что он не кто иной, как Нечаев, а в стихотворении, между тем, говорилось, что уже «кончил жизнь он в этом мире, в снежных каторгах Сибири». Вся эта литература рассылалась также по почте и в изобилии представлялась по начальству. Затем организация получила приказание собирать деньги с сочувствующих. И тут также самым деятельным и исправным оказался Кузнецов. Он был сын богатых купцов, и на этом основании ему было предложено делать сборы с купечества. Московских купцов он вовсе не знал, но желание угодить и не обмануть ожиданий было так сильно, что он вносил несколько раз по 200 — 300 руб. собственных присланных родными денег и записывал их как собранные с купечества.

В половине октября была создана новая, высшая ступень организации — «Отделение». Из кружков Петровской академии сюда были переведены два самых деятельных члена — Кузнецов и Иванов. В числе сотоварищей на своем новом посту они встретили, кроме Успенского и Беляевой, о которой было заявлено, что она переводится Комитетом из другой ветви, двух незнакомых лиц — Прыжова и Николаева. Прыжов был очень странным явлением среди этой юной компании. Человек за сорок лет, автор «Нищих на святой Руси» и «Истории кабаков», страстный исследователь народного быта, он в это время сильно пил и даже трезвый производил на многих впечатление человека больного, с расстроенными нервами. Через Успенского он познакомился с Нечаевым и пришел в восторг, когда тот рассказал ему свою биографию: до 17 лет едва знает грамоту и рисует вывески, а в 19 уж слушает лекции в университете и может цитировать наизусть «Критику чистого разума» Канта. [[Если бы Прыжов позаботился проэкзаменовать его, то едва ли цитаты были [бы] особенно длинны]]. «Сорок лет живу на свете, а такой энергии никогда не встречал!» — восхищался Прыжов и приписывал энергию происхождению Нечаева. «Вот что вырабатывается из детей народа, раз они поставлены в сколько-нибудь благоприятные условия!» — утверждал он.

Прыжова тоже записали в организацию и занумеровали. Нечаев составил даже около него кружок, на заседания которого тот, впрочем, никогда не являлся и никаких отчетов не представлял. Едва ли даже он ясно сознавал, что вдруг стал заговорщиком. В уме Нечаева ему была назначена совсем особая роль.

Николаев был тоже существом особого рода. Крестьянский мальчик [[уже во время суда ему [было] только 19 лет]], кончивший свое образование в сельской школе, он находился под сильным влиянием учителя этой школы, Орлова, и по его просьбе отдал свой паспорт уезжавшему за границу Нечаеву. В тревоге за свою беспаспортность он провел всю весну в путешествиях из Москвы в свое родное Иваново (он был земляк Нечаева) и опять обратно в Москву, потом летом отправился в Тулу и нанялся там в плотничью артель. В конце сентября он опять пришел в Москву и застал тут Нечаева.

Николаев уже раньше встречался с Нечаевым, наслышался о нем от Орлова и теперь отдался ему всей душой. Он стал буквально его рабом, но рабом любящим, преданным, на которого можно положиться, как на себя самого. Повиновался Нечаеву и Кузнецов, повиновались почти все, но с теми требовалось быть всегда настороже и опутывать их целой сетью лжи и хитросплетений. С ним даже хитрить не было надобности: самые, казалось бы, нелепые приказания он свято исполнял, не задавал вопросов и ни на иоту не отступал от инструкций. И Нечаев воспользовался им вполне. Этот наивный мальчик с круглым детским личиком являлся у него поочередно то деятелем из народа, привезшим известие о тульских оружейниках, которых нет никаких сил удержать от восстания, то ревизором, то членом Комитета. Самому Николаеву было строго запрещено пускаться в разговоры — говорил за него Нечаев, он же разыгрывал свои разнообразные роли в строгом молчании, но, благодаря инструкциям, так успешно, что являлся пугалом для многих членов организации.

[[Первое]] Отделение заседало в Москве и начало свою деятельность с выслушания документа, носившего заглавие: «Общие правила сети для отделений». Эти правила были разделены на 12 пунктов. Первые 6 не представляют ничего особенного, но в пункте 7-м говорится: «Все количество лиц, организованных по «*Общим правилам*», употребляется как средство или орудие для выполнения предприятий и достижения целей общества. Поэтому во всяком деле, приводимом отделением в исполнение, существенный план этого дела должен быть известен только отделению; приводящие его в исполнение люди отнюдь не должны знать сущность, а только те подробности, те части дела, которые выполнять выпало на их долю. Для возбуждения же энергии необходимо об'яснять им сущность дела в превратном виде». (У Кузнецова и Иванова, бывших до этого момента членами кружка, организованного по «Общим правилам», при чтении последней фразы должна бы мелькнуть мысль, что и им для возбуждения энергии сущность дела об'яснялась в превратном виде.) Пункт 8-й. «О плане, задуманном членами отделения, дается знать Комитету и только по согласию оного приступается к выполнению. 9) План, предложенный со стороны Комитета, выполняется немедленно. Для того, чтобы со стороны Комитета не было требований, превышающих силы отделения, устанавливается самая строгая отчетность о состоянии отделения чрез посредство звеньев, которыми оно связывается с Комитетом». (Повышение в чине ни к какому расширению прав, оказывается, не привело, а только усилило писанье протоколов.)

В последнем пункте говорится о необходимости устройства притонов, «знакомство с городскими сплетниками, публичными женщинами, с преступною частью общества и т. д.», о «распущении и собрании слухов», о «влиянии на высокопоставленных лиц чрез их женщин». «Этот документ, — прибавляется в конце, — опубликованию не подлежит».

Тут же будет кстати привести и другой красноречивый документ, тоже не подлежавший опубликованию, — «Правила революционера». Они были, правда, известны очень немногим из членов организации и большинство познакомилось с ними лишь во время следствия, но зато они лучше всего другого, мне кажется, выясняют взгляды и деятельность самого Нечаева. Вот эти правила [1]):

[[а) Отношение революционера к себе самому]].

«Революционер — человек обреченный: у него нет ни интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени, — все в нем поглощено единым и исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью: революцией.

«Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями и нравственностью этого мира.

«Революционер презирает всякое доктринерство и отказывается от мирской науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает одну науку — разрушение. Для этого — и только для этого — он изучает механику, физику, химию, пожалуй, медицину. Для этого изучает он денно и нощно живую науку: людей, характеры, положения и все условия настоящего общественного строя во всех возможных слоях. Цель же одна: беспощадное разрушение этого поганого строя.

«Он презирает нравственность: нравственно для него все, что способствует торжеству революции; безнравственно все, что мешает ему.

«Революционер — человек обреченный, он беспощаден и не должен ждать себе пощады. Он должен приучить себя выдерживать пытки. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все изнеживающие чувства радости, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единой холодною страстью революционной. Для него существует одна нега, одно утешение — успех революции. Стремясь неутомимо к этой цели, он должен быть готов и сам погибнуть и губить своими руками все, что мешает ее достижению. Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм [2]), всякую чув-

---

[1]) Автором их, как известно, был не Нечаев, а *Бакунин*. — *Л. Д.*

[2]) (А не дышат ли самым диким романтизмом сами эти «Правила [революционера»? *В. З.*].

ствительность, восторженность, увлечение. Она исключает даже личную ненависть и мщение. Революционная страсть, став в нем обыденной, ежеминутной, должна в нем соединяться с холодным расчетом...

«Другом и милым человеком для революционера может быть лишь человек, заявивший себя на деле таким же революционером, как и он. Мера дружбы, любви, преданности определяется полезностью этого человека...»

Далее разбираются отношения революционера к обществу, и в начале повторяются положения из первой части, только перевернутые в таком роде: «Он не революционер, если ему что-нибудь жаль в этом мире...». «Тем хуже для него, если у него есть в нем родственные, дружеские или любовные связи: он не революционер, если они могут остановить его руку» и т. д. Потом идет разделение общества по категориям: к первой принадлежат лица, обреченные на немедленное истребление; им следует вести списки в порядке их вредности. Вторая категория состоит из людей, которым временно даруется жизнь для того, чтобы они успели наделать побольше зла. Людей третьей категории, не отличающихся ни умом, ни энергией, а только богатством и связями, [следует] эксплоатировать.

Замечательно по своей откровенности определение пятой категории. К ней принадлежат: «доктринеры, конспираторы, революционеры, праздноглаголящие в кружках и на бумаге; их надо беспрестанно толкать и тянуть вперед в практические головоломные заявления, результатом которых будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих».

К этой-то пятой категории и причислял, вероятно, Нечаев всю увлеченную им молодежь, за исключением, быть может, Николаева. Что он сам был проникнут этими правилами [или они с него списаны?] и действительно ими руководствовался, — не подлежит сомнению, [[но зато все осталь...]] члены его организации почти поголовно составляли более или менее полную противоположность нарисованному в правилах идеалу революционера и подлежали, следовательно, «бесследной гибели». Приводим целиком конец «Правил революционера», представляющий, т[ак] с[казать], программу действия.

«У товарищества революционеров другой цели нет, кроме полнейшего освобождения и счастья народа, т.-е. чернорабочего люда. Но убежденные в том, что это освобождение и достижение этого счастья возможно только путем всесокрушающей народной революции, товарищество всеми силами и средствами будет способствовать развитию тех бед и тех зол, которые должны вывести, наконец, народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию. Под народной революцией следует разуметь не регламентированное движение, по западному, классическому образцу, которое, всегда останавливаясь перед собственностью, перед традицией общественного порядка и нравственности, ограничивалось лишь низвержением одной политической формы для замещения ее другой и стремилось создать так называемое революционное государство. Спасительной для народа может быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все традиции государственного порядка и классы России. Товарищество не намерено навязывать народу какую бы то ни было организацию сверху.

Будущая организация, без сомнения, выработается из народного движения и жизни. Но это дело будущих поколений. Наше дело — страшное, полное, беспощадное разрушение. Поэтому сближаться мы должны прежде всего с теми элементами народной жизни, которые со времени основания Московского государства не переставали протестовать, не на словах, а на деле, против всего, что связано с государством: против дворян, чиновников, попов, против гильдейского мира и кулака мироеда. Мы соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России. Сплотить этот мир в одну непобедимую, всесокрушающую силу — вот вся наша организация, конспирация, задача».

Если нарисованный в этих правилах «революционер» мог встретиться в жизни лишь в виде редкого болезненного исключения, то заданная ему задача была уж и вовсе невозможна. На практике она должна бы свестись «ближайшим образом к разыскиванию разбойничьего мира», но найти в Москве хоть одного разбойника было, конечно, немыслимо. Потому-то, вероятно, в «правилах сети для отделений» «лихой

разбойничий мир» заменяется уже более широким термином «преступная часть общества». Это б[ыло], конечно, выполнимее: ворами Москва всегда изобиловала, но все же добраться до них было нелегко, и едва ли членам организации удалось бы увидеть хоть одного жулика, если бы не Прыжов.

Для своей «Истории кабаков в России» Прыжов исследовал всевозможные питейные заведения Москвы и знал такие притоны, куда в известные часы дня или ночи собираются жулики, проститутки самого низшего сорта и тому подобный люд, имеющий причины скрываться от полиции. На этом основании сближение с преступной частью общества было отдано в специальное заведывание Прыжова.

Некоторые из членов организации, наслышавшись о революционном настроении народа, начинали просить и требовать, чтобы им дали возможность изучить положение народа, указали пути для сближения с ним. Энкуватов попытался даже поступить на фабрику, но его не приняли за студенческий костюм. Он решился тогда переодеться крестьянином и достать себе крестьянский паспорт. Но тут его и Рипмана, тоже [[сильно увлеченного]] выражавшего горячее желание познакомиться с народом, перевели в кружок Прыжова, ч[тобы] изучать народ под его руководством. Тот постарался отговорить Энкуватова от его намерения: «Во время работы разговаривать некогда, — убеждал он его, — а если вам и удастся поговорить с товарищами, то только в кабаке, во время отдыха; так не лучше ли прямо начать с кабака? Результат будет тот же, а времени потратите меньше». Энкуватов согласился попробовать. Тогда Прыжов указал своим ученикам один кабак на Хитровом рынке и дал инструкции, как там держать себя. Но кабак произвел на студентов самое тяжелое впечатление: не только заговаривать, даже прислушиваться они не смели, замечая на себе недоверчивые, враждебные взгляды, а от водки и духоты кружилась голова. Наконец, одна проститутка, которую Рипман накормил обедом, сообщила ему, что его хотят ограбить, и он перестал ходить, а Энкуватов прекратил посещения после первого же раза.

Остальные члены отделения тоже имели специальные функции: Успенский остался хранителем всех печатных и

писаных бумаг общества. В вербовке членов, сборе денег и раздаче прокламаций (он находил их плохими и глупыми) Усп[енский] почти не принимал участия, но знал сущность дела несколько ближе к правде, чем остальные: тем предоставлялось думать, что Комитет находится тут, где-то по близости и вмешивается во все мелочи, Успенский же думал, что он за границей и заведует лишь общим ведением дел, предоставляя частности на личное усмотрение своих «доверенных представителей». Нечаев намеревался, в случае от'езда, оставить его своим наместником.

Заявленной функцией Николаева была — деятельность в народе. Беляева предполагала поступить на открывавшиеся тогда женские курсы и действовать среди женщин. Специальностью Кузнецова оставалось купечество, среди которого он так успешно вел денежные сборы. В заведывание Иванова, бывшего старшиной студенческой кассы и одним из администраторов столовой, была предоставлена академия.

Вместе с переводом в Отделение, Кузнецов получил приказание бросить Академию и перебраться в Москву, поближе к купцам. На одной с ним квартире поселился и Николаев. Нечаев сообщил при этом, что тот занят составлением обширного доклада Комитету. И, действительно, входя в комнату, Кузнецов заставал Николаева за какими-то рукописями, которые тот при его появлении поспешно прятал. Кузнецов стал опасаться своего сожителя и старался как можно меньше бывать дома; ему все казалось, что тот следит за ним. Николаеву же Нечаев приказал переписывать прокламации, при чем запретил разговаривать с Кузнецовым и показывать ему, что именно он делает. Так они и прожили вместе недели три, недоверчиво посматривая друг на друга и не говоря между собой ни слова.

Кузнецов в это время успел запутаться в какой-то безвыходный круг: по внешности он казался страшно занятым, возбужденным, деятельным; в сущности же своей исполнительностью он навлек на себя массу дел и поручений: переговорить с тем-то, достать то-то, привлечь того-то, и не был в состоянии выполнять их, но по слабости характера [он] не решался отказываться и, стараясь выкручиваться из затруднений ложными отчетами, путался все более и более.

Совсем иначе вел себя Иванов. На его обязанности лежало «направлять общественное мнение академии», устраивать литературные вечера, распределять студентов по квартирам таким образом, чтобы было побольше притонов, заводить знакомства и связи в окрестностях Петровского и т. д. и т. д.

Но со времени перевода в Отделение Иванов переменился: он начал спорить и протестовать на каждом шагу; сразу же потребовал, чтобы вместе с ним и Кузнецовым в Отделение был переведен и Долгов, который ничем не отличился и даже не устроил кружка. Вопрос был представлен на решение Комитета, и, конечно, получился отказ. Живя в академии, он хотел присутствовать на всех заседаниях Отделения и протестовал, если они происходили без него. Письменных отчетов он вовсе не представлял, наложенных на него многочисленных обязанностей не исполнял и, в противоположность Кузнецову, никогда не делал вида, будто исполняет, а оспаривал их полезность или возможность и открыто заявлял, что делать пустяков и пытаться не станет. Нечаев начал обращаться с ним грубо; Иванов отвечал тем же. При каждом несогласии дело шло на разрешение Комитета, и резолюции всегда получались такие, какие хотел Нечаев. Иванов начал кричать против самого Комитета, высказывал сомнение в [самом] его существовании и не стеснялся выражать свое недовольство за пределами Отделения, сеять сомнение и раздражение в [[других]] членах кружков академии. Словом, из деятельного помощника Нечаева он превратился в его противника, в тормоз для дела, в опасность, могущую легко разрушить всю сшитую на живую нитку организацию.

Успенский и Кузнецов старались улаживать столкновения; борьба затихала по временам, чтобы снова разгореться при малейшем поводе. Какой ужасный исход предстоит ей, никому не приходило в голову.

В начале ноября общество внезапно увеличилось несколькими кружками. Студенты Московского университета, недовольные профессором Полуниным, решили не посещать его лекций. Университетское начальство нашло нужным вмешаться в дело. Произошла обычная студенческая история, и 18 человек было исключено. Несколько членов организации — неизменный Кузнецов, Черкезов В., Рипман — были тотчас же откомандированы для знакомства с исключенными. От полунинской истории и всяких студенческих бедствий разговор переходил к положению народа, к близости революции, к [[существованию]] обширной организации, раскинутой по всей России, и делалось предложение вступить в ее ряды. Благодаря возбужденному состоянию, согласие быстро давалось, читались общие правила организации, и, не успевши очнуться, студенты становились членами тайного общества.

Устроивши кое-как Москву, Нечаев решил предоставить ее на время собственным силам и заняться Петербургом, где ждал его страшный враг Негрескул, ведший против него всю осень самую усиленную агитацию.

Человек лет 30, умный, образованный, имевший массу знакомых, он уже в прошлом году являлся противником Нечаева, стараясь, и не безуспешно, убеждать знакомых ему студентов, что все университетские истории представляют самую бесполезную растрату сил. Потом он встретился с Нечаевым в Швейцарии, поссорился с ним и, возвратившись в Россию, рассказывал всем и каждому, что Нечаев — шарлатан, что арестован никогда не был, а вздумал разыграть на шаромыжку политического мученика, ч[то] его следует опасаться и не верить ему ни в одном слове. Он писал также Успенскому, предостерегая его от Нечаева, но получил холодный ответ. Скинского же, второго приказчика в магазине, привлеченного Успенским в организацию, он-таки успел смутить, и тот, после поездки в Петербург, об'явил, что не хочет иметь ничего общего с «Народной Расправой». Впоследствии Нечаев прислал Негрескулу из-за границы несколько прокламаций, но тот умер во время следствия, — у него уже и раньше развивалась чахотка.

Так как всю осень москвичи слушали рассказы о силе и величии Петербургской организации, то Нечаев в пояснение своей поездки показал им рескрипт Комитета, в котором № 2771 (Нечаев) осыпается похвалами и командируется в Петербург для образования девятого отделения из людей, участвовавших в студенческом движении, с которыми не могут справиться петербургские организаторы. В помощники же ему назначается Кузнецов.

Решено было ехать 20 ноября, а 19-го собрались в последний раз [[в полном составе]] члены Отделения. Нечаев внес предложение наклеивать написанную им по поводу полунинской истории прокламацию: «От сплотившихся к разрозненным» в столовой и библиотеке академии.

Иванов заспорил: библиотеку и столовую закроют, студентам нечего будет читать и негде [будет] обедать, — только из этого и выйдет. Нечаев настаивал. Спор принял очень резкий характер. «Дело пойдет на разрешение Комитета», — оборвал Нечаев. Иванов возразил, что и по решению Комитета на наклейку прокламаций не согласится. «Так вы думаете противиться Комитету?» — вскричал Нечаев. — — «Комитет всегда решает точь в точь так, как вы желаете», — отвечал Иванов. Успенский поспешил свести спор на менее жгучую почву, предложивши на разрешение общий вопрос, — имеют ли члены организации право требовать подчинения общего интереса частному, интересов организации интересам студентов академии? Кузнецов тоже вмешался и стал упрашивать Иванова уступить; тот замолчал.

VIII.

На следующий день Нечаев уже собирался на вокзал, когда узнал, что Иванов был у Прыжова и говорил ему, что не желает больше слышать о Комитете, не отдает собранных им денег и устроит свою отдельную организацию.

Опасность была велика. Несомненно, что Иванову при его влиянии в академии не стоило бы никакого труда увести за собою бо́льшую часть кружков и расстроить остальные, открыв им глаза насчет Комитета и всего прочего.

Нечаев мгновенно решился и отложил от'езд. Дело было спешное; необходимо было как можно скорее покончить с Ивановым, а, между тем, он мог наверняка рассчитывать [только] на одного Николаева, — остальные требовали подготовки.

Он начал с Успенского и сперва предложил на его разрешение общий принципиальный вопрос: обязательно ли для общества устранять всеми зависящими от него способами являющиеся на пути препятствия? Ответ последовал, конечно, утвердительный. Это был любимый способ самого Успенского решать спорные практические вопросы сперва в теории, в принципе и затем уже, — Нечаев знал это, — раз признавши что-нибудь в теории, Успенский не отступал перед практическим выводом, как бы ни был он тяжел для него. Когда первый вопрос был решен утвердительно, оставалось только доказать, что Иванов составляет препятствие. В этом не могло быть сомнения. Если теперь, оставаясь членом отделения, он не церемонится с его тайнами, то, выйдя из организации и ставши к ней во враждебное положение, может кончить доносом. «Но какое же имеем мы право лишать человека жизни?» — сомневался Успенский. — «Это вы о подсудности, что ли? — возразил Нечаев. — Тут дело не в праве, а в нашей обязанности устранять все, что вредит делу, — иных же способов сделать Иванова безвредным мы не имеем».

С Успенским вопрос был решен. Оставались Кузнецов и Прыжов [[хотя последнего можно бы оставить и в стороне; трудно понять, зачем понадобилось Нечаеву его участие?]]. Николаев его не беспокоил: он будет делать то, что прикажут. Всего труднее было рассчитывать на повиновение Кузнецова. Остальные члены отделения были мало знакомы с Ивановым, — для них он был лишь единицей в организации и вдобавок неприятной единицей, тормозившей дело и создававшей беспрестанные затруднения. Самолюбивый, раздраженный, вечно поднимавший споры, часто пустые и придирчивые, он показал им себя с самой невыгодной стороны. Для Кузнецова же Иванов был старым товарищем, почти другом, с которым он прожил много лет. Надеяться на согласие можно было, только рассчитывая на слабохарактерность Кузнецова [[на его увлечение делом]] и то обаяние, под которым держал его Нечаев.

И с ним также Нечаев поставил сперва принципиальный вопрос — об устранении препятствий и затем перешел к тому, что препятствие заключается в Иванове. Смутно догадываясь, о чем идет дело, Кузнецов принялся уверять, что Иванова всегда можно уговорить, что он берется его успокоить.

«Нет! — возражал Нечаев, — необходимо покончить с этой историей: я уже дал знать Комитету, что ошибся в выборе Иванова, и он приказал мне порешить с ним».

Кузнецов продолжал притворяться, будто не понимает значения этого «порешить». В своем ужасе он, как утопающий за соломенку, хватался за всякое промедление, мешавшее Нечаеву произнести роковое слово.

Тот, с своей стороны, не спешил высказаться, предоставляя это другим.

«Он хочет сказать, что Иванова нужно убить», — вмешался Успенский, которого раздражала эта уклончивость.

Прыжов выразил громкий протест против убийства и, ничего не слушая, вышел из комнаты.

Продолжали говорить без него.

Кузнецов спорил, но по малодушию с общего вопроса перешел на частности: «Убийство не выполнимо, — оно не может удаться», — говорил он.

«Выполнимо! — возражал Нечаев, — я принял Иванова, и на мне лежит ответственность за него, — если не удастся иначе, я просто пойду к нему вдвоем с Николаевым и задушу его.

Успенский возразил, что такое дело должно делать всем вместе.

Было уже поздно, и решили разойтись, чтоб на утро собраться у Кузнецова.

Рано утром на их с Николаевым квартиру, действительно, явились Нечаев и Успенский. Николаеву, который ни о чем не знал, было заявлено, что Иванов не повинуется Комитету и будет убит.

«А ты ступай в академию и посмотри, там ли он», — добавил Нечаев.

Не задавая никаких вопросов, не выказывая ни малейшего изумления, Николаев оделся и вышел.

Кузнецов опять попытался спорить, но теперь Нечаев не хотел уже ничего слушать и только грозно спросил: «Не думает ли и он сопротивляться Комитету?» — Кузнецов замолчал. [[Молчали и осталь[ные]].

Плана убийства еще не было составлено. Нечаев вдруг вспомнил о гроте в парке Петровско-Разумовского. Этот грот, теперь уничтоженный, был действительно, очень удобен для такого дела, особенно зимою, когда нельзя опасаться встретить в его окрестностях каких-нибудь любителей уединенных прогулок. Он находился в самом дальнем конце парка, в нескольких шагах от пруда и отделялся земляным валом от огибающей парк дороги. Нечаев же придумал и предлог, под которым можно заманить туда Иванова: нужно сказать ему, что будут отрывать типографию. Слух о типографии, зарытой в окрестностях Москвы, действительно существовал, и Нечаев ее разыскивал [1]).

Кузнецов попытался сделать еще одно безнадежное возражение: «По дороге за валом ходят сторожа, — они могут услыхать борьбу и накрыть всех на месте». Но Нечаев [уже] не слушал и занялся практическими приготовлениями: нужно было приготовить веревки, достать на крайний случай револьвер. Подошел и Прыжов. После полудня Николаев возвратился и сообщил, что Иванова в академии нет. Предположили, что он у Лау, жившего в Москве. Нечаев распорядился, чтобы Кузнецов, знавший адрес Лау, отправился туда с Николаевым, но в квартиру не входил, а дожидался на противоположном тротуаре и как только увидит, что Николаев выходит вместе с Ивановым, спешил назад, чтобы известить остальных. Тогда Нечаев, Успенский и Кузнецов должны были отправиться в грот, а Николаев с Прыжовым — привести туда Иванова.

«Прыжов ненадежен, — шепнул Нечаев Николаеву перед уходом, — ты и за ним присматривай!»

Через несколько времени Кузнецов вернулся и сообщил, что Иванов идет с Николаевым. Все поспешно вышли, оставив на квартире одного Прыжова. Ему было поручено сообщить Иванову об отрываньи типографии, которая оказалась в гроте, но когда Иванов вошел и заговорил с ним, то [он] так волновался, что обрывался на каждом слове. Иванов, впрочем, не обратил на это никакого внимания и тотчас же согласился ехать. Они сели втроем на извозчика и, доехав до Петровского, встали и пошли к гроту. В нескольких шагах от дороги им встретился Кузнецов. Он уже провел в грот Нечаева и Успенского и был выслан

[1]) Подробно об этом шрифте, привезенном в Москву, см. «Воспоминания Алекс. Ив. Успенской», «Былое», 1921 г., № 18. *Л. Д.*

навстречу остальным, так как ни Николаев, ни Прыжов дороги к гроту не знали.

Увидя Кузнецова, Иванов начал ему что-то рассказывать, но тот от волнения ничего не слыхал. Он пошел вперед, но сбился с дороги и завел всех в лес. Уже сам Иванов заметил ошибку и нашел настоящую дорогу. Было около шести часов вечера, и уже смеркалось, когда подошли к гроту. Иванов шел впереди, Николаев, которому было приказано схватить в решительную минуту Иванова сзади за руки, старался не отставать от него. Около грота никого не было, — Нечаев с Успенским дожидались внутри, где было уже совершенно темно. Иванов вошел туда, Николаев следовал за ним и схватил его за руку. Тот вырвался и попятился к выходу, впереди остался Николаев и вдруг почувствовал себя прижатым к стене, а руки Нечаева сжимали ему горло. Он едва успел прохрипеть, что он Николаев. Иванов, между тем, заметивши, наконец, что происходит что-то странное, выскочил из грота. Нечаев, бросивши Николаева, выбежал вслед за Ивановым, догнал его в нескольких шагах от грота и повалил на землю. Между ними завязалась борьба. Нечаев навалился на Иванова и схватил его за горло, но тот кусал ему руки, и он не мог с ним справиться. Все остальные столпились в ужасе у грота и не трогались с места.

Нечаев крикнул Николаева, тот подбежал, но от волнения, вместо того, чтобы помогать, только мешал Нечаеву, хватая его за руки. «Револьвер!» — крикнул Нечаев. Николаев подал. Через несколько секунд раздался выстрел. Убийство было окончено.

Тело убитого обвязали веревками с кирпичами по концам и бросили в озеро.

IX.

На следующий день Нечаев с Кузнецовым уехали в Петербург.

«Вы теперь человек обреченный!» — говорил Нечаев своему спутнику словами из «Правил революционера».

Кузнецов был, действительно, уже обречен на потерю не только веры в дело, но и своей революционной чести. Убийство Иванова было ему не под силу, — оно его раздавило, уничтожило.

«Обреченной» была и вся организация. Рассылаемые по почте прокламации в изобилии доставлялись в полицию и повели, наконец, к обыску в магазине Черкесова, который еще с весны находился под надзором. При первом обыске найдено было несколько прокламаций и какой-то список фамилий, в котором, между прочими, была фамилия Иванова. Магазин был закрыт, Успенский арестован.

Почти одновременно в пруду Петровско-Разумовского было найдено тело студента Иванова, убитого, очевидно, без цели грабежа, так как часы и портмоне оказались при нем. При нем же была его записная книжечка, а в ней тоже список фамилий, совпадавший с частью списка, найденного в магазине. Там был сделан вторичный, очень тщательный, обыск: отдирали половицы, сдирали обои, обивку с мебели и в одном укромном месте нашли, наконец, всю канцелярию общества: печать, всевозможные «правила», массу прокламаций, списки членов как по номерам, так и по фамилиям, всякие доклады, протоколы, сообщения и т. д. и т. д. По списку, найденному еще при первом обыске, в академии производились аресты, и дано [было] знать в Петербург об аресте Кузнецова.

Петербург оказал Нечаеву самый холодный прием: многие избегали встречаться с ним, спешили выпроводить с квартиры, и он с трудом находил себе ночлеги. Но, несмотря ни на что, Нечаев бился изо всех сил, чтобы организовать хоть несколько кружков, и заваливал Кузнецова поручениями. Тот ходил всюду, куда его посылали, но, придя в какой-нибудь дом, забывал, что именно нужно сказать, что сделать. С самого дня убийства он был, как в бреду: не мог ни спать, ни оставаться без движения.

Арестованный 2 декабря, он заболел и несколько недель пролежал в бреду и беспамятстве, но прежде потери сознания успел рассказать следователю об убийстве Иванова, каялся, плакал. Его подвергли подробному допросу, и он сознался во всем, рассказал все, что мог припомнить. Сознались потом Успенский, Прыжов, Николаев, Долгов, — сознались почти поголовно. И чем сильнее был замешан че-

ловек, тем полнее сознанье. Дело раскрылось в таких мельчайших подробностях, в каких никогда уже не раскрывалось ни одно из последующих.

Внезапно явившееся вместе с арестом сознание, что ни Комитета, ни близости народного восстания, ни обширной организации — ничего этого не существует, а были только они одни, обманутые студенты, заговорщики по ошибке, действовало на арестованных подавляющим образом. То возбужденное, поднятое настроение, в которое они были искусственно приведены, мгновенно опало, и юноши очутились ниже, чем были до своего соприкосновения с призраком революции. Немногие из членов организации оправились потом, к немногим возвратилась опять прежняя бодрость и жажда дела.

Во время арестов Нечаев успел скрыться и бежать за границу. Выданный потом цюрихским правительством, он держал себя на суде истинным революционером.

«Я не подданный вашего деспота!»,—заявлял он судьям и, когда его выводили, кричал: «Да здравствует земский собор!».

Заключенный в Алексеевском равелине, он умер в конце 1882 года и, как показывают сведения о нем, помещенные в «Вестнике Нар. Воли», он до конца сохранил свою почти невероятную энергию. Ничего не забыл он за долгие годы одиночного заключения, — ничего не забыл и ничему не научился. До самого конца он сохранил глубокое убеждение, что мистификация есть лучшее, едва ли не единственное, средство заставить людей сделать революцию [1]).

Московская организация была действительно, в буквальном смысле слова, делом «нечаевским», т. е. делом одного человека: все остальные участники были в его руках лишь материалом, мягким воском, разогретым ложью, из которого

[1]) Вера Ивановна забыла сообщить или опасалась сделать это по цензурным соображениям, что, находясь в Алексеевском равелине, Нечаев ухитрился создать заговор среди охранявших его солдат, согласившихся освободить его. (Как теперь дознано из документов архива Петропавловской крепости, заговор этот был открыт властям Л. Мирским, содержавшимся в Алексеевском равелине за покушение на шефа жандармов Дрентельна.) *Л. Д.*

он лепил по произволу те фигуры, какие являлись в его воображении.

Поразителен контраст между Нечаевым и нечаевцами: они были обыкновенной русской радикальной молодежью первой поры нарождавшегося движения. Им предстояло еще определяться и вырабатываться в практических деятелей, и выработались бы они, конечно, не в членов деспотически организованного революционного сообщества, а, по всему вероятию, в нечто аналогичное возникшим почти одновременно, но в стороне от нечаевщины, кружкам пропагандистов [[чайковцев]].

Нечаев явился среди них человеком другого мира, как будто другой страны или другого столетия.

Нет достаточно данных, чтобы проследить, как сложился этот бесконечно дерзкий и деспотический характер и на чем именно выработалась его железная воля; несомненно, однако, что главнейшая роль принадлежит тут [[происхождению, исключительной]] личной судьбе Нечаева. Самоучке, сыну ремесленника пришлось, конечно, преодолеть массу препятствий, прежде чем удалось выбиться на простор, и эта-то борьба, вероятно, и озлобила и закалила его. Во всяком случае, ясно одно: Нечаев не был продуктом нашей интеллигентной среды. Он был в ней чужим. [[Не убеждения]], не взгляды, вынесенные им из соприкосновенья с этой средой, были подкладкой его революционной энергии, а жгучая ненависть, и не против правительства только, не против учреждений, не против одних эксплоататоров народа, а против всего общества, всех образованных слоев, всех этих баричей, богатых и бедных, консервативных, либеральных и радикальных. Даже к завлеченной им молодежи он, если и не чувствовал ненависти, то, во всяком случае, не питал к ней ни малейшей симпатии, ни тени жалости и много презрения. Дети того же ненавистного общества, связанные с ним бесчисленными нитями, «революционеры, праздноглаголящие в кружках и на бумаге», при этом гораздо более склонные любить, чем ненавидеть, они могли быть для него «средством или орудием», но ни в каком случае ни товарищами, ни даже последователями. Таких исключительных характеров не появлялось больше в нашем движении и, конечно, к счастью.

Несмотря на всю свою революционную энергию, Нечаевы не усилили бы революционных элементов среди нашей интеллигентной молодежи, ни на шаг не ускорили бы ход движения, а могли бы, наоборот, деморализовать его и отодвинуть назад, особенно в ту раннюю пору. Система «не убеждать, а сплачивать» и обманом толкать на дело, вела, конечно, «к бесследной гибели большинства», но ни в каком случае не «к настоящей революционной выработке», хотя...

[На этом слове кончаются настоящие записки.]

ПРИМЕЧАНИЯ.

I. А. Ив. Успенская сообщила мне, что ей пришлось встретиться в Москве с некоторыми лицами, имевшими кое-какие отношения и привлекавшиеся по делу Ишутина. Среди них были, между прочим, сестры Иванова, бывшего членом кружка и, ввиду данных им откровенных показаний, вместо каторги отправленного на Кавказ рядовым. Она также знала студента Калачевского, который, за отсутствием данных, был совершенно освобожден. Некоторое отношение к дальнейшему движению, правда, очень незначительное, имела его сестра Людмила, которая в 1868 году привезла в Москву типографский шрифт, о чем подробно сообщила А. И. Успенская в своих записках («Былое», № 18). Знала она еще Маткову, брат которой умер по дороге на каторгу. Затем она хорошо знала Марью Константиновну Крылову, тоже привлекавшуюся по этому делу, но отделавшуюся пустяками: впоследствии М. К. участвовала в качестве хозяйки квартиры и искусной наборщицы в типографиях «Земли и Воли» и «Черного Передела», а после выдачи последней наборщиком Жарковым была арестована и осуждена на поселение в Сибирь. Получив впоследствии, ввиду амнистии, разрешение вернуться в Россию, она поселилась в Воронеже, где работала по статистике и там умерла в очень преклонном возрасте.

Имевший отдаленное отношение к ишутинскому кружку юный кадет В. Черкезов привлекался и по нечаевскому делу, по которому был приговорен на поселение в Сибирь, откуда бежал в начале 70-х годов; работал во «Вперед», в «Общине», — написал (в 1882 г.) нашумевший памфлет против Драгоманова, стал довольно видным в Зап. Европе анархистом, другом Кропоткина; возвращался нелегально на свою родину, на Кавказ; в последний раз — в 1917 г. После коммунистического переворота он вернулся обратно в Лондон, где находится и в настоящее время. Черкезов — глубокий старик, лет под 80, вполне сохранивший память.

II. А. И. Успенская находила это сообщение Веры Ивановны не совсем точным. Сама Александра Ивановна поступила в швейную мастерскую, устроенную вышеупомянутыми сестрами каракозовца Иванова, весной 1868 года и оставила ее в августе того же года, мастерская продолжала и дальше существовать, вплоть до выхода этих сестер замуж. Они работали на равных условиях со всеми остальными, вполне усердно; никаких конфликтов, а тем более третейских разбирательств с мастерицами не происходило. (Подробно об этом А. И. Успенская сообщает в своих упомянутых выше записках.)

Кроме этой швейной, в то же время (т. е. в конце 60-х г.г.) существовала на артельных же началах брошюровочно-переплетная мастерская в Петербурге, в которой работала Вера Ивановна, о чем она упомянула в своих записках.

Вот подлинные, написанные самой Ал. Ив. Успенской, замечания на рукописи Веры Ивановны Засулич, — относящиеся к IV гл.

III. Нечаев появился в Москве не в июне, а в первых числах сентября 69 г.; он приехал из Женевы с уполномочием от Бакунина и явился прежде всего в магазин Черкесова к Петру Гавр. Успенскому, с которым познакомился весной того же года перед от'ездом за границу. Где и от кого могла слышать Вера о рассказах Нечаева о самом себе? Сама Вера в это время сидела в Петроп[авловской] кр[епости], откуда была освобождена весной 71 г. Успенский предложил Нечаеву поселиться в его, Успенского, квартире на 1-й Мещанской, в доме Камзолкина. Одна из двух комнат в мезонине была предоставлена Неч[аеву], — в ней он прожил все три месяца с нач[ала] сентября до двадцатых чисел ноября.

Следующие замечания были записаны мною со слов Ал. Ив. Успенской и ею по прочтении одобрены.

IV. «Петр Гаврилович Успенский не потому присоединился к Нечаеву, что видел в нем одного из уцелевших членов разбитой (изловленной) организации, подобно карбонариям, а потому, что видел в нем безгранично, фанатически преданного народным интересам человека.

«Изложение Верой заговора и дела убийства Иванова сделано ею только по одному обвинительному акту, а известно, как составлялись прокурорами и жандармами такие акты. Вера не приняла во внимание ни этого обстоятельства, ни свидетельских показаний, ни речей подсудимых и их защитников. К тому же не надо еще и того забывать, что многие подсудимые все решительно валили на Нечаева, находившегося за границей [1]). Если бы Вера со всем этим считалась, ее изложение было бы, вероятно, иным».

Этим Александра Ивановна хотела сказать, что не следует краткое изложение, сделанное Верой Ивановной, принимать за полную истину, а только как часть ее, и что лица, интересующиеся этим делом, должны познакомиться со стенографическим отчетом, хотя и последний, по ее мнению, местами искажен. Вообще Александра Ивановна находила, что очень много неверного в представлениях читателей, как

---

[1]) Даже такие близкие друзья его, как Томилова, Орлов.

о нечаевском деле, так и об его участниках и о самом Нечаеве; напр., Нечаев, по ее убеждению, вовсе не являлся таким мистификатором, последователем Макиавелли, как думают некоторые: многое в его поведении, приписываемое принципу «цель оправдывает средства», которым он будто бы только и руководился, преувеличено: он привлекал на свою сторону не только обманами о существовании обширной организации, но и путем убеждений, доказательств, что никакая культурная просветительная работа в России невозможна, не допустима правительством; поэтому оставалось примкнуть к тайной организации. Конечно, Нечаев преувеличивал размеры и силы последней, но он вынужден был делать это для ободрения колебавшихся.

Более сознательные и развитые люди, как Успенский, Прыжов, вполне понимали, что, действительно, в России немыслима никакая легальная работа на пользу масс; поэтому сами стремились к революционной деятельности.

Л. Д.

Л. ДЕЙЧ

БЫЛ ЛИ НЕЧАЕВ ГЕНИАЛЕН?

В своем очерке В. И. Засулич, повидимому, не задавалась целью дать полную характеристику Нечаева, — все же из него можно заключить, что она относилась к нему отрицательно. Такой вывод сделала очень любившая ее, а также и ею любимая, старшая ее сестра, Александра Ивановна Успенская, которую это чрезвычайно огорчало.

Действительно, отношение этих двух довольно хорошо знавших Нечаева сестер, привлекавшихся, как известно, к его делу, было различно: Успенская считала его вполне правдивым человеком, о котором лишь вследствие неблагоприятно сложившихся обстоятельств у многих составилось совершенно неправильное о нем представление. По ее убеждению, подробно изложенному в ее воспоминаниях и неоднократно устно повторенному, на Нечаева, вследствие его побега после убийства Иванова, все — подсудимые, свидетели, защитники — валили, как на мертвого. Он, поэтому, оказался оклеветанным даже со стороны самых близких, наиболее расположенных и преданных ему людей. Чтобы воскресить в памяти читателей отношение этой безусловно правдивой, искренней, с прекрасно сохранившейся памятью до самой смерти, свидетельницы, приведу здесь некоторые выдержки из ее воспоминаний, напечатанных в «Былом».

«Говорили, — писала она там, — что Нечаев лгал и не гнушался никакими средствами для привлечения молодежи. Но мне казалось, что ему не было надобности прибегать к таким средствам, чтобы влиять на молодежь... Говорили еще, что в деятельности Нечаева главную роль играло его чрезмерное властолюбие и честолюбие. В верности этого со-

мневаюсь... Я до сих пор убеждена, что им руководила глубокая вера в революционность народа... Неправда, будто бы Нечаев явился в Россию самозванцем, что он лгал, выдавая себя за уполномоченного от женевского революционного комитета: я сама видела упомянутый выше документ, подписанный Бакуниным... Во время моего личного знакомства с Нечаевым не было повода сомневаться в его правдивости» [1]...

Вера Ивановна Засулич тоже хорошо, если не лучше сестры своей, знавшая Нечаева и всегда охотно делившаяся с другими своими о нем воспоминаниями, помню, в устных рассказах вовсе не отзывалась о нем абсолютно отрицательно. Да и вообще, мне ни от кого из лиц, непосредственно знавших его, не приходилось слышать одно лишь худое, недоброе о нем, решительно все признавали, на-ряду со многими крупнейшими чертами — колоссальной силой воли, неимоверной энергией, фанатичной преданностью народным интересам, чрезвычайной трудоспособностью, настойчивостью, уменьем подчинять себе других и т. д., — также и очень крупные отрицательные свойства: беспредельную уверенность в своей непогрешимости, полное пренебрежение к человеческой личности, безграничное пользование принципом — цель оправдывает средства. Но эти отрицательные свойства Нечаева Вера Ивановна об'ясняла его недостаточным развитием: ей казалось, что будь Нечаев образованнее, он иначе смотрел бы на революционную деятельность, не так легко относился бы к людям, не прибегал бы к возмутительным приемам и пр. Но это ее об'яснение лишь отчасти было верно.

Установившееся после процесса нечаевцев отрицательное отношение к Нечаеву и к приемам его деятельности, в конце 70-х г.г. сменилось, как известно, в общем более снисходительным. Так, в цитированных выше воспоминаниях А. И. Успенская сообщает:

«Когда Перовская попросила меня высказать мое мнение о Нечаеве, я сказала, что, по-моему, он слишком рано выступил на сцену, что теперь (1881 г.) он мог [бы] быть бесценным работником, идя об руку с такими энергичными

[1] «Былое», № 18, стр. 36—37.

и беззаветно преданными революционному делу людьми, какими являлись тогда народовольцы». На это С. Перовская сказала: «Мы то же думаем» [1].

Действительно, Желябов и другие члены «Нар. Воли» до того изменили свой отрицательный взгляд на Нечаева, что, по сообщению Тихомирова, «Исп. К-т» предоставил Нечаеву решить, какое предприятие следует прежде осуществить, — убийство ли царя или устройство его побега из Алексеевского равелина, и он выбрал первое.

Подобно А. И. Успенской, также и члены «Исп. К-та» «Нар. Воли» исходили из того предположения, что Нечаев, при изменившихся, со времени его деятельности, политических условиях, перестал бы прибегать к раньше применяемым им приемам. Правильно ли это предположение? Мне кажется, — нет.

Судя по опубликованным Тихомировым же в 80-х г.г., а отчасти также П. Е. Щеголевым данным, Нечаев до самой смерти остался «сторонником мистификации», лжи, втирания очков другим и т. п. приемов. Я убежден, что, живи Нечаев и в настоящую эпоху, он прибегал бы к этим же приемам. Всегда и повсюду являлись на политической арене крупные, выдающиеся, а то и гениальные общественные деятели, в большей или меньшей степени предпочитавшие прибегать к приемам Макиавелли, Лойолы и Торквемады. В этом отношении ни эпохи, ни тем более образование таких деятелей ничего решительно не изменяют.

Мы видели, что В. И. Засулич считала причиной возникновения отрицательных свойств у Нечаева его происхождение: последним она об'ясняла присущую ему «жгучую ненависть против всего общества, всех образованных слоев, даже завлеченной им молодежи».

По ее мнению, таких, как Нечаев, не создавала наша интеллигентная среда: как мы видели, свойства его характера она об'ясняла личной его судьбой — озлоблением, вызванным его борьбой, чтобы выбиться из прежнего положения.

Но с этим об'яснением также едва ли можно согласиться: нетрудно привести десятки, если не сотни, условий, анало-

[1] «Былое», № 18, стр. 39.

гичных тем, с которыми пришлось бороться Нечаеву, однако выбившиеся из них лица не приобрели таких взглядов и приемов, как он. Да и большой вопрос, руководило ли Нечаевым озлобление? Не сделала ли Вера Ивановна этого вывода из «Катехизиса революционера»? Полагаю, что именно из последнего, — тогда падает все построенное ею об'яснение, так как теперь несомненно, что автором этого жестокого произведения был не кто иной как «интеллигент» М. А. Бакунин, который, как известно, в действительности не проявлял ни малейшей ненависти к привилегированным, и сам вовсе не был способен ни к каким жестокостям, хотя и подбивал нас, молодежь, заводить дружбу с разбойниками. Но из несомненного факта, что Бакунин был автором «Катехизиса революционера», мне кажется, не следует делать вывод, будто на Нечаева и принятую им тактику главным образом оказал влияние апостол всеобщего разрушения: Нечаев совершенно самостоятельно, ввиду собственного склада ума и характера, пришел к убеждению о необходимости действовать путем лжи, мистификации, насилия. Да и ни в каких других отношениях на него решительно никто не мог оказать влияния. Не прав, поэтому, Б. Козьмин, заявляющий:

«Человек малоразвитой и непривыкший облекать свою мысль в точные и ясные формулы, Нечаев в выработке и формулировке своих взглядов на принципы, долженствующие лечь в основу тайной организации и на требования ее к своим членам, не мог не находиться под влиянием гораздо более развитого и образованного человека, каким был Ткачев. Впечатление от статей Ткачева и от бесед с ним оставили определенный след на мировоззрении Нечаева и не могли не сказаться тогда, когда Нечаев совместно с Бакуниным обдумывали и намечали план «всесокрушающей революции», призванной обновить до основания отвергаемый им современный строй общественных отношений» [1]).

По-моему, Ткачев притянут здесь за уши.

Неверно также заявление Веры Ивановны, будто бы «таких исключительных характеров не появлялось больше

---

[1]) *Б. Козьмин*, Ткачев и рев. движ. 60-х г.г. М. 1922 г., стр. 204 — 205.

в нашем движении»: были аналогичные, но, конечно, не было тождественных, которых вообще никогда не бывает; подобные же, повторяю, встречались, да и теперь они не вывелись.

Из всех сделанных Верой Ивановной в конце очерка выводов можно согласиться только с ее заявлением, что, «несмотря на всю свою революционную энергию, Нечаевы не усилили бы революционных элементов среди нашей интеллигентной молодежи, ни на шаг бы не ускорили хода движения, а, наоборот, могли бы деморализовать его, отодвинуть его назад, *особенно в ту раннюю пору*».

Вполне верны последние, мною подчеркнутые, слова ее: в самом начале 70-х г.г., когда действовал Нечаев, его приемы не имели и не могли иметь успеха. Подтверждением этому может служить, между прочим, тот факт, что предпринятая его единомышленниками — Зайчневским и Ткачевым — в середине 70-х г.г. проповедь макиавеллизма не дала почти никаких результатов. Но, как известно, с торжеством террора, народовольцы стали очень снисходительно относиться к якобинским воззрениям; этим, несомненно, об'ясняется то огромное значение, какое они придали Нечаеву, поставив рядом с цареубийством план его освобождения.

Естественно, поэтому, поставить вопрос: была ли бы роль Нечаева плодотворна, если бы удался задуманный им заговор, и он присоединился бы к террористам? Я полагаю, что нет, так как для применения его приемов не было соответствующей почвы.

По утверждению А. И. Успенский, как мы видели, Нечаева оклеветали его приверженцы и друзья, чтобы самим выпутаться; но вспомним, как увлекавшийся им Бакунин охарактеризовал его в своем известном письме к Таландье. Ввиду того, что этот замечательный документ мало известен, я приведу из него наиболее характерные выдержки:

«...Нечаев один из *деятельнейших и энергичнейших людей, каких я когда-либо встречал.* Когда надо служить тому, что он называет *делом*, он *не колеблется и не останавливается ни перед чем* и показывается так же беспощадным к себе, как и ко всем другим...»

«...*Это фанатик, преданный*, но в то же время фанатик *очень опасный*, сообщество с которым может быть только *гибельно для всех*...»

«...способ действия его отвратительный...» «...он пришел к убеждению, что для того, чтобы создать общество серьезное и неразрушимое, надо взять за основу политику Макиавелли и *вполне усвоить систему иезуитов: для тела — одно насилие, для души — ложь*...» «За вычетом десятка, составляющих «избранных», все остальное должно служить слепым орудием и как бы материей для пользования в руках этого десятка людей действительно солидарных. Дозволительно и даже простительно их *обманывать, компрометировать, обкрадывать* и, по нужде, даже *губить их*, это мясо для заговоров...» «...во имя дела он должен завладеть вашей личностью без вашего ведома. Для этого он будет вас шпионить и постарается овладеть всеми вашими секретами...» «...в вашем отсутствии, оставшись один в комнате, он откроет все ваши ящики, прочитает всю вашу корреспонденцию, и когда какое письмо покажется ему интересным, т.-е. компрометирующим с какой бы то ни было точки вас или одного из ваших друзей, он его крадет и спрячет старательно как документ против вас или вашего друга...» «...Когда, собравшись все вместе, мы его уличили, он осмелился сказать нам: «Ну да! Это наша система, — мы считаем как бы врагами и ставим себе в обязанность обманывать, компрометировать всех, кто не идет с нами вполне», — т.-е. всех тех, кто не убежден в прелести этой системы и не обещает прилагать ее, как и сами эти господа...» «...Если ваш приятель имеет жену, дочь, он старается ее соблазнить, сделать ей дитя, чтобы вырвать ее из пределов официальной морали и чтобы бросить ее в вынужденный революционный протест против общества. Всякая личная связь, всякая дружба считаются злом, которое они обязаны разрушить, потому что все это представляет силу, которая, находясь вне секретной организации, уменьшает единую силу этой последней. Не кричите о преувеличении; все это было им мне пространно развиваемо и доказано. Несмотря на свою систематическую испорченность, он считает возможным обратить меня; он дошел даже до того, что упрашивал меня изложить эту теорию в русском журнале, который он предлагал мне основать. Он обманул доверенность всех нас, — словом, вел себя, как плут. Единственное ему извинение — это его фанатизм. Он страшный честолюбец, сам того не зная, потому что он кончил тем, что отождествил вполне свое революционное дело с своею собственной персоной; но это не эгоист в банальном смысле слова, потому что он страшно рискует и ведет мученическую жизнь лишений и труда. Он фанатик, а фанатизм его увлекает быть совершенным иезуитом...» «...Он очень опасен, так как он совершает ежедневно поступки нарушения доверия, измены, от которых тем труднее уберечься, что едва можно подозревать их возможность. Вместе с этим Н[ечаев] сила, потому что это огромная энергия. Я с большим сожалением разошелся с ним, так как служение нашему делу требует много энергии, и редко встречаешь ее так развитую, как у него...» «...я должен был разойтись с ним... Последний его замысел был ни больше ни меньше как образовать банду воров и разбойников в Швейцарии, натурально, с целью составить революционный капитал...» «Все, что я написал вам о Нечаеве не

выше, а ниже действительности. Нечаев человек погибший, и отныне можно сказать наверное, что он ничего путного не сделает, а к гадостям он способен...» [1].

С этой исчерпывающей характеристикой, сделанной столь компетентным лицом, нельзя не согласиться. Из этого, полагаю, ясно, что невозможно было ожидать от Нечаева ничего доброго, положительного: очутившись на воле, он не перестал бы прибегать к указанным Бакуниным отвратительным приемам; подтверждением этому могут служить советы, которые он давал народовольцам из Алексеевского равелина, а именно: прибавлять в списках о пожертвованиях к действительным цифрам по несколько нулей, выпустить ложные манифесты от царя и т. п. [2]). Десятилетнее пребывание в заключении, очевидно, нисколько не изменило его убеждения, что только посредством лжи и мистификации можно произвести революцию.

Очутившись на воле, Нечаев ничего не изменил бы в усвоенной им системе.

Безусловно прав был, поэтому, знаменитый защитник Спасович, заявивший в своей речи на суде, что Нечаев «врал немилосердно» и что, вообще «ложь, как средство достижения известной цели, весьма опасно действует на характер: она до такой степени входит в плоть и кровь лжеца, что сей последний незаметно привыкает употреблять ее потом без всякой нужды, просто из любви к искусству» [3]). В подтверждение правильности этого заявления нетрудно привести массу примеров из деятельности Нечаева.

Ввиду вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, что, как бы народовольцы ни ставили высоко энергию Нечаева и фанатическую его преданность делу, все же им вскоре стало бы не в моготу мириться с ним: он так же

---

[1]) Письма Бакунина к Герцену и Огареву, изд. Драгоманова, стр. 393 — 406. Курсив везде мой.

[2]) «По совету любезнейшей супруги нашей государыни императрицы, а также по совету князей и графов и т. д. и по просьбе всего дворянского сословия, мы признали за благо — возвратить крестьян помещикам, увеличить срок солдатской службы, разорить все старообрядческие молельни и т. д.». См. *М. Коваленский* «Русск. революц. в судебн. процесс. и мемуарах». М., изд. «Мир», стр. 100.

[3]) *М. Коваленский*, цит. книга, стр. 64.

компрометировал бы их, как Бакунина, Огарева, дочь Герцена и др. за границей. Возможно, конечно, что, не ограничиваясь одной компрометацией, Нечаев, — чтобы отделаться от тех или других признанных им вредными членов организации, — расправлялся бы с ними, как с несчастным студентом Ивановым. Быть может, он наделал бы еще худшие и бо́льшие беды, так как его бессмысленный и тупой фанатизм не знал пределов, и на жестокости у него была огромная фантазия.

Но почему же, спросит читатель, такие крупные лица, как Перовская, Желябов и их товарищи, изменили свое мнение о Нечаеве и готовы были ввести его в свой тесный круг?

Потому, отвечу, что, подобно загипнотизированной А. И. Успенской, они также склонны были идеализировать томившегося в Алексеевском равелине беззаветно преданного делу революции узника, обладавшего, по единодушному признанию, необычайной силой воли, изумительной способностью влиять, подчинять себе людей. Ввиду этих его свойств, а также наступившего приближения со стороны Нар. Воли к якобинизму, названные мною выше члены этой организации закрывали глаза на крупнейшие его дефекты, делавшие совершенно невозможным итти с ним рука об руку, так как, кроме горя и неисчислимых бедствий, союз с этим аморальным фанатиком ничего другого принести не мог.

Все это старо, давно известно, тем не менее еще и теперь, время от времени, появляются исследователи, требующие пересмотра установившегося, будто бы ошибочного, суждения о Нечаеве. Так, цитированный мною историк-марксист М. Н. Коваленский в своей недавно вышедшей книге, посвященной процессу Нечаева и др., между прочим, заявил: «В наши дни, когда нами пережиты три российских революции, когда не только мораль, но и вся решительно наша жизнь подвергается пересмотру и переоценке с новых, пролетарских, революционных точек зрения, — ныне пора, казалось бы, сделать пересмотр и переоценку деятельности Нечаева. Пора заняться реабилитацией революционера, который не только от других требовал жертв во имя революции, но и свою жизнь отдал ей без оглядки и без остатка, и своим собственным примером запечатлел верность принципу: «все для революции» [1]).

Спрашивается, к чему может привести «пересмотр и переоценка деятельности Нечаева» и в чем должна состоять требуемая покойным историком «реабилитация»?

Как мы видели, никто решительно не отрицал, что Нечаев оставался верным принципу «все для революции», но очевидно, что этого не достаточно для успеха, торжества ее: те или иные приемы могли способствовать ее скорейшему наступлению или, наоборот, тормозить этот момент.

«Пересмотр и переоценка деятельности Нечаева», его «реабилитация» должны были бы состоять или в доказательствах, что к приписываемым всеми, за исключением одной А.И. Успенской, возмутительным приемам, он, Нечаев, совсем не прибегал, что все такие утверждения — сплошная выдумка, ложь, клевета, или же, наоборот, необходимо было бы прямо заявить, что примененные Нечаевым, по сообщению Бакунина и других, средства не только не были вредны, но являлись вполне целесообразными, а потому содействовали скорейшему торжеству революции.

М. Коваленский, повидимому, держался последнего взгляда: он одобряет все приемы Нечаева, считает его «сверх-революционером» и пр. Вот его подлинные на этот счет заявления: «*Какая это грандиозная фигура на пути русской революции!* Громадная революционная энергия, громадный организаторский дар, об'явление беспощадной войны всему миру, осужденному на гибель, на исчезновение, низложение примата старой буржуазной морали и замена ее новой этикой — этикой революции, для блага коей все средства хороши... С этим громовым лозунгом «все для революции» — проходит перед нами этот сверх-революционер. От него, от его морали, открещиваются всячески ближайшие его преемники по борьбе — чайковцы, но по его стопам вынуждены итти землевольцы, народовольцы, через каменные стены Петропавловских казематов подает он руку Желябову, *печать его гения* ложится на целый период русского революционного движения».

---

[1]) Цит. книга М. Коваленского, стр. 14.

Как видим, покойный историк не доказал правильности своей реабилитации Нечаева, он только декретировал это, почему, понятно, можно не согласиться с его категорическим суждением и не признавать Нечаева ни «сверх-революционером», ни «гением». Пришлось бы слишком распространяться, вздумай я, путем рассмотрения деятельности Нечаева, доказать, что ничего не только особенного, но и сколько-нибудь разумного, целесообразного и полезного он не совершил: нельзя же, в самом деле, находясь в здравом уме и твердой памяти, признать созданную им, путем сплошной мистификации, организацию из нескольких обманутых им молодых петровско-разумовских студентов, закончившуюся ничем не вызванным, возмутительным убийством несчастного Иванова, чем-то особенно крупным, благодаря чему он достоин зачисления в «сверх-революционеры» и «гении». Невозможно также согласиться с Коваленским, когда он восторгается тем, что Нечаев будто бы «низложил старую буржуазную мораль»; как раз наоборот: практиковавшиеся им приемы были целиком заимствованы у иезуитов и Макиавелли, следовательно, из буржуазного, а не из пролетарского арсенала.

Не один лишь М. Н. Коваленский, стремясь «реабилитировать» Нечаева, превознес его выше всякой меры: другой, также увлекающийся «исследователь», — если это представляет для него какую-нибудь осязаемую выгоду, — я имею в виду небезызвестного эксплоататора для кинематографа революционно-архивного материала, П. Е. Щеголева, — тоже пришел в неописуемый восторг от Нечаева. Правда, пока П. Е. Щеголев не дал еще полной характеристики Нечаева, чему, по всей вероятности, причиной его многочисленные коммерческие предприятия и комбинации, но уже из общего тона напечатанной им статьи вполне явствует, что он тоже ставит Нечаева на недосягаемую высоту, — искренно или по каким-либо экономическим соображениям, не берусь решить. Сообщив об отправлении Нечаевым из Алексеевского равелина гр. Левашеву, в сущности довольно несуразного, «тюремного исповедания», этот «спец» по кинематографическому изображению русского революционного движения заявляет: «я затрудняюсь указать в жизни революционеров западных и русских хоть один при-

мер такой революционной непреклонности и выдержки до конца» [1]).

В свою очередь я также «затрудняюсь указать» на другой пример аналогичного раздувания архивного материала: только изумительным «беспристрастием» и необыкновенной «осведомленностью» этого литературного дельца можно об'яснить тот факт, что обладающий исключительными знаниями по истории всех революций, специалист по кинематографу, упустил из виду таких наших революционеров, как Каракозов, Желябов, Мышкин и многих других, а из «западных»—хотя бы Бланки, проведшего, как известно, большую часть своей продолжительной жизни в тюрьмах и оставшегося «непреклонным до конца»; не говорю уже о многих других как европейских, так и наших мучениках, не приобревших столь большую известность, как вышеназванные лица, но также оставшихся «до конца непреклонными».

Не буду останавливаться на других сделанных этим энциклопедистом великих открытиях, а также на его изумительных толкованиях поведения Нечаева как на суде, так и во время заключения его в Алексеевском равелине, потому что это слишком отвлекло бы нас от темы настоящей статьи. Одно несомненно: подобно М. Коваленскому, также и П. Е. Щеголев считает неправильным установившийся взгляд на Нечаева, хотя и по другим, чем первый, мотивам, т.-е. не в интересах исторической истины, а по чисто личным, вернее коммерческим, соображениям. Он тоже признает необходимым «реабилитировать» его. Но мы уже видели, что «реабилитация» сводится, в сущности, к оправданию решительно всех приемов деятельности Нечаева и к признанию его лишенным каких-либо недостатков.

Из вышеизложенного, полагаю, ясно, что я не признаю Нечаева гением, что же касается термина «сверх-революционер», то об этом ниже, — сперва о гении. Прежде всего, что мы понимаем или должны понимать под этим словом?

Не помню, кто давно сказал, что гении не родятся, — гениями становятся. Как и во всяком афоризме, в приведенном также имеется значительная доля истины: чтобы стать

---

[1]) См. его статью «С. Г. Нечаев в Алексеевском равелине»,— «Красн. Арх.», том IV, стр. 232, 1923 г.

общепризнанным гением, необходимо не только обладать особенными, выдающимися умственными дарованиями, но, что не менее важно, нужно, чтобы обладатель их попал в среду, наиболее благоприятную для их развития и проявления. Без этого важного условия самые колоссальные дарования, заложенные в том или ином человеке, глохнут, пропадают. Подтверждений правильности этого положения можно привести не мало. Достаточно, например, сослаться на общеизвестные факты: если бы Наполеону удалось попасть на русскую службу, как он одно время желал, ему, конечно, не пришлось бы участвовать в революционных войнах Франции, и он не достиг бы занятого им впоследствии положения. Сделайся Дарвин пастором, на что, ввиду настояний родителей, он, было, согласился, из него, наверное, не вышел бы гениальный естествоиспытатель, и т. д.

А. И. Успенская, а за нею — С. Л. Перовская, как мы видели, находили, что Нечаев лишь не во-время, рано выступил на политическую арену. Выше я уже заметил, что, очутись он на воле, среди народовольцев, роль его не многим была бы отлична от сыгранной им в начале 70-х г.г. То же, по моему глубокому убеждению, было бы, если бы он появился в более поздний период нашего революционного движения. Это потому, что в нем не заложены были все те свойства, которые при соответствующей обстановке превращают даровитого от природы человека в гения. Характером, силой воли, глубокой фанатической преданностью народу Нечаев стоял выше многих из его окружавших лиц, но у него не было главного качества, превращающего одаренного человека, — повторяю, при соответствующих условиях, — в гения: он не выделялся умом. Нечаев не только не обладал колоссальным, всеоб'емлющим умом, являющимся обязательным свойством гения, без чего последний не мыслим, но в этом отношении, по общему признанию всех лично его знавших современников, он стоял, если не ниже, то, во всяком случае, не выше многих из своих соратников; иные же из них, например, наблюдательная, чуткая, быстро и правильно схватывающая отличительные свойства современников В. И. Засулич прямо заявляла, что умом Нечаев не блистал, что это не было отличительным его качеством. А такие лица, как Плеханов, Энгельс и, вероятно, также

Маркс, судившие по делам Нечаева, считали его человеком ограниченным [1]).

Не буду вслед за такими авторитетами утверждать, что этот отзыв вполне верен, но, во всяком случае, он кажется мне очень близким к истине. Во время дела нечаевцев, разбиравшегося, как известно, в 1871 г., я был шестнадцатилетним подростком, но, читая уже газеты, изумлялся наивности и легковерию сбитых Нечаевым с толку Успенского, Кузнецова и др., что, помню, и высказывал сверстникам, в том числе П. Б. Аксельроду, о чем он отчасти упоминает в своем «Пережитом и передуманном». Уже тогда я находил приемы Нечаева не только недопустимыми для разумного революционера, но и сколько-нибудь целесообразными даже с его точки зрения, ввиду им поставленной себе задачи — создать преданный ему тесный кружок.

В самом деле, что может быть нелепее убийства студента Иванова, при той обстановке, при которой оно было совершено, накануне предстоявшего от'езда Нечаева в Петербург? Не говорю уже о сшитой белыми нитками организации из сети «пятерок» и т. д. Ума, а тем более всеоб'емлющего, в этих, как и во всех других, приемах, заявлениях и планах Нечаева нельзя никак усмотреть.

Не видно также большого ума ни в поведении его во время суда, ни в его писаниях в Алексеевском равелине. Но, быть может, заметят, что тогда, в начале 70-х г.г., Нечаев еще не успел широко проявить заложенные в нем крупные дарования, и вот, когда, просидев несколько лет в крепости, он перечитал много книг на разных языках, по разным областям знаний, то наглядно обнаружил выдающиеся организаторские способности, доказательством чему служит созданный им среди охранявших его солдат заговор.

Увы, также и в этом случае большого ума не вижу. Что не только мало развитых людей удается иногда провести путем обмана, но нередко также и лиц развитых, образованных, этому можно привести не мало еще более поразительных примеров, чем каким является одурачение своей стражи Нечаевым. Мне кажется поразительной не эта его

---

[1]) См. помещенное ниже 4-ое письмо Плеханова к Энгельсу.

затея, а то, что, как мы уже знаем, некоторые после ее открытия решили подвергнуть радикальному пересмотру давно установившийся вполне правильно взгляд на него, а иные на этом же основании признали его «гением», «сверх-революционером».

Высказанные мною соображения относительно неосновательности причисления Нечаева к гениям применимы также и к эпитету «сверх-революционера»: нельзя им быть, не обладая выдающимся умом, чего, повторяю, никто решительно не признавал у Нечаева. Во всяком случае, восторгаться, приходить в умиление от свойств этого «сверх-революционера» подобает, мне кажется, только ницшеанцу, а не марксисту, каким М. Покровский признает покойного Коваленского [1]).

[1]) См. его предисловие ко второй книге М. Коваленского.

П. Б. АКСЕЛЬРОД

О ЗАДАЧАХ НАУЧНО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«ПИСЬМО К ТОВАРИЩАМ»

В одной из своих статей, посвященных истории возникновения группы «Освобождение Труда», я упоминал, что еще до оборудования собственной типографии Плеханов, Аксельрод и я с «оказией», т.-е. с возвращавшимися из Швейцарии на родину русскими молодыми людьми, посылали «Письма к товарищам», без обозначения, кого именно мы имеем в виду — народников или народовольцев. В этих письмах, отправленных в неопределенную среду, каждый из нас по-своему излагал, каковы, по его мнению, должны были быть задачи революционной молодежи в тот исторический момент. Но, насколько могу припомнить, общим, об'единявшим все эти наши письма, были об'яснения и доказательства чрезвычайной важности создания вновь за границей центра, из которого должна итти пропаганда социализма, так как, с прекращением «Вперед» и «Общины» (в 1878—1879 г.г.), совершенно замерла всякая проповедь какого-нибудь социализма: вместо этого, как известно, на сцену выступила неуклюжая, сбивчивая, противоречивая агитация в печатавшихся тогда в России органах «Народная Воля» и «Черный Передел», агитация первой за захват власти кучкой заговорщиков, а второй — за политическую свободу, неизвестно как, какими силами.

В этих письмах мы, как известно, впервые стали напирать на необходимость основательно знакомиться с учением Маркса и Энгельса и об'являли, что мы ставим себе эту задачу, при чем приглашали сочувствовавшую нам молодежь оказывать нам посильную помощь.

Печатаемое здесь письмо П. Б. Аксельрода, копия которого случайно оказалась в числе забранных царской поли-

цией у кого-то книг [1]), не является одним из упомянутых выше, отправленных в неопределенную среду, а адресовано сочувствующим лицам.

Имеющийся у меня экземпляр сделан на гектографе, в 30 стр., в листе; три стр. занимает «От издателей». Кто последние, мне неизвестно, но из предисловия, а также из текста письма Аксельрода «явствует, что они уже списались с членами группы «Освобождение Труда» и что им были известны имевшиеся тогда их издания.

Теперь, по всей вероятности, кажутся по меньшей мере странными энергичные усилия П. Б. Аксельрода убедить читателей в полезности печатания и распространения сочинений по научному социализму, но в те времена эту, теперь прописную, истину надо было доказывать, так как многие народовольцы и народники совершенно отрицали это занятие, как «несвоевременное», могущее отвлечь силы и средства от главной, наиболее важной в тот момент, цели.

Перепечатываемое здесь письмо может, между прочим, служить новым подтверждением моих слов, что, несмотря на незначительное количество доходивших в Россию из-за границы изданий группы «Освобождение Труда», тем не менее, взгляды ее всякими другими способами все же распространялись на родине.

Л. Дейч.

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ.

Публикуемое нами «Письмо к товарищам» имеет совершенно частный характер и нисколько не предназначалось автором его для опубликования. Публикуя его, мы руководствуемся следующими соображениями.

Много кружков и лиц на Руси, придерживающихся того взгляда, что нам, русским социалистам-революционерам, следует на время оставить всякую мысль о социализме, ибо история выдвинула для нас на первый план борьбу за политическую свободу. «Направляя все свои силы исключительно на борьбу с абсолютизмом,—говорят они,—лишь в этом случае нам удастся низвергнуть его и добиться таких политических условий, при которых нам возможно будет вести

[1]) Может быть, когда-нибудь выплывет на свет также и письмо Г. В. Плеханова, что чрезвычайно желательно, так как оно было наиболее из всех содержательное и интересное. *Л. Д.*

социалистическую борьбу». «Мы охотно, — прибавляют они, — позволили бы себе, «как роскошь», и социалистическую литературу — ведь мы по основным своим убеждениям социалисты, — но так как мы не имеем в своем распоряжении ни богатств Креза, ни армии Наполеона I, то вынуждены тратить свои силы по возможности производительней».

Мы надеемся, что публикуемое нами письмо, если не убедит совершенно подобные кружки и лица в несостоятельности их взглядов, то, по крайней мере, заставит их задуматься о том, в каком именно случае мы как социалисты, хотя бы только «по *основным* своим убеждениям», тратили бы свои силы и средства производительнее.

К величайшей нашей радости, некоторые кружки сами сознали в последнее время всю необходимость серьезной социалистической литературы, доказательством чему может послужить появление литографированных статей Энгельса [1]) и Ланге, литографированной брошюры «Социализм и политическая борьба» Плеханова и т. п. Для этих-то кружков мы больше всего и публикуем это письмо. Оно укрепит в них зародившуюся мысль о необходимости, как для нашей революционной молодежи, так и для более интеллигентных рабочих, серьезной социально-политической подготовки, что, в свою очередь, обусловливает собою необходимость создания такой литературы, которая могла бы дать им эту подготовку. «Библиотека Современного Социализма» есть, по нашему мнению, именно такая литература, и мы надеемся, что вышеупомянутые кружки поспешат со своей поддержкой навстречу этому весьма и весьма полезному предприятию.

В заключение прибавим следующее: автор «Письма к товарищам» говорит в одном месте, что при некоторых условиях можно доставлять в Россию если не тысячи, то сотни экземпляров каждой брошюры. Мы со своей стороны можем прибавить, что это не предположение со стороны автора письма: усилия эти, как нам известно, уже сделаны, и

[1]) Тогда в литографированном виде распространялись в России: «Развитие социализма от утопии к науке» *Ф. Энгельса* в переводе В. Засулич и *Ланге* «Рабочий вопрос», сперва легально вышедший, затем «изъятый из библиотек». *Л. Д.*

есть возможность доставлять в Россию довольно часто сотни две-три брошюрок.

В конце «письма» мы помещаем список книг, имеющихся в складе группы «Освобождение Труда» [1]).

Издатели.

Москва,
январь 1884 г.

ТОВАРИЩИ!

Желая содействовать группе «Освобождение Труда» в осуществлении предпринятого ею издания «Библиотеки Современного Социализма», вы находите полезным иметь в своем распоряжении более или менее подробные раз'яснения, хотя бы только письменные, относительно цели и значения подобного предприятия в настоящий момент. В пользу своего предложения вы ссылаетесь на равнодушие одних к такого рода предприятиям, на сомнения и расспросы других относительно их практического смысла. Признаюсь, с тяжелым чувством принимаюсь я за исполнение вашего желания. В самом деле, не заключается ли печальное предзнаменование для ближайшей судьбы нашего социалистического движения в самом факте необходимости раз'яснить нашим так называемым «социалистам» подобные вещи? В результате стольких жертв и геройских усилий революционной партии в ее рядах оказывается такой идейный упадок, что не только понимание социализма (никогда, впрочем, не стоявшее у нас высоко), но даже сознание важности такого понимания, самая потребность в нем все более и более исчезают у нашей так называемой «социалистической интеллигенции». То, что составляет насущную потребность для всякого европейского рабочего-социалиста, то, что кажется ему само собой подразумевающимся, требует долгих предварительных раз'яснений для нашей интеллигенции! Немецкие социалисты имеют внутри страны газеты и даже месячные, весьма дельные, обозрения. И все-таки они еще издают за границей специальный орган партии — несмотря на всевозможные бесчисленные провалы на гра-

[1]) Этого «списка» в находящемся в моих руках экземпляре не было. *Л. Д.*

нице при распространении «S.-D.» внутри Германии [1]). Что же побуждает их «бедняков-рабочих тратить свои гроши и рисковать положением своим и своих семей для такой роскоши? — Глубокое сознание важности для социально-политического развития выражать свои идеи и стремления в возможно более резкой принципиальной и систематической форме. Но и такой орган им кажется недостаточным для вполне последовательной разработки и пропаганды социально-политических тенденций и идей социализма. Поэтому они за границей издают постоянно брошюрки и книги, которые, опять-таки, приходится перевозить тайно и распространять тайно. Наша же «социалистическая» *интеллигенция*, которая, кажется, особенно должна бы дорожить своим идейным развитием, с некоторым недоумением почесывает затылок, когда заходит речь о пересмотре и пополнении умственного багажа, составляющего необходимое орудие борьбы для всякой прогрессивной партии, а тем более социалистической.

В этой разнице между отношением западно-европейской *рабочей* интеллигенции и русской социалистической интеллигенции к разработке и пропаганде социализма отражается, по-моему, и разница их культурного уровня и разница классовых инстинктов одной и другой. Культурный человек отличается от дикаря, между прочим, тем, что первый, обыкновенно, из-за интересов минуты не упускает из виду интересы будущего. Чем человек развитее, тем он более способен переноситься в положение других и возвышаться не только над своими узко-эгоистическими интересами, но и над интересами минуты окружающей среды. Вот почему благороднейшие представители высших сословий успели во все времена отказываться от узких, грубо-материалистических тенденций и предрассудков своей среды и становились борцами за угнетенные классы. Поэтому же, с другой стороны, и угнетенные классы, по мере своего культурного социально-политического развития, руководствуются в своей

[1]) Напомню, что, ввиду действовавшего в то время в Германии «закона против социалистов», последние были вынуждены печатать свои произведения за границей (сперва в Цюрихе, затем в Лондоне) и нелегально перевозить и распространять их в их стране; центральный орган их «Social-Democrat» также там печатался. *Л. Д*

борьбе не только своими узко-классовыми интересами, но и обще-человеческими, не только узкими соображениями об облегчении своей участи на сегодня, но прежде всего соображениями о проложении путей к всестороннему развитию условий интеллектуального, экономического и политического прогресса. Возвращаясь к рабочей интеллигенции Западной Европы, мы видим, что, агитируя во главе рабочих масс во имя частных улучшений и повседневных вопросов, они ни на минуту, даже при самых трудных обстоятельствах, не теряют из виду основные интересы социализма и условия существования его, хотя бы и не в близком будущем.

Как раз обратное мы видим в нашей интеллигенции: она вечно переходит от одного приема борьбы к другому, из-за вопросов минуты готова забыть окончательно цель движения. Ради *одного* какого-нибудь приема, особенно благоприятствуемого данным моментом, она забывает все те пути, вне которых—не говорю: торжество социализма, хотя бы в далеком будущем, но и обеспечение истинно демократической конституции не мыслимо. Начав с «хождения в народ» без особенного почти плана (что вполне простительно на таком новом пути), она мало-по-малу почти совершенно оставила его или, по крайней мере, сильно охладела к этому делу. Провозгласив себя поборниками интернационального социализма, наши революционеры постепенно дошли до славянофильского народничества, развившегося, с одной стороны, в форме «чернопередельчества» и—с другой—«народовольчества». И, в довершение всего, потеряли всякое сознание важности серьезного ознакомления с научными основаниями и развитием социалистического миросозерцания и хотя бы только *теоретической* пропаганды его принципов и вытекающих из него практических путей. Это очень характерно для нашей интеллигенции. Этот процесс ее превращения показывает, что такие вещи, как выработка хотя бы передовых групп среди городских рабочих, с ясным социально-политическим миросозерцанием, в глубине души ее очень мало интересует. Вполне естественно, поэтому, ее равнодушие к литературной разработке и пропаганде того учения (социализма), которое представляет собой научное выражение интересов и инстинктивных стремлений рабочих

масс. И замечательно, что в то время, как революционные представители интеллигенции некоторых городов доказывали в 1879 г., что время пропаганды социализма среди рабочих прошло, что, ввиду преследований, книжек читать они не будут, в это самое время остатки разгромленных рабочих кружков жаловались на индифферентизм интеллигенции к их интересам и их умственному развитию, на отсутствие брошюр и книжек для рабочих и т. д. И через несколько дней после повешения матроса Логовенко рабочие в Одессе, как пряники, расхватывали привезенные из-за границы книжки, а за недостатком последних наша народившаяся рабочая интеллигенция вынуждена была удовлетворяться гектографированными записками, программами и т. д., в которых рабочим раз'яснялись идеи социализма и связь его с политической свободой.

Как только у нас народился интеллигентный элемент среди рабочих, так он тотчас же начал проявлять свой интерес к саморазвитию, умственному и политическому. Наша же революционная интеллигенция, имеющая в своем распоряжении хоть легальную, но все-таки обширную литературу, находила, что для рабочих такие вещи только излишняя роскошь. Индифферентная к делу социалистического воспитания передовых элементов рабочего класса, она, естественно, индифферентна и к своей собственной социалистической выработке, так как последняя может иметь для нас значение постольку, поскольку мы заинтересованы в подготовлении рабочего класса к сознательно-социально-политической деятельности.

Невольно припоминается отношение революционной интеллигенции Германии к этому же делу в 40-х г.г. Марксу приходилось обращаться к русским за денежной поддержкой для напечатания своей знаменитой «Misère de la philosophie», и ему приходилось воевать с грубым эмпиризмом большинства тогдашних революционеров, из которых некоторые находили, что он чуть ли не развращает рабочих. Но он отличался от них только тем, что, прекрасно сознавая необходимость борьбы с абсолютизмом, он в то же время считал обязанностью своих революционных собратий не терять из виду «интересов будущего», т.-е. подготовку *демократической* интеллигенции и лучших рабочих к сознатель-

ному участию в предстоящем политическом движении. Будущее показало, насколько плодотворны были работы Маркса, Энгельса, Фил. Беккера, Морица Гесса, — германская социальная демократия есть их умственное детище. *Масса* же тогдашней демократической интеллигенции Германии, как и следовало ожидать, оказалась впоследствии, в своем громадном большинстве, в ряду их либеральных и даже национал-либеральных противников социализма и пролетариата.

Вы, конечно, удивитесь тому, что я так далеко уклонился от настоящего предмета письма. Но это случилось частью невольно, под влиянием моего пессимистического настроения по отношению к нашей так называемой «социалистической» молодежи, частью, чтобы показать вам, насколько для меня трудно выполнить ваше желание. Заметьте, вам приходится выслушивать сомнения и вопросы не только относительно успеха издания и т. д., но и относительно его raison d'être [1]) в самом принципе. Но есть ли вероятность, чтобы элементы, которые в 1883 г. ставят вопросительный знак перед делом организации — рядом с борьбой против абсолютизма, (два слова неразборчивы. *Л. Д.*) систематической пропаганды современного социализма, есть ли, говорю я, вероятность, чтобы подобные элементы изменили свое мнение под влиянием нескольких письменных раз'яснений? Признаюсь, моя энергия пасует перед такой едва ли не сизифовой работой. Впрочем, все вышесказанное мной, хотя и косвенно, относится к сущности вопроса. Попытаюсь, однако, еще специально в немногих пунктах срезюмировать наиболее существенные соображения в пользу настоятельности такого литературного предприятия, как «Библиотека Современного Социализма» [2]).

---

[1]) Смысл существования.

[2]) О воззрениях ее издателей я здесь касаться не буду, так как обстоятельное изложение их не мыслимо в одном письме, да это и излишне было бы, ввиду появления брошюры Плеханова «Социализм и политическая борьба», [где] воззрения группы «Освобожд. Труда» изложены с чрезвычайной ясностью. Кроме того, в предисловиях к брошюрам «Манифест коммунистич. партии» и «Наемный труд и капитал» основная точка зрения также намечена в общих чертах. [Выноска Акс.].

I. Мы живем накануне серьезного политического переворота в России. Социалистической интеллигенции придется выступить открыто в прессе, на собраниях, быть может, в парламенте. С чем она выступит? У нее нет никаких твердых точек опоры в ее социально-политических мировоззрениях, нет строго продуманного критерия для оценки окружающих явлений, для понимания реальных требований данной минуты и связи их с условиями дальнейшего развития России вообще и народной партии — в частности. Для того, чтобы сколько-нибудь подготовиться к этому моменту, социалистическим элементам крайне необходимо теперь же серьезно приняться за систематическое выяснение основных понятий современного социализма об общих законах исторического развития, об условиях экономического, социально-политического и умственного прогресса. И в то же время необходимо, руководясь этими же понятиями, подвергнуть беспощадному и всестороннему пересмотру все прошлое и настоящее русских революционеров, — их отношение к партиям и элементам русской жизни и особенности самых этих элементов.

II. Прогрессивная роль революционных элементов тем значительнее, чем яснее они умеют отличить *возможное* для осуществления в данную минуту от их окончательной цели, время осуществления которой зависит не столько от доброй воли нескольких самоотверженных друзей народа, сколько от об'ективных условий развития человечества. Но это уменье соразмерять свои *практические* [приемы] с условиями органического развития и с собственными наличными силами русские революционеры могут приобрести, прежде всего, путем ясного сознания или общих *законов* исторического развития, насколько они выяснены современной социалистической наукой, свободной от всяких иллюзий и утопий. Интенсивность и форма борьбы революционных партий обусловливается, конечно, в значительной мере характером угнетающей силы и способами ее противодействия революционным стремлениям. Но несомненно также и то, что общий характер освободительного движения и его исторического значения в смысле прогресса находятся в прямой зависимости от степени социально-политического развития угнетенной массы и передовых застрельщиков на поле борьбы за ее интересы.

Я не стану пускаться здесь в дальнейшее развитие этой мысли. Достаточно сравнить средневековые народные движения, современное ирландское движение, отличающееся таким грубо-националистическим характером, и такого рода проявления народного недовольства, как антиеврейские беспорядки в России и Венгрии; достаточно сравнить все эти движения с новейшими революционными движениями Франции и социально-демократическими Германии, чтобы заметить громадную разницу между освободительными усилиями масс, направляемых социалистически развитым меньшинством, и такими же усилиями угнетенных слоев без широкой принципиальной подкладки.

Некоторые об'ясняют все ужасы первой французской революции захватом диктатуры представителями якобинского централизма. Об'яснение это, по-нашему, довольно поверхностно. Помимо обстоятельств борьбы революционной Франции против обще-европейской коалиции реакционеров, главной причиной, породившей как якобинскую диктатуру, так и тогдашнюю систему террора, послужило страшное противоречие, существовавшее в эпоху первой революции между *стремлениями* лучших демократов того времени, с одной стороны, и экономическим развитием Франции с соответствовавшими ему социалистическими тенденциями низших классов, с другой стороны. Наиболее искренние демократы смутно чувствовали, что революция идет не к установлению братства и равенства, о которых они мечтали; им казалось, что своей личной энергией и чрезвычайными средствами им удастся доставить немедленное торжество своим идеалам. А между тем, в сущности, в их собственных идеалах заключались начала, в корне противоположные тому царству всеобщего братства, к которому они стремились. И наперекор всей чрезвычайности их средств или, вернее, благодаря им, крайние демократы 1793—1794 г.г. работали бессознательно прежде всего на пользу буржуазии и императорства. Тогдашний уровень социологических знаний и, в частности, развития истинно демократического миросозерцания (что зависело от чисто об'ективных условий) препятствовали крайним демократам видеть громадное противоречие между их радикальными тенденциями и господствовавшими в их собственной среде социально-экономическими воззрениями. Они не

видели, что их социально-политическая программа внутренне противоречива, они не сознавали, что время господства крайней демократии тогда еще не настало, что она еще не достигла той ступени развития, на которой какая-нибудь социальная группа может по праву и с некоторым успехом овладеть монополией управления всеми делами страны. Всякая крайняя партия, очутившаяся, благодаря каким-нибудь временным обстоятельствам, в подобном положении, неизбежно должна прибегнуть к чрезвычайным средствам, вроде личной диктатуры своих вождей, чтобы как-нибудь удержаться на вершине власти. А раз вопрос об устроении человеческого блага перешел в исключительное ведение малочисленной группы идеологов-властителей, попытки решения его должны неизбежно сопровождаться такими ошибками, которые необходимо влекут за собой не только поражение этого идеологического меньшинства, но и компрометацию всей их партии и самого знамени его. Возвращаюсь, однако, к нашему вопросу [1]).

Если судить по антиеврейским беспорядкам, с одной стороны, и по различным проявлениям воззрений на нашу деятельность нашей революционной интеллигенции, между прочим, и по отношению к еврейским беспорядкам, с другой стороны, едва ли можно возлагать особенно розовые надежды на социально-политическую роль наших демократических слоев в ближайший к нам момент широкого политического движения. Возможно разграничить minimum или, если угодно, maximum осуществимых теперь практических требований от основных стремлений революционной демократии, — концентрация ее сил на борьбе за эти требования и на заложение прочной основы истинно народной партии, — таков, как мне кажется, предел того, что могут социалистические элементы взять на свои плечи при настоящем состоянии своей силы. Но где искать высший критерий для более или менее точного определения наших принципиальных или практических задач? Критерий тот может заключаться, прежде всего, в учениях современного социализма. Я не хочу этим сказать, что он безусловно гарантирует нас

[1]) Полагаю, читатель помнит, что это было написано около 40 лет тому назад. *Л. Д.*

от всяких бесплодных попыток, от грубых ошибок и промахов. При настоящем состоянии социалистических знаний никакая доктрина не может во всех частностях предохранять нас от ложных шагов. Но современный социализм, как совокупность понятий и воззрений, основанных на тщательном анализе исторического процесса развития человечества, заключает в себе указания и на современную русскую жизнь, и на преобладающую тенденцию ее социально-экономических сил; так как наша современность представляет собой уже пройденную передовыми народами фазу развития, то не от всевозможных ошибок и крайностей могут предохранить нас учения научного социализма, но они предохранят от очень многих и очень важных. Только партия, вполне усвоившая точку зрения современного социализма, сумеет возвыситься до такого ясного сознания своих основных тенденций и условий их осуществления, что не станет преждевременно брать на свои плечи задачу, далеко превышающую его силы и, ради немедленного достижения ее, пускаться на непозволительные компромиссы не только с враждебными народу элементами, но и с самой народной массой, когда она выступает, как реакционная сила.

Только революционная партия, с ясным пониманием сущности научно-социалистического миросозерцания и его отношения к русской общественности, сумеет выбрать путь наиболее целесообразный для параллельного преследования maximum'а осуществимых при теперешнем положении вещей требований и подготовки сознательных элементов для осуществления основных задач социализма.

III. С этой точки зрения дело организации систематической пропаганды научного социализма, в связи с задачами и стремлениями русских революционеров, является теперь крайне насущным, как необходимое средство для подготовления такого социально-революционного элемента, который своевременно мог бы выступить с определенной, строго последовательной программой как принципиальной, так и практической. Вооруженный определенной системой идей и ясным пониманием положения вещей, такой элемент оказался бы чрезвычайно полезным социальным фактором, если не как руководитель большинства крестьянских масс, то, по крайней мере, демократической интеллигенции и городских рабочих. Трудно рассчитывать на то, чтобы в ближайшем к нам общественном движении такая социалистическая партия могла приобрести влияние среди народных масс. Но уже чрезвычайно важно было бы приобретение такого влияния хотя бы только среди демократической интеллигенции и низших классов в городах. Из этих центров влияние ее хоть косвенным путем распространилось бы до некоторой степени и на крестьянскую среду, направляя ее на более или менее целесообразные пути при отстаивании своих интересов.

IV. Допустим, что и эти сравнительно умеренные надежды окажутся неосуществимыми в ближайшие годы. И это весьма вероятно, ввиду все большего и большего выступления буржуазных инстинктов и стремлений нашей интеллигенции, для которой социально-политическое развитие рабочих и собственная социалистическая выработка все более и более отходят на задний план. Признавая крайне вероятным, что нам теперь уже не удастся подготовить к предстоящему моменту падения абсолютизма очень влиятельную социалистическую партию [1]), я все же нахожу настолько плодотворным дело, затеянное группой «Освобождение Труда», что считаю прямой обязанностью искренних и сознательных социалистов всеми силами поддерживать ее. Прежде всего, очевидно, что для достижения когда-нибудь высших или даже средних ступеней влияния в обществе необходимо же когда-нибудь взобраться на первую ступень, преодолеть первые шаги на пути к приобретению значения руководящего фактора страны. Первым же условием для приобретения русскими революционерами когда-нибудь серьезного влияния на народные массы является, очевидно, помимо энергии и героического самопожертвования, ясное понимание ими самими теоретических основ современного социализма и своих практических задач в России как элементов, стремящихся к достижению идеалов социализма. Поднятие социально-политического сознания собственных передовых рядов до возможно высокой ступени развития — таков первый необходимый шаг, который должны преодолеть социалисти-

[1]) Как видим, несмотря на свой скептицизм, П. Б. Аксельрод все же очень оптимистически смотрел на тогдашнее политическое положение: ему, очевидно, представлялось, что в ближайшем будущем наша страна добьется политической свободы. *Л. Д.*

чески настроенные элементы наших революционеров, чтобы проложить себе дорогу к выдающейся роли в нашей общественной жизни.

С этой точки зрения едва ли возможно сомневаться в настоятельной необходимости организации литературной пропаганды социалистических идей по плану «Библиотеки Современного Социализма», если бы даже непосредственным результатом этой пропаганды в течение 3—4 лет было только образование контингента в 300—400 человек, более или менее серьезных, усвоивших социалистическое миросозерцание в его современной научной форме. Где же это видано, чтобы искренние и сознательные представители какой-нибудь общественной идеи складывали хоть на время руки в деле ее развития и пропаганды, раз у них нет осязательных шансов на завоевание ей к желательному ими моменту выдающейся роли в социально-политической жизни? А раз мы признаем важность выработки последовательного социалистического миросозерцания, хотя бы только в меньшинстве наиболее демократической интеллигенции и передовых единицах рабочего класса, для образования у нас истинно народно-революционной партии в будущем, мы необходимо должны признать и своевременность такого предприятия, как «Библиотека Современного Социализма».

При некоторых, не очень больших, усилиях в Россию возможно будет доставлять разными способами если не тысячами, то по нескольку сот экземпляров каждой брошюры или сборника. Таким образом как развитые рабочие, так и социалистическая часть нашей привилегированной молодежи нашли бы в своем распоряжении материал для собственной теоретической выработки в духе современного социализма и в некотором смысле руководства в своей пропагандистской деятельности. Кроме того, не мешало бы иметь в виду и заграничную русскую публику, — студенчество и эмиграцию, — возрастающую чуть не и изо дня в день [1]). Хотя молодежь, пребывающая за границей, и не

[1]) Обращаю внимание, что это сообщение Аксельрода показывает, насколько мы были правы, когда при основании нашей группы рассчитывали на предстоящее увеличение контингента эмигрантов, о чем я сообщил в статье «Первые шаги группы Освобождение Труда», в сборнике № 1. *Л. Д.*

отделена китайской стеной, как на родине, от социалистического движения и литературы Запада, но она, однако, фактически, благодаря своим специальным занятиям, не имеет возможности по первоисточникам знакомиться с сущностью и ходом этого движения и его теоретической подкладкой. И для нее свод идей, понятий и фактов, составляющих основу и содержание социально-революционного движения Запада, в более или менее обработанном виде, в форме брошюр и статей, очень необходим как наиболее доступное средство для пополнения ее теоретического развития по вопросам социализма. Нужно ли еще доказывать, что и заграничный русский элемент, состоящий из многих сотен лиц, следует принять в расчет при обсуждении вопроса об организации систематической пропаганды, путем литературы, социализма? Такой вопрос казался бы просто странным для большинства французских или германских социалистов-революционеров. У нас же придется еще, вероятно, доказывать, что ведь масса наших добровольных и недобровольных изгнанников только временные гости за границей и что, при некоторой внутренней поддержке извне, многие из них вернутся на родину весьма ценными силами для нашего революционного движения.

Пора, однако, закончить свое уж чересчур растянувшееся послание. Прибавлю только ко всему вышесказанному, еще одно, вероятно, очень странное для русского человека соображение в пользу «Библиотеки Современного Социализма». Она могла бы послужить почвою для выработки более или менее численно значительной литературной группы из сотрудников в России и за границей, группы, вполне слившейся по всем вопросам теории и практики социализма. А такая литературная группа, с несколькими сотнями солидарных с ней по направлению лиц, оказалось бы, в предстоящий момент широкого общественного движения у нас, ценной силой как умственный центр социалистически подготовленного ядра демократических элементов.

Таков minimum ожидаемых мною результатов от осуществления, при серьезной поддержке из России, предприятия группы «Освобождение Труда». Откровенно сознаюсь, однако,

что внутренно я ожидаю более значительных результатов [1]). Кто знаком с историей образования политических партий, тот знает, какую силу может представить из себя в момент свободного общественного брожения группа в три — четыре сотни социально-политически развитых лиц, связанных между собой единством воззрений и солидарным с ним литературным персоналом. Непосредственное влияние этой группы может проявиться гораздо быстрее и значительнее, чем это может казаться теперь.

В заключение обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство. Крайний демократизм нашей интеллигенции обусловливается в значительной мере тем гнетом, который лично ей приходится выносить под давлением абсолютизма. По всей вероятности, ее демократические симпатии явно улетучатся после падения абсолютизма, как это случилось с ней в Западной Европе. Удержать твердо значительную часть ее на почве теперешних ее социалистических тенденций возможно было бы только путем усиленной пропаганды теперь в ее среде учений научного социализма, потому что люди привилегированной среды могут в большинстве случаев серьезно предаться интересам народа только под влиянием усилий мысли и теоретических доводов. Но самая склонность ума работать в этом направлении, предрасположенность его, так сказать, к восприятию крайних демократических доктрин зависит от внешних обстоятельств. И в этом отношении теперешние обстоятельства, конечно, гораздо благоприятнее тех, какие настанут после избавления России от гнета абсолютной монархии. Вот почему я думаю, что именно теперь (а не после) следует употребить все усилия на организацию систематической пропаганды социализма в нашей интеллигентной молодежи. Упустить этот момент, значит совершить непростительную и едва ли поправимую ошибку. И это будет одна из тех ошибок в жизни общественных партий, за которые им приходится жестоко расплачиваться перед неумолимым судом истории.

---

[1]) В данном случае, как известно, П. Б. не ошибся: ожидания его вполне оправдались. *Л. Д.*

О. НЕЛЬСКИЙ

ДВИЖЕНИЕ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ ОТ ИДЕАЛИЗМА К МАРКСИЗМУ

(БЕЛИНСКИЙ—ЧЕРНЫШЕВСКИЙ—ПЛЕХАНОВ)

I.

«До сих пор каждый из лучших наших литературных деятелей сознает, что значительной частью своего развития обязан непосредственно, или посредственно, Белинскому... Во всех концах России есть люди, исполненные энтузиазма к этому гениальному человеку, и, конечно, — это лучшие люди России».

Так писал в «Современнике» Добролюбов, выражая этими словами не свое только личное отношение к Белинскому, но и общее отношение к нему лучших людей шестидесятых годов. Белинского чтили, Белинского знали тогда, его читали и перечитывали.

Наступившее в последующие десятилетия теоретическое одичание не могло не отразиться и на отношении нашей интеллигенции к великому критику. Правда, еще совсем недавно, можно сказать, вплоть до самой революции на чтение Белинского, хотя бы в средней школе, смотрели, как на проявление неблагонадежности. Произведения этого писателя тщательно исключались из ученических библиотек, и разве какой-нибудь «недовольный» педагог под шумок знакомил с некоторыми из них своих юных слушателей. Немудрено, что непосредственное влияние Белинского в наше время очень невелико, что его знают только по имени,

и что даже так называемые образованные люди имеют о нем теперь очень смутное представление. Потому-то и случается подчас слышать о «неистовом Виссарионе» поистине изумительные отзывы. Какое отношение, — замечают некоторые, — может иметь Белинский к материализму, к научной социалистической мысли? В своих критических статьях он будто бы говорит только о разбираемых художественных произведениях и совершенно не затрогивает социально-политических вопросов. Он не касается тех общественных условий, которыми определяется духовное развитие, выразившееся в различных литературных направлениях. И еще многое другое в этом же роде.

Между тем, все значение литературной критики Белинского заключается в том, что она опиралась на социологию и философию, а потому сама содействовала развитию философских и социологических понятий, а в некоторых областях, — поскольку речь идет собственно о литературе, — подвинулась так далеко, что может служить проверкой наших нынешних взглядов. Заниматься публицистикой, разбирать общественные вопросы без литературного прикрытия в ту эпоху никогда не позволила бы цензура. Недаром и Герцену до от'езда за границу приходилось высказывать свои общественные убеждения, например, ненависть к крепостному праву, — в романах и повестях. Да «и умы современников, — как говорит Чернышевский о Лессинге, — были готовы оживиться поэзией, а не были еще готовы к философии, — и Лессинг писал драмы и толковал о поэзии». Для Белинского, подобно Лессингу, важнее всего было служить развитию своего народа. Но он, обладавший в высокой степени даром мыслить силлогизмами, не умел мыслить образами, и его немногие беллетристические произведения оказались неудачными. Таким образом для Виссариона Григорьевича оставалось только «толковать о поэзии», стать литературным критиком. Он, не колеблясь, пошел по этому пути.

Как смотрел он на задачи литературы, можно видеть из первой же его статьи «Литературные мечтания». Белинский говорит в ней, что литература какого-нибудь народа выражает «его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и биений». Он думает, правда, что в России еще нет

общества, в котором отражалась бы народная физиономия, а потому нет и не может быть еще литературы. Такого мнения Белинский придерживался до самого конца. Его собственно литературно-художественные взгляды оставались почти неизменными; если же менялись его отзывы о том или другом литературном явлении, то это определялось характером его общественных и философских взглядов.

Для примера достаточно вспомнить его отношение к Шиллеру, которым он то восхищался, как «благородным адвокатом человечества», то возмущался, — в период своего известного «примирения с действительностью», — как «странным полухудожником, полуфилософом». Однако он всегда находил, что произведения Шиллера плохи как драмы. Точно такое же отношение можно проследить у нашего критика к Жорж Занд или Грибоедову. «Поэт должен выражать не частное и случайное, но общее и необходимое», — писал Белинский в конце своей деятельности, повторяя почти дословно то, что им было сказано в «примирительный» период. Но в это суждение в разное время он вкладывал существенно различное содержание, которое зависело от его философского мировоззрения.

Философские взгляды Белинского развивались под влиянием двух факторов: немецкой классической философии и «гнусной рассейской действительности». Не владея немецким языком, Белинский мог ознакомиться с классической философией только со слов Станкевича, Бакунина, отчасти Каткова, что значительно затрудняло ему усвоение этой философии. Русская действительность была такова, что в ней всякий честный и мыслящий человек должен был «сознавать себя нулем». Отсюда — безотрадный и безнадежный пессимизм Чаадаева. Но Белинский был натурой действенной, боевой, не склонной предаваться бесплодному пессимизму.

Под влиянием шиллеровских драм и фихтевской философии он об'являет настоящей действительностью фантазию, идеал общества, каким оно должно было бы быть, но каким оно нигде не существует; он считает призраком «гнусную» действительность и проникается к ней «дикою враждой». Но рабство и невежество, угнетение и произвол окружающей его обстановки слишком сильно дают себя знать искреннему и чуткому человеку, чтобы он мог ее долго игнорировать,

чтобы он мог удовлетворяться блужданием в абстракциях. Уже в 1837 г. Белинский разрывает с идеалом, оторванным от жизни, который ничего не об'ясняет и ничему не помогает. Он отказывается и от политики, для которой будто бы в России нет места, и от вражды с существующими порядками во имя «примирения с действительностью», т.-е. во имя конкретной деятельности. Такой переход совершается им с помощью философии Гегеля.

II.

Философия Гегеля сыграла в умственном развитии Европы в высшей степени прогрессивную роль. Это была настоящая «алгебра революции». Но в ней нужно различать две стороны: метод и систему. Душу гегелевской философии составлял с особою силой сказавшийся в его «Логике» диалектический метод, учение о развитии в противоречиях, охватывающее как постепенные количественные изменения (эволюция), так и скачкообразные изменения качества (революция).

Останавливаясь на этой стороне гегелевской философии, Энгельс говорит: «Человечество никогда не придет к совершенному, идеальному состоянию: совершенное общество, совершенное «государство» может существовать только в фантазии... Диалектическая философия на всем и всегда видит печать неизбежного падения, и ничто не может устоять перед нею, кроме непрерывного процесса возникновения и уничтожения, бесконечного восхождения от низшего к высшему. Она сама является лишь простым отражением этого процесса в мыслящем мозгу».

Но Гегель, который «был немец и, подобно своему современнику Гёте, порядочный филистер», должен же был как-нибудь закончить свою философию. И в «Философии права» он об'явил ее системою абсолютной истины — вопреки ее диалектическому методу, не признававшему ничего абсолютного.

Это противоречие между диалектическим методом и претендующей на абсолютность системой отчетливо сказалось в известном положении Гегеля, над которым ломали свои головы передовые русские, да и не только русские, люди

тридцатых и сороковых годов: «Все действительное разумно; все разумное действительно». Как нужно это понимать? Согласно «Логике» далеко не все существующее действительно. «В своем обнаружении действительность оказывается необходимостью», т.-е. действительно только то, что является необходимым результатом развития и потому способно к дальнейшему развитию. «Но в последнем счете необходимое оказывается также и разумным».

«В применении к тогдашнему прусскому (точно так же, как и к российскому. *О. Н.*) государству, — замечает Энгельс, — гегелевское положение сводилось, стало быть, к следующему: это государство лишь настолько разумно, лишь настолько соответствует разуму, насколько оно необходимо. И если оно кажется нам негодным, а между тем продолжает существовать, несмотря на свою негодность, то негодность правительства об'ясняется и оправдывается негодностью подданных. Тогдашние пруссаки имели такое правительство, какого они заслуживали».

А в «Философии права» тот же Гегель заявляет, что истинное знание мирит людей со всей окружающей их действительностью, со всем существующим.

Белинский, познакомившись именно с этой последней стороной учения Гегеля, в своих статьях «Менцель — критик Гёте» и «О Бородинской годовщине» последовательно довел ее до крайности: он не только помирился с неприглядной российскою обстановкой, но даже смирился перед нею. Очевидно, однако, что это примирение не могло быть продолжительным. Признавая свою систему абсолютной истиной, Гегель должен был признать абсолютным, идеальным то общественное устройство, отражением которого являлась его система. Идеал достигнут, история закончена, остаются частичные поправки и улучшения — для неприглядной российской обстановки это было чересчур. И уже в сороковом году Белинский проклинает свое «гнусное примирение с гнусной российской действительностью» и, раскланявшись с «философским колпаком Егора Федоровича» (Георга-Фридриха Гегеля), переходит на точку зрения его диалектики.

Ошибка его, которую он сделал вслед за Гегелем — провозвестником абсолютной истины, заключалась, как В. Г. сам об'яснял впоследствии, в том, что он не сумел развить

идею отрицания. Иначе: в тогдашней России он, — и, конечно, не он один, — не видел таких общественных факторов, которые в своем развитии сделали бы неизбежным уничтожение ненавистной действительности. Да он и не мог их видеть, потому что таких факторов в русской жизни тогда еще не было на-лицо: они начинали только обнаруживаться в жизни Западной Европы. И вслед за Белинским над тем же самым вопросом о движущих силах общественного развития мучительно билась наша прогрессивная мысль вплоть до 80-х годов.

Эпоха «примирения» Белинского в социологическом смысле знаменовала собой крупный шаг вперед. Переводя одно из существенных положений статьи «О Бородинской годовщине» на наш нынешний язык, Плеханов говорит: «Оно означает, что общественные учреждения возникают не потому, что кто-то захотел установить именно эти, а не другие, учреждения, а потому, что они отвечают известным общественным потребностям, возникшим в процессе исторического развития и определившим собою то волевое движение, которое побуждает «общественного человека» к созданию данных учреждений. Усвоить себе эту истину, значит навсегда распроститься с утопизмом».

Но в том-то и дело, что Белинский и в дальнейшем не всегда твердо держался этой истины. «Восстав против «колпака», [он] стал развивать идею отрицания не путем диалектического анализа действительности, а путем апелляции к отвлеченному понятию человеческой личности». И даже в последний год своей жизни, когда он перешел уже к материализму Фейербаха, когда под действительностью он понимал «истинную сущность предмета», когда он ставил будущее развитие России в зависимость от образования у нас буржуазии, т.-е. развития капитализма, т.-е. экономических причин [1]), он и тогда повторял: «все и всегда делалось через личности» и призывал «нового Петра Великого».

Преклонение перед человеческой личностью, любовь к человечеству толкает Белинского после его разрыва с «колпаком» к социализму. Но и тогдашний утопический социализм не мог удовлетворить В. Г., благодаря своей отвлеченности, а значит, теоретической несостоятельности: Белинский не даром прошел школу Гегеля. Впрочем, ему, может быть, больше всех русских мыслителей, обладавших «философской организацией», так и не суждено было доработаться до конкретного миросозерцания. Этому помешали и неблагоприятные обстоятельства его личной жизни, и ранняя смерть, и, главным образом, неразвитость общественных отношений в современной ему России.

[1]) Выход «Deutsch-Französischen Jahrbücher», одним из редакторов которых был молодой Маркс, застал еще Белинского в живых. Наш знаменитый критик восхищался этим журналом.

III.

Материализм Фейербаха, апелляция к человеческой личности делают Белинского родоначальником русских просветителей, — Чернышевского, Добролюбова и других деятелей шестидесятых годов. Наша задача — просвещение, в этом смысле не раз высказывался Белинский. «Быть учебником жизни», развивать в обществе здравые понятия хотели и успевали Чернышевский, Добролюбов, Писарев. Развивая в обществе здравые понятия, содействуя его умственному развитию, они думали привести человечество к материальной эмансипации. И это было бы совсем не дурно, если бы их идеалы были конкретны, если бы они основывались на изучении реальной исторической обстановки. Но последнего-то и не было. Белинского убивала невозможность найти практический выход из окружающей его действительности, невозможность построить мост между идеальным и реальным. Просветители, оперируя с абстрактными идеалами человеческой личности, человеческой природы, нисколько не смущались их абстрактностью. Время было другое. Между сороковыми и шестидесятыми годами прошла Крымская кампания и так называемая «освободительная» эпоха. Старое разлагалось, силы для нового еще не созрели. В такие периоды разум кажется всемогущим. Всем просветительным эпохам свойственна одна отличительная черта: «усиленная борьба со старыми понятиями во имя новых идей, считающихся вечными истинами, независимыми от каких бы то ни было «случайных» исторических условий. *Разум просветителя* есть не более как *рассудок новатора*, закрывающего глаза

на исторический ход развития человечества и об'являющего свою природу человеческой природой вообще, а свою философию — единой истинной философией для всех времен и народов».

«Мнение правит миром» — таково, в конце концов, сознают они это или нет, основное положение просветителей. И от этого взгляда не свободен Чернышевский.

Но как же так? Ведь это чистейший идеализм, а Чернышевский, как сказано, был последователем материалиста Фейербаха?

В самом деле, противоречие здесь было. Оно заключалось в том, что материалист в философии, Фейербах, а за ним и Чернышевский, оставался идеалистом по своим историческим и общественным взглядам. Русская действительность, — под просвещенным скипетром «царя-освободителя» и окружавшей его жандармской своры, — никоим образом не содействовала прояснению и развитию русской общественной мысли. Наоборот, наше бытие ставило этой мысли жесточайшие преграды. Заключенный в крепость, а затем сосланный в Вилюйск и надолго исключенный из числа живых, Чернышевский — при всей своей гениальности — не мог двинуться в философии дальше «гуманизма» Фейербаха, в социологии — дальше утопического социализма Фурье, в политической экономии — дальше «Оснований» Джона Стюарта Милля, дополненных с помощью собственного «гипотетического метода», который тоже был проявлением утопизма.

Как бы там ни было, в лице Белинского и Чернышевского, наша передовая общественная мысль сороковых и шестидесятых годов не отставала или, по крайней мере, стремилась не отставать от передовых теорий Запада.

Но со 2-ой половины шестидесятых годов расстояние между Россией и Западной Европой в области мысли становится все более значительным. Если Белинский и просветители, не находя движущих сил в развитии действительной жизни, искали их *вне* ее и пытались приурочить их к служению общественному прогрессу, то народники семидесятых-восьмидесятых годов, родоначальниками которых были Герцен и Бакунин, видели эти силы в экономической отсталости страны, оказываясь — совершенно помимо своего желания — сторонниками экономического застоя, регресса.

Превознося российскую самобытность, они с презрением относятся к учению новейшего материализма и научного социализма, который блестяще расцвел в эту пору в Германии и принес богатые плоды.

Гегель об'яснял историю об'ективным ходом развития действительности, которое совершается путем борьбы заключенных в ней противоположностей. И это совершенно справедливо. Но как идеалист он в развитии вещей видел только отражение и воплощение хода развития абсолютной идеи, т. е. все той же абстракции. В этом заключалась не только теоретическая несостоятельность, но и практическая слабость его учения. Фейербах «прорвал и отбросил» гегелевский идеализм, но вместе с *ним он отбросил и его диалектику*. «Природа существует независимо от какой бы то ни было философии. Она есть основание, на котором вырастаем мы, люди, ее произведения», — провозгласил он. Но «Фейербах не нашел дороги, ведшей из царства столь ненавистных ему отвлеченностей в живой действительный мир... И природа, и человек остаются у него пустыми словами. Он не может сказать что-либо определенное ни о действительной природе, ни о действительном человеке. Чтобы перейти от фейербаховского отвлеченного человека к действительным, живым людям, необходимо было изучать их в их исторических действиях».

Это было сделано Марксом и Энгельсом. Последнему и принадлежат только что приведенные строки.

IV.

Сознание определяется бытием. Общественное сознание людей определяется их общественным бытием. Общество не однородно, вся история его была до сих пор историей борьбы классов. Взгляды и стремления различных классов зависят от социальной и политической структуры общества, которая, в свою очередь, создается развитием его производительных сил. На известной высоте развития этих сил имущественные и выражающие их политические отношения становятся тормозом для их дальнейшего развития. Тогда старые рамки ломаются и заменяются другими. Кто хочет способствовать

прогрессивному развитию данного общества, тот должен изучить это общество в его истории, найти его движущие силы, те классы или тот класс, развитие которого связано с развитием всего данного общества, а, стало быть, рано или поздно ведет к его отрицанию, т.-е. уничтожению. А так как общественная деятельность людей, как всякая их деятельность, есть деятельность сознательная, то задачей такого человека является развитие сознания представителей прогрессивного класса в том направлении, в котором совершается общественное развитие. Мало того, его задачей является способствовать организации этого класса во внушительную силу, которая могла бы противостать силам отживающего общественного устройства и тем ускорить и облегчить диалектическое вылупление нового общества из недр старого.

Так как социальное строение общества находит свое выражение в его политическом устройстве, то на первый план выдвигается политическая борьба, политическая организация и развитие политического сознания этого прогрессивного класса. Таким классом на Западе оказывается пролетариат. Поэтому Энгельс замечает:

«Найдя в истории развития труда ключ к пониманию всей истории общества, новое направление с самого начала обращалось почти исключительно к рабочему классу и встретило с его стороны такое сочувствие, какого оно не ожидало и не искало со стороны официальной науки».

Теперь — вопрос, совершается ли развитие России по западно-европейскому образцу? Развивается ли у нас капитализм, а вместе с ним и рабочий класс? Если в 60-х, а тем паче в 40-х годах на этот счет еще ничего нельзя было сказать с уверенностью, то к 80-м в жизни и в экономической литературе обнаружились уже такие явления, которые открывали возможность вполне определительного ответа. Нужно было только уметь наблюдать эти явления и понимать их смысл.

Когда, овладев передовыми общественными теориями Запада, восстав против «самобытных» предрассудков, в начале 80-х годов продолжателем дела Белинского и Чернышевского выступил Плеханов, он опирался уже на данные статистики и на неоспоримые факты.

Из этих данных и фактов можно было сделать действительно серьезные выводы, только воспользовавшись диалектическим методом Гегеля, который был надлежащим образом переработан Марксом [1]).

Члены группы «Освобождение Труда» во главе с Плехановым так именно и поступили.

Но что значит изучать какую-нибудь страну диалектически? Это значит рассматривать ее не в однажды и раз навсегда данном состоянии, установив ее положительные и отрицательные черты (как это было, например, у Бакунина), но в ходе ее развития, изменения ее хозяйства и всего ее быта, вызывающего перемены в самых чертах народного характера, выдвигающего на историческое поприще новые силы, новые слои населения, а вместе с ними и новые идейные течения и общественные стремления.

Обратившись к изучению России с подобным мерилом, Плеханов и его товарищи увидели, что наше отечество вовлечено в капиталистический круговорот. Расслаивается и разлагается старая деревенская Россия с ее будто бы социалистической общиной, и на место ее возникает и развивается Россия городская с фабрично-заводской промышленностью и современным рабочим классом. Движение этого класса, наличность которого, каково бы оно ни было, нельзя было отрицать в эту пору, само по себе могло служить существенным признаком такого развития.

Мы идем по западному пути. «Святая Русь» теряет свои «устои» и все более пропитывается буржуазной скверной.

---

[1]) В своем философском словаре г. Э. Л. Радлов утверждает, что *диалектический метод* принадлежит прошлому и что его успешно критиковал Тренделенбург. А между тем возражения Тренделенбурга направлены только против *идеалистической* диалектики, которая об'ясняет действительность саморазвитием чистой мысли, тогда как эта чистая мысль (или: понятие) сама представляет собою абстрагированную природу. Но ведь то же самое возражение раньше Тренделенбурга делали гегельянству вышедшие из гегелевой школы сторонники диалектики *материалистической*. На это указал именно Плеханов, который в предисловии к брошюре Энгельса о Фейербахе и рассмотрел подробно взаимоотношение формальной логики и диалектики. С его взглядом можно было согласиться или не согласиться; но, не опровергнув Плеханова, нельзя было утверждать, что диалектика умерла и не воскреснет.

Как относиться к этому явлению? Должны ли передовые люди мешать капитализму или насаждать его (открывать кабаки, по вульгарному заключению одного слишком ретивого противника русского марксизма)? Много недоразумений было по этому поводу, много вздору говорилось представителями нашей интеллигенции. Но этот вздор не мог смутить Плеханова и его друзей. Ни то, ни другое, — отвечали они на поставленный вопрос: ни мешать, ни насаждать. Это дело не наше. Производительные силы образуют некоторую экономическую основу, на ней должны мы действовать, не пытаясь воспрепятствовать ходу истории, не противопоставляя абстрактного идеала конкретной жизни, но извлекая его из этой жизни. Создаются капиталистические отношения, но создаются вместе с ними и свойственные им противоречия, толкающие историю вперед. Действителен уже капитализм на русской почве, но не менее действителен рабочий класс и его движение, ведущее к отрицанию капитализма и к построению нового, социалистического общества. И эта действительность будущего дня не только необходима, но и разумна: она выражает тенденцию об'ективного развития общества, именно то, что великий идеалист называл «разумом» истории.

Сложна обстановка отсталой страны, в которой рабочее движение и марксистская идеология зародились до свержения самодержавия. Эта сложность исторической обстановки увеличивает нашу ответственность, усложняет стоящие перед нами задачи, но отнюдь не делает их неразрешимыми.

Члены группы «Освобождение Труда» переносят на русскую почву самое передовое учение Запада. Но они придерживаются при этом хода развития общественной жизни и общественной мысли в России, а не в какой-либо из западных стран. Верные духу своих великих учителей, они применяют их метод к выработке программы действий в нашем отечестве.

Эта программа, впервые и вопреки закоренелой близорукости большинства тогдашних деятелей, провозглашала рабочий класс главной движущей силой российского освободительного движения и призывала раньше всего к организации русской рабочей партии.

Теоретические взгляды, развитые группой «Освобождение Труда», идут таким образом навстречу растущему движению пролетариата и, освещая его классовой идеологией, способствуют его оформлению, укреплению и росту. Философия в собственном смысле слова заменяется социологией и политикой, вопросы чисто «просветительные» — вопросами практическими, вопросами тактики.

Заветы Белинского были выполнены; поставленные им задачи решены: в теории — последователями диалектического материализма, на практике — рабочим движением. *Идея отрицания* развивалась в жизни и в общественной науке.

V.

Не нужно, однако, думать, что, перенося центр тяжести теоретических исследований в область социально-экономических вопросов и политики, Плеханов и его друзья отказались от рассмотрения вопросов, которыми непосредственно занимался Белинский. Так думает, повидимому, П. Коган. И жестоко заблуждается. По крайней мере, в статье «Литературные направления и критика 80-х и 90-х годов», находящейся в недавно переизданной «Истории русской литературы XIX века» (под редакцией Д. Овсянико-Куликовского), он высказывает ту мысль, что первоначально марксисты пренебрежительно отнеслись к вопросам критики, эстетики, литературы и взялись тщательно изучать произведения художественного творчества только позже, в «Жизни» (в конце 1900 года, когда «декадентство доросло до целой этической и философской системы»), и только в лице Андреевича (Евг. Соловьева). Каким марксистом был Андреевич, об этом всего лучше умолчать. Не в нем тут дело. Но надо сказать правду: такого времени, когда бы русские *теоретики марксизма* относились пренебрежительно к вопросам критики и эстетики, никогда *не было*. И надо удивляться, как мог историк литературы упустить из виду целый ряд блестящих и поистине «создававших эпоху» статей Плеханова, печатавшихся во многих книжках «Нового Слова». Сюда, в серию статей под общим именем «Судьбы русской критики», вошел, между прочим, разбор

литературных взглядов Белинского. В том же «Новом Слове» начала печататься статья Плеханова, озаглавленная «Эстетическая теория Чернышевского», в «Начале» — его же статья «Об искусстве», а в «Научном Обозрении» — статьи «Об искусстве у первобытных народов» [1]).

Эстетика Плеханова, точно так же, как эстетика Белинского и Чернышевского, носит философско-социологический характер; она только опирается не на философию Гегеля или Фейербаха, а на учение Маркса-Энгельса, представляющее синтез гегелевской диалектики с фейербаховским материализмом.

Плеханов, прежде всего, устанавливает, что еще Белинский (а за ним и Чернышевский с Добролюбовым) взял себе за правило никогда не разбирать литературных произведений вне связи с окружающими их общественными явлениями. Обязанность критика ничего *не предписывать*, а только *изучать*.

«Задача истинной эстетики, — писал Белинский [2]), — состоит не в том, чтобы решить, чем должно быть искусство, а в том, чтобы определить, что такое искусство. Другими словами: эстетика не должна рассуждать об искусстве, как о чем-то предполагаемом, как о каком-то идеале, который может осуществляться только по ее теории; нет, она должна рассматривать искусство, как предмет, который существовал давно до нее и существованию которого она сама обязана своим существованием».

В научном отношении это был самый ценный вывод, к которому пришел Белинский. Правда, он не всегда последовательно держался этого вывода. Он сам подчас прибегал для оценки художественных произведений к отвлеченному принципу, что и делало его родоначальником русских просветителей. Тому были свои причины, коренившиеся в условиях эпохи.

[1]) Нельзя не упомянуть также его рецензий и статей о «беллетристах-народниках», появившихся ранее в сборниках «Социал-Демократ».

[2]) В статье о Державине (1843 г.). Обращаем внимание читателей на то, что в цитату эту, приведенную Плехановым (на стр. 260-ой II-го тома той же «Истории русской литературы XIX в.»), вкралась грубая опечатка: в ней пропущена целая строка, благодаря чему совершенно искажается ее смысл.

Этот заключительный вывод или, если угодно, эта гениальная постановка вопроса явилась отправною точкою научно-эстетических исследований русского марксизма. Плеханов, идя по пути, уже отчасти намеченному Чернышевским, «прорывает и отбрасывает элементы гегелевского идеализма» в теории Белинского и — с большим успехом — применяет метод диалектического материализма к изучению таких тонких идеологических «надстроек», как искусство, литература и, наконец, самая критика. Он видит в них продукт общественной психологии, которая сама вырастает (в этом-то и состоит отличие материалистической диалектики от идеалистической) на данной социально-экономической базе, обусловленной развитием производительных сил. Он доказывает, что развитие идей и здесь, как везде, определяется ходом вещей.

Таковы его общие теоретические соображения об искусстве. Правильность их он подтверждает исследованием искусства сначала в таком обществе, где еще не развилась борьба классов, а потом (в 1905 г.) [1]) — в обществе, где борьба эта выразилась уже весьма ярко. Критика в собственном смысле слова относится к этим посылкам, как прикладная механика к рациональной: она опирается на них. Чтобы сделать у нас практически возможной марксистскую критику литературы и искусства, необходимо было выработать ее теоретические основы. Это и сделал Плеханов. И потому по всей справедливости он должен быть назван творцом научной эстетики.

Но это еще не все. Только тогда, когда конкретная жизнь создала условия, необходимые для решения тех вопросов, которые мучили Белинского; только тогда, когда эти вопросы были решены, стало возможным правильно понять самого Белинского и определить место, занимаемое им в истории русской общественной науки и литературы. В лице Плеханова группа «Освобождение Труда» дала ответ

[1]) В статье «Французская драматическая литература и франц. живопись XVIII в. с точки зрения социологии» (см. 2-ое изд. сборника «За 20 лет», также его статьи «Искусство и общественная жизнь»: «Современник», 1912 г.: XI и XII, 1913 г.: 1, где продолжен анализ общественных причин возникновения теории искусства для искусства, данный еще в первых статьях).

и на этот вопрос. Насколько ответ этот был нов, насколько он шел вразрез с укоренившимися заблуждениями, можно видеть уже из того факта, как были встречены первые статьи Плеханова о Белинском четверть века тому назад, в конце прошлого столетия. Нашлись серьезные люди, занимавшиеся литературой, которые, казалось бы, должны были знать ее историю и, тем не менее, недоумевали по поводу этих статей, смеется ли в них автор над читателем или смеется над самим собою. Они обвиняли группу «Освобождение Труда» в отречении от наследства, в забвении преданий нашей передовой интеллигенции. Но это было не более как очень крупное недоразумение. Теперь уже всеми признано, что лучшие работы о Белинском, Чернышевском и Герцене написаны ортодоксальным марксистом Плехановым. Ему принадлежит высокая честь установления связи между идеологией русского рабочего движения и взглядами передовых представителей нашей литературной критики со времен Белинского [1]).

И если можно было сказать, что «немецкое рабочее движение является наследником классической немецкой философии», то после Плеханова с не меньшим правом можно говорить и о том, что наследником нашей передовой общественной мысли восьмидесятых, шестидесятых и сороковых годов, наследником группы «Освобождение Труда», Чернышевского и Белинского является русское рабочее движение.

---

[1]) Как не заметил П. Коган, что тут была постановка вопроса, которая и не снилась покойному Андреевичу. Ведь он же не г-жа Зинаида Гиппиус! Характера этой связи не понял Рязанов. Говорим здесь о третьем издании его — весьма обезображенной предисловием — брошюры о группе «Освобождение Труда» (стр. 8). Дело в том, что если Писарев, а за ним Михайловский и другие пошли в одну сторону, ударились в суб'ективизм и потому никогда не могли преодолеть противоречие между сознанием и бытием, найти переход от идеала к его жизненному воплощению, то группа «Освобождение Труда», — вопреки мнению Рязанова, вовсе не связанная со школой Писарева, — взяла совершенно другое направление: усвоив, как выше сказано, точку зрения об'ективного диалектического материализма, она нашла тот синтез, благодаря которому наш рабочий класс мог получить означенное наследство.

Л. ДЕЙЧ

ИЗ КАРИЙСКИХ ТЕТРАДЕЙ

По приходе в середине декабря 1885 г. в политическую каторжную тюрьму на Каре, я в течение нескольких дней рассказывал товарищам, — но особенно подробно другу моему Я. Стефановичу, — о всем пережитом, виденном и слышанном мною в течение протекших тогда со времени нашей с ним разлуки, в конце лета 1881 г., четырех с половиной лет. Эти мои сообщения показались ему очень интересными; он поэтому стал просить меня написать их, под видом переводов с какого-нибудь иностранного языка, что нам разрешалось делать. Уступая его настоятельным просьбам, я, года два спустя, принялся за писание, и по прошествии еще двух лет у нас оказалось девять исписанных карандашом тетрадей, в шесть листов каждая, пронумерованных, прошнурованных, скрепленных казенными печатями и подписанных комендантом, жандармским полковником Масюковым.

По выходе весной 1890 г. на поселение, Стефанович взял эти тетради с собой. Когда же впоследствии я, также очутившись на воле, встретился с ним, то получил их от него обратно. Вместе с другими моими (а также В. И. Засулич) рукописями и письмами эти тетради долго затем хранились за границей. Теперь все они находятся у меня. Написанное 36 — 37 лет тому назад карандашом, благодаря принятым Стефановичем мерам, сохранилось, за немногими исключениями, удобочитаемо.

Ввиду того, что все занесенное в эти тетради было мною написано под свежим впечатлением незадолго перед тем произошедших событий и обстоятельств, они приобретают особенную ценность, что особенно важно в виду следующего:

В последнее время до меня стали доходить слухи, что тот или другой из моих недоброжелателей заявляет, будто в моих записках случаются не только случайные ошибки, что вполне допускаю, но и сознательные, тенденциозные

извращения прошлого. Распространением таких слухов занимаются лица, повидимому, чем-либо мною задетые. К сожалению, как передают, в их числе находятся и некоторые из бывших моих товарищей по каторге и ссылке.

Благодаря «Карийским тетрадям», написанным в тюрьме почти сорок лет тому назад и только для двух-трех самых близких мне лиц, в чем легко может убедиться каждый желающий, — все беспристрастные люди, я уверен, признают, что распускаемые слухи о характере моих записок являются заведомой инсинуацией, вызванной злобой и мстительностью.

В печатаемом здесь отрывке из этих тетрадей я воспроизвожу два отдельных эпизода, связанных между собой только хронологически.

[В прямые скобки взято все, что прибавлено для ясности и вообще улучшения изложения или слога.

По мере возможности буду также и впредь делать извлечения из этого источника.

I. ЖИЗНЬ Г. В. ПЛЕХАНОВА В БОЖИ НАД КЛАРАНОМ

По возвращении из Парижа в Швейцарию, осенью 1881 г., Георгий Валентинович поселился в небольшой деревушке Божи, где уже с весны того же года жили Розалия Марковна с новорожденной и ее подруга Теофилия Поляк. Там, так сказать, оттачивалось его марксистское мировоззрение. Как всегда, Георгий Валентинович вел очень трудовой образ жизни, не отличавшийся разнообразием: он тогда [усиленно, по его выражению, «готовился к диссертации», т.-е.] штудировал сочинения Родбертуса, а также и многих других авторов, ввиду полученного им от Михайловского предложения написать исчерпывающую статью об этом экономисте для «Отечественных Записок» [1]). Но Г. В. всегда охотно отрывался от этих занятий для бесед с близкими и с изредка приходившими к нему местными или приезжавшими из других городов знакомыми.

Материальные условия его жизни в то время были в значительно лучшем состоянии, чем в предшествовавшем году, когда, живя в Париже, он чрезвычайно нуждался. Кроме гонорара за статьи, печатавшиеся в «Отеч. Зап.», он

[1]) В другом месте — в предисловии к изданной «Буревестником» (в Краснодаре) брошюре, «Эконом. теория Ротбертуса» — я подробно сообщаю о том, как Г. В. занимался подготовкой этих статей.

имел хороший урок в Кларане, в одном русском семействе. Розалия Марковна также получала от своих родных небольшие суммы. К тому же приехавшая из Россия сестра его Александра привезла сколько-то рублей [1]).

Приезду этой сестры, которую Плеханов не видел в течение 6 — 7 лет, он очень обрадовался: он подробно расспрашивал ее о родных и знакомых и, сам при этом вспоминая прошлое, о многом сообщал нам. Но, когда эти темы были исчерпаны, оказалось, что, в сущности, у него было мало общего с сестрой.

Александра Валентиновна, или короче «Саша», как мы ее называли, была очень неглупой и способной, но мало развитой институткой. Воспитанная в закрытом учебном заведении, которое она незадолго перед тем окончила блестяще, с «шифром», Саша ничего не видала на своем веку, мало, если не сказать вовсе нет, интересовалась тем, что Г. В. и нас всех занимало и, конечно, совсем не была знакома с жизнью. Слабенькая, тщедушная, она к тому же являлась искалеченной неврастеничкой. [Забегая много вперед, сообщу здесь, что после некоторых перипетий она в молодых годах покончила самоубийством.]

Спустя короткое время Г. В. и мы, близкие, стали замечать, что Саша тяготится жизнью в его семье и что ей больше пришлось по душе общество тогда же приехавшей из России юной четы Русановых, с которой она вскоре близко сошлась, а когда, с наступлением жаркого времени, Русановы отправились куда-то в горы, то Саша поехала вместе с ними.

Несколько нарушало тихое, спокойное течение жизни Плехановых тяжелое состояние здоровья неоднократно упоминаемой в его переписке с Лавровым подруги Розалии Марковны — Теофилии Поляк: она находилась в последних градусах чахотки, а потому была неимоверно мнительна и раздражительна.

[1]) Между прочим, она предложила Г. В. от своего имени и двух младших сестер — Варвары и Клавдии — часть доставшегося им незначительного наследства, полученного, кажется, от продажи после незадолго перед тем умершей матери их небольшого дома в Липецке, но Г. В. долго отказывался взять у сестер предложенную ими ему долю.

Очень умная, обладавшая большими способностями, Теофилия, по окончании гимназии с золотой медалью, отправилась в Петербург на медицинские курсы. Там встретилась она с Розалией Марковной Боград, к которой привязалась наиболее глубокими дружескими чувствами. Как самая любящая старшая сестра, старалась она освобождать свою подругу от разных житейских забот, оберегала ее спокойствие, но, увы, не могла, конечно, уберечь свою подругу от явившейся у нее глубокой привязанности и расположения к Плеханову. Когда же Розалии Марковне пришлось также эмигрировать, Теофилия последовала за нею. Приехала она за границу уже тяжело больной туберкулезом, и чем более прогрессировала ее болезнь, тем она становилась все требовательнее к своему единственному другу, которому она охотно отдавала все, что у нее было. Ей, чувствовавшей приближение смерти, хотелось, чтобы любимая подруга находилась безотлучно возле нее и только с нею беседовала. Но Розалия Марковна, при всей привязанности, которую она питала к Теофилии, не могла, конечно, удовлетворять чрезмерные желания больной; отсюда возникали конфликты, капризы и сцены, нарушавшие семейный покой Плехановых.

Деликатный и отзывчивый Г. В., вполне понимая состояние больной, старался ничем не раздражать ее, почему даже избегал заходить в ее комнату. Это, однако, не мешало Теофилии находить незначительные поводы, чтобы расстраиваться. Однажды, в знойный июньский полдень, Г. В., сильно встревоженный, пришел ко мне, — я жил в Фонтаниване над Божи, в получасе ходьбы, — и чрезвычайно взволнованным голосом сообщил, что Теофилия рассердилась на них по какому-то пустяку, поэтому, захватив небольшой узелок, она ушла в Кларан, чтобы оттуда уехать в Женеву. Никакие просьбы Розалии Марковны не могли остановить ее; между тем, ввиду крайне тяжелого состояния ее болезни, этот ее уход чрезвычайно встревожил Розалию Марковну. Г. В. попросил меня немедленно отправиться в Кларан, чтобы, догнав Теофилию, постараться вернуть ее обратно; если же это не удастся, то поехать в Женеву и возможно лучше устроить там больную.

Зная состояние здоровья Теофилии, задыхавшейся при каждом шаге, а потому с большим трудом передвигавшейся

даже по комнате, я вполне понимал охватившую Плехановых тревогу: больная могла упасть где-нибудь на длинной для нее дороге до пристани и более уже не подняться. То был один из немногих случаев в течение всего моего продолжительного знакомства с Г. В., когда я видел его чрезвычайно встревоженным, крайне возбужденным: он торопил меня скорее спуститься вниз, в Кларан, так как он и Розалия Марковна надеялись, что Теофилия меня может послушаться.

Я знал Теофилию с отроческих лет: она была подругой одной из моих сестер, учившейся вместе с нею в Киевской женской гимназии; одно время она жила у нас, и у меня с нею установились добрые товарищеские отношения.

Мне удалось ее нагнать еще не доходя до Кларана, где расположена пристань, так как она буквально еле передвигала ноги и принуждена была останавливаться на каждом шагу. Сделав вид, что я ничего не знаю об ее уходе от друзей и случайно встретил ее, я выразил крайнее удивление, каким образом она очутилась так далеко от дома. Тогда она заявила о своем решении отправиться в Женеву, так как ей, мол, тяжело оставаться у Плехановых, которым она в тягость и отравляет жизнь. Выслушав это, я сказал, что как старый ее приятель не могу пустить ее одну и поеду вместе с нею, чтобы помочь ей там получше устроиться. Она, конечно, начала меня отговаривать от этого, но я стоял на своем. А пока, в ожидании времени отхода парохода, завел беседу как будто о совершенно посторонних предметах, но, как я знал, сильно интересовавших ее: о несправедливости судьбы, дающей очень много всего одним, напр., Сергею Кравчинскому, которого мы считали «баловнем судьбы», и, наоборот, очень мало — другим. Отсюда мы перешли к вопросу об одиночестве, затем о дружбе и случающихся при этом переплетениях, когда к двум близким присоединяется третье лицо, связанное глубокой симпатией лишь с одним из этих друзей. Далее мы разобрали, какие в этом случае происходят тяжелые и сложные положения, как иногда страдают все три лица, в особенности то, которое считает себя лишним, обузой, стесняющей двух других. И, тем не менее, удаление кого-либо из троих не является выходом, так как остальные не

могут ведь не страдать при этом; словом, все отлично понимают, где корень раздражений, тем не менее, не в силах его устранить, и хорошие, высоко развитые, любящие и уважающие друг друга люди при таких обстоятельствах не в силах выйти из них: они невольно портят свои отношения и представляются один другому хуже, чем каковы они в действительности.

Мы не называли ничьих имен [кроме Кравчинского], но каждый из нас имел, конечно, в виду ее, Розалию Марковну, и Георгия Валентиновича. Эта беседа, видимо, пришлась по душе бедной больной: она многое ей раз'яснила, что и ей самой уже не раз приходило на ум, но не так формулировалось; к тому же этой, в сущности, совершенно одинокой молодой девушке, очевидно, доставило большое наслаждение, что старый приятель вполне ее понимает, нисколько не осуждает ее за раздражительность и, очевидно, признает ее лучшей, чем она сама себе казалась. Наблюдательная, образованная, чуткая Теофилия ясно видела, что во мне говорит искреннее чувство и что высказанные мною взгляды верны, справедливы.

Беседа наша, сопровождавшаяся неизбежными в таких случаях отступлениями, отгадываниями и подсказываниями мыслей друг друга, длилась очень долго. Давно спустилось солнце, но мы ни словом не касались более предстоявшей нам поездки в Женеву: Теофилия понимала, что последняя не будет выходом из создавшегося без чьей-либо вины тяжелого положения, что, наоборот, ее от'езд внес бы целый ряд новых осложнений и неприятностей еще для большего числа лиц. Поэтому, когда я сказал, что пойду позвать фиакр, чтобы он отвез ее обратно, она не протестовала.

В это время подошла наша знакомая, Вера Хотинская, жена землевольца Александра, которую Теофилия очень любила. Предложив ей сопровождать больную в Божи, на что Вера охотно согласилась, я сам отправился туда же пешком, так как иначе лошади было бы тяжело везти четверых в гору, к тому же наступили чудные сумерки, и мне хотелось после долгого сиденья на одном месте пройтись.

Между тем на квартире Плехановых произошел такой курьез. Видя, что уже вечер, а мы с Теофилией не возвращаемся, Розалия Марковна, Георгий Валентинович и пришедшая к ним Вера Ивановна Засулич решили, что я поехал вместе с больной в Женеву или, не найдя ее на пристани, отправился вслед за нею. Поэтому, когда Г. В-чу и Вере Ивановне понадобилась какая-то книга, находившаяся в комнате Теофилии, они вошли в нее, пугая в шутку друг друга: «ой страшно, — так и кажется, что она сидит в углу дивана!». Говоря это в темноте, Г. В. чиркнул спичкой и, о ужас: Теофилия, худая, бледная, с большими на выкате глазами, сидела на обычном своем месте в комнате, имевшей прямой ход с лестницы, почему она и зашла никем не замеченная.

Неожиданность ее присутствия, в связи с произнесенными вошедшими Г. В. и Верой Ивановной фразами на ее счет, вызвала у них такой ужас, что они оба стремглав выбежали из ее комнаты. В этот-то момент я вошел к ним, но, конечно, не понимал, в чем дело. Когда же затем Г. В. и Вера Ивановна, придя в себя, высказывали опасение, что их шутки по адресу Теофилии и их бегство от нее в паническом страхе могут явиться поводом к новому ее раздражению и сборам в Женеву, я зашел к ней, но оказалось, что предположения моих друзей не оправдались: под влиянием прогулки и нашей беседы Теофилия была в прекрасном настроении и сама добродушно смеялась по поводу шутливого разговора Г. В. с Верой Ивановной, их испуга и бегства.

Все были очень довольны, что мне удалось выполнить тяжелую миссию. Особенно радовалась Розалия Марковна. Таким образом состоялось примирение; Теофилия больше не делала попыток переселиться в Женеву, и в семье Плеханова установились покой и тишина.

Сообщу уже здесь о дальнейшей судьбе Теофилии, для чего мне придется забежать несколько вперед.

* * *

Розалия Марковна, перед тем как вынуждена была эмигрировать, находилась уже на последнем семестре Женских Медицинских курсов в Петербурге. Отправляясь за границу, она намеревалась там закончить свои занятия, чтобы получить диплом. Но вследствие материальных и семейных при-

чин ей в первые два года не удалось осуществить это намерение. Только летом описываемого мною 1882 года она решила с этой целью переехать в Берн.

Георгий Валентинович поехал туда один в начале августа, чтобы предварительно нанять подходящую квартиру, так как, ввиду болезни Теофилии, необходимо было, чтобы она помещалась в здоровой местности и была недалеко от университета. Несколько дней спустя, отправились и мы туда, а так как у Розалии Марковны, кроме больной подруги, была на руках годовалая ее девочка Лида, то для облегчения дорожных хлопот я также поехал с ними. По приезде в Берн мы узнали от встретившего нас на вокзале Георг. Валент., что он лишь наметил несколько квартир, а потому на некоторое время придется поселиться в гостинице. Однако и это не легко было осуществить; пришлось на извозчике довольно долго странствовать по городу, пока удалось найти подходящие номера, к тому же не в каждой гостинице соглашались принять их с тяжело больной.

В связи с довольно утомительным переездом из Божи, это продолжительное кочевание по Берну до крайности утомило бедную Теофилию: у нее поэтому вновь явилось раздражение и недовольство на Георгия Валентиновича.

Уезжая через два дня оттуда в Цюрих, я все же оставил Плехановых в гостинице. Всякому, даже не специалисту, было очевидно, что дни Теофилии сочтены. Однако, при прощании с нею, я, как водится в таких случаях, выразил уверенность, что на обратном пути найду ее поправившейся, в ответ на что она, отрицательно покачав головой, глухим голосом прошептала, что едва ли я больше увижу ее.

В Цюрихе я намеревался пробыть недели две, но уже через несколько дней мне пришлось внезапно оттуда уехать, вследствие полученной из Женевы телеграммы от приехавшего туда из Парижа Тихомирова, просившего меня немедленно приехать ввиду важных обстоятельств.

Не имея возможности вследствие этой спешки остановиться в Берне, я с пути пригласил телеграммой мою приятельницу Анну Макаревич-Кулешову притти на вокзал, где поезд должен был стоять полчаса. Вместе с нею пришел туда Георгий Валентинович, имевший крайне грустный, расстроенный вид: оказалось, что Теофилия скончалась накануне, и в этот именно день должны были состояться ее похороны. Он, поэтому, просил меня остаться в Берне до утра. После некоторых колебаний, обусловливавшихся неизвестностью того важного дела, по которому столь настоятельно вызывал меня Тихомиров, я согласился [1]).

Похороны бедной Теофилии были такие же скромные и грустные, как и вся короткая жизнь ее. За ее гробом, кроме Георгия Валентиновича, Анны Кулешовой и меня, шло лишь несколько местных студенток, на кладбище никто не произнес ни слова, не пролита была там ни единая слеза.

Все мы трое, близко знавшие ее, хотя и имели несколько расстроенный вид, все же признавали, что эта преждевременная смерть — лучший для бедной Теофилии исход.

Только Розалия Марковна была крайне расстроена этой смертью, почему она и не присутствовала на похоронах. Относительно последних дней жизни Теофилии Георгий Валентинович и Розалия Марковна потом сообщили мне, что она была вполне спокойна, хотя сознавала, что приближается конец, и посмеялась, когда врач утешал ее, что она проживет еще некоторое время; перед смертью она помирилась с Георгием Валентиновичем и, вообще, была очень добра, приветлива, заботлива; она умоляла Розалию Марковну беречь свою девочку Лиду, передавала всем близким всякие пожелания, а мне, — что она очень благодарна за хорошее к ней отношение.

Так окончила короткую и вместе многострадальную жизнь несчастная Теофилия Поляк 28 — 29 лет.

Теперь возвратимся к нашему совместному с Плехановыми пребыванию над Клараном до описанного только что его с семьей переезда в Берн.

* * *

Кроме внесенного больной Теофилией некоторого диссонанса, вскоре, как мы видели, улегшегося, ничто другое более уже не нарушало мирной и вместе плодотворной жизни Георгия Валентиновича в указанный период его пребывания в Божи. Насколько могу теперь припомнить, весна и лето 1882 г. являлись одним из лучших для него момен-

[1]) В чем состояло это спешное дело, я подробно излагаю во втором очерке.

тов за все время продолжительного его пребывания в эмиграции. Наследственная болезнь легких тогда еще ничем не проявлялась: он был полон сил, энергии, бодрости; сознавал, что делал блестящие успехи в умственных занятиях и на литературном поприще, видел, что его чрезвычайно ценят не только близкие, друзья и приятели, но и «властители дум» тогдашней передовой молодежи — Лавров, Михайловский. За вычетом описанного встревоженного состояния по поводу ухода Теофилии, он всегда был в веселом, жизнерадостном настроении, сыпал остротами, шутками, рассказывал разные эпизоды и, конечно, уморительные анекдоты. Это да прогулки к нам — ко мне с Верой Ивановной [в Фонтанивань] — и в Кларан на урок были, в сущности, единственными его развлечениями после многочисленных и разнообразных его умственных занятий. Скажу здесь несколько слов и об этом уроке.

Кажется, Георгий Валентинович занимался с десяти-или двенадцати-летней девочкой какого-то довольно состоятельного русского помещика. В течение некоторого времени он не был знаком с отцом своей ученицы. Но, однажды, последний попросил у него разрешения, по окончании урока, проводить его. Очутившись затем на улице, помещик сообщил ему, что из прочитанного им в местной французской газете заявления, подписанного Плехановым, он видит, что тот — политический эмигрант, чего раньше он не подозревал [1]).

Ввиду бывших тогда аналогичных случаев, Георгий Валентинович подумал, что за этим сообщением последует отказ от этого очень выгодного для него урока. Но оказалось, что помещик принадлежал к нашим либеральным и по тому времени, — это было вскоре после 1 марта, — довольно смелым россиянам: он заявил Плеханову, что политические его взгляды не могут иметь никакого отношения к занятиям с его дочкой, при чем прибавил, что очень доволен его преподаванием.

Последовавшей затем продолжительной беседой этот господин остался, видимо, очень доволен, так как с тех пор каждый раз, по окончании урока, сопровождал Георгия Валентиновича до самой его квартиры в Божи, на что требовалось около часа, а по прошествии некоторого времени сам же предложил Плеханову прибавку к гонорару, находя, что указанный последним размер его чрезвычайно мал.

— Это вам плата за пропаганду марксизма русскому барину, — помню, острили мы с Верой Ивановной.

— В современном капиталистическом обществе, — отшучивался он, — всякий труд должен оплачиваться.

Само собой разумеется, что не за беседы этот либерал счел нужным увеличить размер получаемого Георгием Валентиновичем гонорара, — он действительно был очень доволен Плехановым как учителем, что было вполне естественно: принимая во внимание обширную и разностороннюю эрудицию Георгия Валентиновича, выдержанный его характер, присущую ему во всем систематичность и аккуратность, а также его любовь к детям, он, естественно, должен был являться и выдающимся педагогом. Вообще, в преобладающем большинстве случаев, Плеханов безукоризненно, можно даже сказать — в совершенстве, исполнял все, за что брался: на половину, как-нибудь, он решительно ничего не делал и энергично восставал, когда другие так поступали.

Кроме указанных здесь черт, — впрочем, давно известных всем, знавшим Георгия Валентиновича, — он обладал изумительной способностью своими беседами привлекать к себе людей самых разнообразных слоев общества, всяких национальностей, возрастов и пр. В этом отношении, наряду с огромными и разнообразными его дарованиями, несомненно оказывал большое влияние также и имевшийся у Плеханова большой интерес ко всякому без различия человеку.

* * *

Изолированный образ жизни, который Георгий Валентинович вел в Божи, обусловливался как обилием у него занятий, так, в особенности, следующими обстоятельствами.

Число проживавших в Кларане и в его окрестностях знакомых вовсе не было незначительно; нельзя также сказать, чтобы между ними не имелось заметных, интересных лиц. Достаточно назвать живших в Кларане известных коммунаров Лефрансэ и знаменитого географа и анархиста Элизэ

[1]) Какого рода это было заявление, я не помню.

Реклю, а также наших соотечественников, — выдающегося публициста и ученого Льва Мечникова и небезызвестного в те времена «отщепенца», бывшего полковника Н. Соколова. Будучи знаком с этими лицами, Георгий Валентинович, однако, лишь случайно встречался с ними где-нибудь на нейтральной почве и едва ли заходил к двум последним больше раза-двух по делу, за какой-нибудь книгой или справкой. [У Реклю же, насколько могу припомнить, он ни разу не был, хотя тот иногда забегал, чтобы отдать полученное на его адрес письмо для нас.]

Эта отчужденность Георгия Валентиновича от внешнего мира об'яснялась отчасти условиями жизни как его самого, так и названных выдающихся лиц: и он и они были люди чрезвычайно занятые, не любившие проводить время в бесконечных беседах ни на своих квартирах, ни, тем более, по кафе, что было в обычае эмигрантов всех наций, а наших, как известно, в особенности.

Единственным исключением из перечисленных выше лиц являлся полковник Н. В. Соколов: за вычетом нескольких часов, которые он посвящал литературным работам, — тогда, главным образом, составлению французско-русского словаря, — он всю остальную часть дня проводил за кружками пива и другими напитками с любым подворачивавшимся ему собеседником. Подобно многим крупным русским людям, этот соратник Писарева и Зайцева по знаменитому в 60-х г.г. «Русскому Слову» губил свой талант и знания вследствие чрезмерного пристрастия к крепким напиткам. Недурной рассказчик, не лишенный остроумия, Соколов бывал интересен только до определенного градуса его состояния. В эти моменты Георгий Валентинович, питавший к нему смешанный с большим сожалением некоторый интерес, временами любил послушать рассказы старого «отщепенца» о его встречах с Писаревым, Михайловским и другими известными писателями 60-х г.г. Но более частые с ним встречи, ввиду указанной его слабости, не соответствовали характеру и привычкам Георгия Валентиновича.

По другим причинам не вызывали у Плеханова особенного к себе интереса также Э. Реклю, Л. Мечников и другие жившие поблизости известные лица. Как я уже многократно сообщал, то был период чрезвычайного, безграничного его увлечения произведениями основателей научного социализма: главным образом, если не исключительно, о них он готов был всегда делиться своими мыслями и планами, что, как известно, абсолютно не занимало анархиста Реклю, совершенно аполитичного Льва Мечникова и других знакомых, довольствовавшихся разной эклектикой.

Но, на счастье Георгия Валентиновича, кроме меня с Верой Ивановной, судьба весной же послала ему еще одного поклонника Маркса и Энгельса: я имею в виду упомянутого выше Н. С. Русанова.

До своего от'езда в горы, Н. Русанов часто бывал у Георгия Валентиновича, который охотно встречал его, о многом с ним беседовал и одно время сличал с ним сделанный им перевод «Манифеста Коммунистической партии».

Русанов уже состоял тогда сотрудником довольно популярного журнала «Дело», в котором поместил несколько толково написанных статей по экономическим вопросам. Между прочим, незадолго до от'езда за границу он вел там полемику с «И. Кольцовым», как подписывал тогда свои легальные статьи член «Исп. К-та Нар. Воли» Лев Тихомиров. В этой полемике Русанов отстаивал марксистские взгляды, о которых Тихомиров, хотя и являлся «лидером» нашей крайней революционной партии, не имел никакого представления. Это, однако, не мешало ему вступить в полемику и, по мнению столь же, как и он, осведомленных его сторонников, выйти из литературного поединка победителем.

На основании этой полемики Г. В. составил себе о Русанове представление, как об убежденном марксисте. Поэтому он очень обрадовался его приезду, а затем, познакомившись с ним лично, наметил его в число постоянных сотрудников затевавшегося тогда «Вестника Народной Воли».

Было чему радоваться Плеханову: несмотря на свои 20 с чем-то лет, Н. С. Русанов являлся уже начитанным, в особенности по экономическим вопросам, писателем, владевшим бойким, легким пером. Как революционер он не имел за собой никаких заслуг и к подпольной деятельности почти вовсе не был причастен, если не считать некоторых сношений с легальными «чернопередельцами». Но это обстоятельство не могло иметь существенного значения для участия Русанова в названном заграничном журнале.

Из России, по его, а также его жены словам, им пришлось уехать из опасения быть арестованными, но нам, на основании их же рассказов, эти опасения казались мало основательными. Что за ними решительно ничего предосудительного, с точки зрения департамента полиции, не имелось, доказательством служил, между прочим, факт выдачи им заграничных паспортов, с которыми они переехали границу. Некоторые поэтому, помню, острили, что юная чета бежала скорей от родителей, чем от полиции.

При нашем знакомстве с Русановыми они являлись молоденькой, очень симпатичной парочкой, скорее напоминавшей влюбленных гимназиста и гимназистку, чем супругов. Оба из великорусских семейств, они, кажется, сошлись против воли родителей. Будучи передовым молодым человеком, Н. С., помнится мне, стремился эмансипировать купеческую дочку, чтобы вырвать ее из темного царства, но возможно, что память изменяет мне [1]).

[Забегая вперед, скажу здесь, что возлагаемые Плехановым на юного Русанова надежды в очень скором времени совершенно не оправдались. Чтобы не возвращаться более к этому знакомству Г. В., напомню в нескольких словах следующее:

[Против ожиданий Плеханова, пребывание Русанова за границей не только не укрепило и не подвинуло его дальше в процессе усвоения марксистского мировоззрения, но, наоборот, в сильнейшей степени ослабило у него и те из основ научного социализма, что он вывез из России. Это он обнаружил год с чем-то спустя после прибытия за границу в первой же написанной им для «Вестника Нар. Воли» статье.

[Напомню имеющийся в печати отзыв Плеханова об этой статье, озаглавленной «Банкротство буржуазной науки», подписанной псевдонимом К. Тарасов. «Статья Русанова, — писал Г. В. в августе 1883 г. П. Лаврову, — кажется мне слабоватой: Иванюкова и катедер-социалистов он не только

[1]) Замечу тут, что в минувшем году появились в Берлине «Воспоминания» Русанова, доведенные только до поездки его за границу. Пока я никаких существенных отличий его сообщений от моих не нашел. Кстати, по поводу этих его мемуаров я должен сказать, что написаны они каким-то деланным, искусственным тоном, почему производят впечатление неискренности; попадаются в них также прямые неверности.

не поразил, но даже не разбил, а, между тем, нам не следовало бы вступать в полемику с представителями официальной науки иначе, как нанося им тяжелый удар в общественном мнении» и т. д. [1]).

[После произошедшего у нас в конце лета 1883 г. разрыва с народовольцами [2]), Тихомиров, живший вблизи Женевы (в д. Морнэ), переехал в Париж, чтобы сообща с П. Л. Лавровым редактировать «Вестн. Нар. Воли». Туда же, не помню, раньше этого или позже, перебрались и Русановы. Совместная жизнь в одном городе с такими выдающимися лицами, как Лавров, Тихомиров и Ошанина, не могла, конечно, не оказать влияния на еще неустановившегося тогда юношу. Припоминаю, что чрезвычайно быстро происшедшее в нем превращение из сторонников Маркса в «суб'ективиста», «народовольца» и эклектика все же нас несколько удивило.]

Теперь перейдем к пребыванию Георгия Валентиновича в Берне, куда, как мы уже знаем, он с семьей переехал летом того же года.

* * *

В главном городе Гельветической республики Плеханов вел еще более замкнутую жизнь, чем в Божи, так как там вблизи него не было и меня с Верой Ивановной, с которыми он ежедневно видался и подолгу беседовал. Единственная старая его знакомая, Анна Кулешова, усердно занимавшаяся медициной, не могла часто навещать его; к тому же круг ее интересов был далек от занимавших Георгия Валентиновича.

Проживал в то время в Берне также известный давний марксист, — проф. Зибер, с которым Плеханов впервые лишь там познакомился, но ни малейшей близости не произошло между ними: слишком различны были характеры, стремления и приемы мышления у этих двух крупных русских марксистов. Поэтому, несмотря на чрезвычайную приверженность их обоих к учению Маркса, они далеко не являлись единомышленниками: чуть ли не со второй фразы обнаруживались их разногласия по многим кардинальным вопросам.

[1]) См. мою брошюру «Г. В. Плеханов», стр. 100.

[2]) См. «О сближении и пр.», — «Прол. Рев.», № 8/20, 1923 г.

[Я не присутствовал при их беседах, так как, кроме упомянутой остановки в день похорон Теофилии Поляк, больше не приезжал в Берн. Но Георгий Валентинович потом, встретившись со мной в Женеве, подробно передал о своих беседах с Зибером. Насколько могу теперь припомнить, общее впечатление, вынесенное им об этом последователе Маркса, было скорее неблагоприятное. Это станет понятно, когда вспомним взгляды Зибера относительно теорий Маркса и Энгельса в их применении к конкретной действительности не только в России, но даже и в наиболее капиталистически развитых государствах.

[Известно, что проф. Зибер считал совершенно излишней роль «акушерки» при возникновении нового строя, так как все, мол, само собой образуется: достигнув известной степени развития, капитализм обязательно будет заменен социализмом; активная роль как отдельных лиц, так и целых классов не только не нужна ни при этой смене, ни в предшествовавшие ей периоды, но является теперь, а также и в будущем, излишней, даже вредной, потому что она может на некоторое время затянуть, затормозить естественный процесс. Поэтому проф. Зибер отрицал всякую классовую борьбу пролетариата, он не признавал необходимости развивать самосознание рабочих, высмеивал революционную деятельность и т. д.

[Не странными ли после этого являются утверждения некоторых «компетентных исследователей», сообщающих, будто бы Зибер имел какое-то влияние на усвоение Плехановым марксистских воззрений? Такие заявления могут служить лишь наглядным свидетельством полного непонимания со стороны этих лиц воззрений как первого, так и второго. Насколько мне известно, Зибер ровно никакого влияния на Георгия Валентиновича, — как и на всех нас, его единомышленников, — не оказал уже по тому одному, что, за редкими исключениями, свои произведения он излагал дубоватым, неудобопонятным языком, почему куда легче и интереснее было читать подлинные произведения Маркса и Энгельса, а не его тяжеловесную популяризацию их взглядов.

[Не нравилась, помню, Георгию Валентиновичу также и манера Зибера спорить. Это, в сущности, не был спор, так как этот «безупречный марксист» лаконично заявлял,

что будет то-то или так-то, решительным тоном, не допускавшим никаких возражений. Зная сколько-нибудь Георгия Валентиновича, легко себе представить, как такая манера, да и весь склад ума и понимания Зибера, должны были его раздражать. Плеханову, уже тогда хорошо усвоившему воззрения основателей научного социализма, Зибер представлялся каким-то самодовольным фаталистом, обретшим истину, которая, будто бы, давала ему право снисходительно смотреть на совершенно ненужную людскую возню и разные там хлопоты, когда достаточно, мол, вооружиться терпением и спокойно ждать, сложа руки, завершения имманентного процесса. Пылкого, страстного борца за возможное ускорение естественного хода, каким всегда был Георгий Валентинович, вышеприведенные рассуждения могли только довести до белого каления.

[После этого, полагаю, всем станет понятно, почему Плеханов не мог сойтись с Зибером: то были полные противоположности, антиподы [1]).]

* * *

Недолго прожил Георгий Валентинович в Берне: вскоре оказалось, что Розалии Марковне удобнее окончить медицину в одном из университетов французской Швейцарии, дававшем право по окончании заниматься там практикой.

---

[1]) Повидимому, всего этого не принял во внимание, а вернее вовсе не знал или не понял Л. М. Клейнборт, выпустивший недавно небольшую брошюру, посвященную жизни и деятельности Н. И. Зибера; в противном случае он, вероятно, воздержался бы от несколько преувеличенных превозношений заслуг этого экономиста. Насколько Л. Клейнборт правильно разбирается в марксизме вообще, а во взглядах Плеханова и других членов группы «Освоб. Труда» — в частности, доказательством может отчасти служить, что в монографии о Зибере он совершенно не упоминает об указанном мною отрицательном отношении этого «безупречного» последователя Маркса к роли сознательного пролетариата в борьбе за новый социалистический строй. И на-ряду с умолчанием о столь важной особенности в возрениях Зибера его апологет непрерывно повторяет, что он являлся правоверным марксистом!.. Л. М. Клейнборт также утверждает, что работы Зибера... по духу, по историческому своему смыслу предшествуют «Нашим разногласиям» (стр. 31)...

Хороши же и рецензенты-марксисты, расхваливающие эту «работу» Л. М. Клейнборта, не упоминая о том, что слона-то он и не заметил...

Они, поэтому, переехали в Женеву, где, после короткого перерыва, мы вновь все сошлись и уже не расставались вплоть до моего от'езда во Фрейбург в начале марта 1884 г., о чем я уже подробно сообщил в очерке — «Первые шаги группы Освобождение Труда» (Сборн. № 1).

II. ПЕРЕГОВОРЫ С «ПРИДВОРНЫМИ СФЕРАМИ».

По приезде в Женеву я немедленно пошел к Тихомирову. После очень радушного приветствия он тотчас приступил к изложению дела, по поводу которого экстренно меня вызвал из Цюриха. Лишь только он приехал из России в Женеву, в то время, когда я путешествовал по немецкой Швейцарии, как получил из Парижа от Марии Николаевны Ошаниной телеграмму, которой она приглашала его немедленно приехать к ней по важному делу. С'ездив в Париж, он узнал от нее и Петра Лавровича, что приехал из России какой-то господин, который от имени вращающихся в придворных сферах высокопоставленных лиц предлагает «Исполнительному Комитету» выпустить прокламацию с заявлением, что, ввиду нареканий со стороны общества, будто бы из-за революционеров правительство не делает либеральных реформ, «Исп. К-т» обещает до коронации не совершать никаких террористических актов. Высокопоставленные лица уверены, что такая прокламация успокоит царя, а, благодаря этому, им, «сферам», удастся во время коронации добиться об'явления о созыве Учредительного Собрания. В доказательство же «Исп. К-ту», что их обещание не пустые слова, они предлагают ему, — раз он согласится на выпуск такой прокламации, — потребовать от них в залог большую сумму денег, которая достанется К-ту, если после коронации окажется, что конституция не дарована.

Петр Лаврович и Мария Николаевна чрезвычайно серьезно отнеслись к этому предложению и от своего имени предложили этому посреднику в виде проекта такие условия: лишь только «Исп. К-т» выразит свое согласие на выпуск этой успокоительной прокламации, таинственные высокопоставленные лица должны внести в Английский банк миллион рублей на имя нейтрального лица, напр. Э. Реклю, с тем, что последний, будучи посвящен в условия переговоров, возвратит их обратно, если обещание о даровании конституции осуществится, и, наоборот, он передаст их Исп. К-ту, в случае неисполнения этого обещания. Далее, раз будет выпущена требуемая этими лицами прокламация, они должны добиться от царя освобождения Чернышевского еще до коронации, и, наконец, по обоюдному согласию этих высокопоставленных лиц и Исп. К-та будет выбрано третье лицо из среды всем известных почтенных литераторов или общественных деятелей, которому будут сообщены теми лицами данные, указывающие на их связи и имеющееся у них влияние: когда это доверенное лицо скажет, что дело это действительно серьезное, тогда только Исп. К-т вполне поверит. На все эти сообща намеченные условия, по словам таинственного посредника, несомненно последует согласие, раз только Исп. К-т, в свою очередь, согласится выпустить вышеуказанную прокламацию. Далее Тигрич сообщил мне, что перед от'ездом из России он виделся с Верой Фигнер, но что она решительно не намерена была оставить террористическую деятельность: хотя в последнее время были арестованы почти все старые члены Исп. К-та, но Вере Николаевне удалось сорганизовать из бывших «кандидатов» новую террористическую группу. Необходимо было, поэтому, столковаться с ней и с ее группой для ведения переговоров с «высокопоставленными лицами». Путем переписки этого решительно нельзя достигнуть, так как адресов надежных нет у него, да и дело может слишком затянуться, потому что придется уговаривать и склонять Веру Николаевну и других; словом, необходимо лично кому-нибудь свидеться с Верой Ник. и убедить ее и ее товарищей, чтобы они согласились на это заманчивое предложение.

— Так вот, — закончил Тигрич, — нужно с'ездить в Россию, но я только что оттуда приехал; к тому же, вы знаете, жена на-днях должна родить, а Мария Николаевна больна...

Не трудно было догадаться, к чему клонилась его речь.

— Если дело, действительно, требует личных переговоров и я гожусь для этого, то я поеду, — ответил я.

— Признаться, мы с Марией Николаевной остановились именно на вас: вы вполне подходящий для этого человек, — вы сможете убедить Веру и других. Мы были уверены, что

вы согласитесь, и я очень рад, что мы не ошиблись. Но вот еще: почему бы вам, Евгений, не вступить в Исп. К-т? Вас мы, ведь, давно считаем кандидатом; мы с Марией Николаевной уже говорили об этом и решили предложить вам вступить теперь в него.

Все это он произнес таким тоном, словно мне уже об этом сообщали, и он недоумевает, почему я до сих пор не выразил согласия. Я, конечно, понял, что это не более как дипломатический прием, и так же дипломатически отклонил это предложение, заявив, что, по моему мнению, вступить, будучи за границей, в несуществующий там Исполнительный Комитет нельзя, а можно лишь по приезде в Россию и получив предложение от тамошних его членов. Несколько помявшись, он сказал:

— Ну, конечно, только живущие в России могут вас принять, но мы с Марией Ник. уверены, что они согласятся, и в нашем письме, которое передадим с вами Вере, мы сообщим ей, что предлагаем вас.

— Это уж ваше дело, — ответил я, — что именно вы ей напишете.

На этом разговор наш о моем вступлении окончился. Впоследствии, даже когда у нас с ним установились враждебные отношения, [о чем я уже сообщил в очерке «О сближении и разрыве с народовольцами»], он все же ставил мне в заслугу этот мой отказ, — находил его, по словам Плеханова, «благородным поступком», — так как, мол, прими я это предложение, он, конечно, стал бы вполне со мною откровенничать, и я, вообще, мог многое бы извлечь из этого «высокого звания».

На самом же деле, отказываясь от столь лестного тогда титула, я, как и в большинстве случаев в моей жизни, руководствовался чутьем, подсказавшим мне, что со стороны Марии Николаевны и Тихомирова предложение вступить в Исп. К-т являлось подачкой, стремлением завлечь меня, — намерением таким путем сделать меня «верноподданным» и усердным адептом «Нар. Воли». Между тем, зная уже тогда, со слов болтливой Екатерины Дмитриевны (жены Тихомирова) о полном почти разгроме террористов, я нисколько не находил привлекательным, заманчивым являться членом если не отжившего уже вполне, то, во

всяком случае, отживавшего свой короткий век Исп. К-та. Мне поэтому не хотелось связывать себя согласием на вступление в К-т, предчувствуя, что, может быть, впоследствии придется пожалеть о скороспелом согласии. И действительно, спустя короткое время, я был очень рад, да и теперь еще, по прошествии многих десятилетий, продолжаю быть довольным, что тогда отклонил эту сомнительную честь.

Несмотря на мое согласие поехать в Россию для переговоров с Верой Николаевной Фигнер, нелегко было немедленно осуществить это намерение, так как неизвестно было, где я смогу ее найти. Тихомиров заявил мне, что перед от'ездом из России он виделся с нею в Харькове, откуда она вскоре затем должна была куда-то уехать. Он только условился с ней насчет переписки, но для личной встречи не имел ни единого надежного адреса. Более того: он даже не знал, на юге ли она, на севере ли, востоке или западе России? По его словам, мне, может быть, пришлось бы поехать сначала в Москву и Питер и через очень далеко стоявших от революционеров лиц узнавать, где она. Если же ее там не оказалось бы, то нужно было бы ехать в Казань и опять такими же далекими путями разыскивать ее; то же самое предстояло мне на юге и т. д. Словом, вопрос, как найти Веру Николаевну, являлся очень сложным и сопряженным с риском попасться, ничего не сделавши. Поэтому необходимо было запастись чрезвычайно надежным паспортом и достаточным количеством средств для предстоявших раз'ездов по России.

Паспорт для легального проезда через границу я вскоре достал через Павла Борисовича Аксельрода у какого-то немца, так как я намеревался приехать под видом иностранца; деньги решено было взять заимообразно в кассе заграничного Красного Креста.

Я с'ездил в Фонтанивань[1]), чтобы помочь Вере Ивановне переехать на жительство в Женеву, так как в моем отсутствии тамошний garde champêtre [вроде нашего сотского] приставал к хозяевам ее квартиры с требованием [показать] permis de sejour [вид на жительство], которого у Веры Ива-

[1]) Небольшой поселок выше Божи, над Клараном, где жили весной мы с В. И. Засулич.

новны не было, и грозил оштрафовать их, чем их очень напугал.

Между тем, Мария Николаевна посылала письмо за письмом, спрашивая, когда я, наконец, соберусь в дорогу. Ввиду отсутствия надежного адреса для отыскивания Веры Николаевны и предполагая его получить от Марии Николаевны, мы с Тихомировым решили, что лучше мне предварительно с'ездить к ней в Париж; к тому же я желал, если это окажется удобным, лично свидеться с таинственным посредником, чтобы вынести непосредственное впечатление о нем и о предлагаемом им деле.

Приехав в Париж, — кажется, в первых числах сентября (1882 г.),—я немедленно отправился к Марии Николавне, затем побывал у Петра Лавровича: оба они были в восторге от хода переговоров с «посредником», оба считали это дело вполне серьезным и важным. В дополнение к изложенному мне Тихомировым, они сообщили мне еще некоторые подробности, из которых явствовало, что разные Воронцовы-Дашковы и Шуваловы настолько заинтересованы в этом деле, что хоть сейчас готовы внести обещанную сумму и пр. Мое намерение лично повидаться с приезжим господином она и Петр Лаврович находили неудобным ввиду предстоявшего моего от'езда в Россию, так как этот господин мог догадаться, что именно я отправляюсь к Исп. К-ту, а затем, быть может, случайно где-нибудь в России мог бы встретить меня. Относительно адресов положение нисколько не улучшилось, так как Марья Николаевна, кроме своих родственников, живших в Орле и не имевших связи с революционерами, не могла придумать никаких других более надежных и непосредственных путей. Все же я собирался ехать разыскивать Веру Николаевну, хотя и очень окольными путями, полагаясь на заявления Марьи Николаевны и Петра Лавровича, что намечавшееся дело заслуживает требовавшегося для его осуществления огромного риска.

Сколь большое значение придавал Петр Лаврович этому предложению, можно было отчасти судить уж по тому, что, как он сам мне говорил вполне серьезно, он предлагал себя в качестве делегата к Вере Николаевне и к другим; но, конечно, Марья Николаевна и Тихомиров отклонили его от этого. Он очень воодушевлялся и прямо ликовал,

говоря о том моменте, когда освободят Чернышевского и царь дарует конституцию. В случае, если последней не будет, он до того был уверен в получении нами миллиона, что уже набросал на бумаге подробный проект, как распределить эти средства, а также детальный план будущих литературных изданий. Когда он читал мне эти свои произведения, я не мог удержаться от громкого смеха, чем несколько задел старика: в ответ на его вопрос, почему я смеюсь, я сказал ему, что это совершенно напоминает мне дележку шкуры еще бегающего в лесу медведя. Но легковерный старик, несколько смутившись, возразил:

— Не мешает, знаете, заранее обо всем сговориться и точно определить, а то вот мы с Марьей Николаевной теперь уже спорим и никак не можем согласиться насчет распределения этих денег, — что же будет, когда в наших руках очутится вдруг такая большая сумма?

Пока, таким образом, он с Марьей Николаевной занимался сборами жарить журавля, еще летавшего на просторе, мне было очень жалко для моей поездки очистить кассу заграничного Красного Креста, которая, быть может, никогда не будет пополнена. Поэтому мне вскоре пришел в голову план, лучше получить предварительную синицу в руки. «Если, — рассуждал я, — эти высокопоставленные лица действительно готовы жертвовать громадные суммы на это дело, то почему же не получить с них небольшие средства на расходы по поездке, чтобы не истрачивать на это последние гроши, к тому же из сборов Красного Креста?»

Я, поэтому, посоветовал Петру Лавровичу, который, главным образом, вел переговоры с «таинственным незнакомцем», заявить последнему, что, прежде чем обращаться к Исп. К-ту с изложением условий переговоров насчет этого дела, необходимо сговориться между собой всем заграничным, живущим в разных странах Зап. Европы, членам партии «Нар. Воли»; для этого нужно, мол, устроить предварительный с'езд, на что потребуется несколько тысяч рублей, которых мы вовсе не желаем издерживать, не зная наверное, чем кончатся переговоры с этими высокопоставленными лицами; поэтому Петр Лаврович предлагает этому посреднику переводом по телеграфу через банк потребовать от этих лиц нужную нам сумму на предварительные расходы, если он

сам не располагает ею или не может самостоятельно решиться вручить ее нам немедленно.

Петр Лаврович и Марья Николаевна вполне одобрили мой план и при ближайшем свидании с посредником Лавров сообщил ему об этом, а тот, в свою очередь, вполне согласился с нашими доводами и обещал немедленно телеграфировать об этом в Питер, заранее высказывая уверенность, что там согласятся на вручение им Лаврову требуемой нами сравнительно ничтожной суммы, — кажется, в две-три тысячи рублей или франков, — когда они обещали миллион.

Предлагая этот план, я, кроме нежелания тратить наши деньги на мою поездку, также видел в нем некоторый довод для более твердого убеждения себя, что дело это, действительно, серьезное. Если нам доставят эту сумму на предварительные издержки, то я решил поехать в Россию, если нет, тогда будет очевидно, что дело это пустое: я не буду рисковать своей свободой и не растрачу последних средств Красного Креста.

Между тем, срок, назначенный посредником для получения из России требуемой нами суммы, давно истек, а деньги все не приходили. Меня начало разбирать сомнение относительно серьезности всего дела, но Петр Лаврович и Марья Николаевна продолжали твердо верить, что деньги не сегодня-завтра будут, так как посредник показал Лаврову какую-то телеграмму, из которой явствовало, что задержка в высылке денег вполне естественная; поэтому он каждый раз назначал новый срок, говоря, что теперь уже наверное их получит. Мой от'езд откладывался с одного числа на другое. Я все более и более склонялся к мысли, что это важное дело не более как какая-нибудь новая хитрость Судейкина, чтобы изловить террористов, но когда я заикался об этом Марье Николаевне и Петру Лавровичу, они чуть не выходили из себя от такого предположения, так как, повторяю, были глубоко уверены, что это, действительно, дело высокопоставленных лиц, «придворной партии».

В этих ожиданиях прошли недели две: я стал окончательно терять терпение. И вот, однажды, в полдень, после свидания с посредником, П. Л. с Мар. Ник., будучи у меня на квартире, продолжали уверять меня, что на-днях уже несомненно получатся деньги; я же утверждал противное и выражал желание вернуться в Женеву, где меня ждали некоторые дела; к тому же мне надоело при неопределенном ожидании жить в Париже. Но Петр Лавр. и Марья Ник. настоятельно уговаривали меня подождать еще несколько дней; в конце концов, я, скрепя сердце, согласился. Перед уходом Марья Николаевна пригласила меня и Петра Лавровича прийти к ней вечером на «чашку чая», чтобы сообща провести несколько часов. Я обещал; но лишь только они удалились, как меня снова разобрало сомнение: я видел, что только напрасно теряю время в тщетных ожиданиях. Взглянув на расписание поездов и на часы, мне вдруг пришла мысль немедленно уложить вещи и, если успею попасть к отходу поезда, так как оставалось немного минут, то уеду, если же нет, — буду ждать до назначенного срока.

Наскоро собрав вещи и расплатившись в гостинице, я, торопя извозчика, летел на вокзал, и не прошло $^3/_4$ часа, со времени ухода от меня Петра Лавровича и Марьи Николаевны, как я уже мчался в поезде, увозившем меня в Женеву. Только в пути я написал Лаврову и Ошаниной о том, как произошел мой внезапный от'езд. Потом я узнал, как в условленный вечер Марья Николаевна и Петр Лаврович долго ожидали моего прихода, недоумевая, почему я не являюсь; а, узнав на следующий день из моего письма о моем от'езде, они были очень недовольны.

По возвращении в Женеву, я, конечно, со всеми деталями передал Тихомирову и Вере Ивановне о всем узнанном мною по поводу этого «серьезного и важного предприятия». На основании моих сообщений и они также перестали в него верить. Но Марья Николаевна с Петром Лавровичем время от времени еще продолжали в своих письмах упоминать о переговорах с посредником и о причинах проволочек в доставлении им в сущности ничтожной суммы. Наконец и они замолкли, после того, как сообщили, что «посредник», при последнем свидании с Петром Лавровичем, показал ему какую-то телеграмму, в которой его вызывали для переговоров по этому же делу в Россию. Несмотря на обещания написать из России, он, однако, не подавал о себе вестей.

Более никто, конечно, уже не заикался о моей поездке в Россию; наоборот, все были довольны, что, надумав план получения от посредника небольшой суммы на предвари-

тельные расходы, я, таким образом, как бы изобличил его; поэтому не поехал в Россию и не попался в цепкие лапы Судейкина; не говорю уже о том, что, благодаря моей выдумке, не было истрачены собранные по пфеннигам и сантимам у европейских рабочих средства загран. Красного Креста.

Чтобы закончить здесь относительно этой истории, в которой, как я тогда предполагал, главным действующим лицом был начальник охраны Судейкин, сообщу еще, что несколько месяцев спустя эта история опять выплыла на сцену, но уже не из-за границы, а из России. При этом в нее втянуты были солидные литераторы (Михайловский, Николадзе) так же, как и Петр Лаврович с Марией Николаевной, уверовавшие в серьезность этой затеи. Михайловский по этому делу поехал в Харьков, чтобы свидеться с Верой Николаевной и убедить ее принять предложение «высокопоставленных лиц». Фигнер ухватилась за этот план и послала от себя делегатом к Тигричу и Марье Николаевне Неонилу Салову; почти одновременно приехал в Женеву также Николадзе. Но, как и следовало ожидать, все это кончилось пуфом, хотя Марья Николаевна, Лавров, Спандони и другие легковерные до последних дней своих были убеждены, что вся эта затея была предпринята действительно высокопоставленными особами, но, мол, предательство Дегаева или что-нибудь другое помешало довести переговоры до конца. Конечно, неприятно было сознавать, что они так легко поддались на удочку Судейкина; к тому же куда заманчивее воображать, что вот как в высших сферах смотрели на силу и значение Исп. К-та.

* * *

Этим в моих «Карийских тетрадях» исчерпывается история переговоров знаменитого Исп. К-та. Впоследствии, как известно, оказалось, что затеяла их так называемая «Священная дружина». Эта черносотенная организация, в которую входили многие, начиная со шпиков и кончая гр. Шуваловым, была потом подробно описана одним из ее участников, ген. Смильским [1]. Таким образом я был не далек от истины, когда предположил, что переговоры были затеяны Судейкиным.

[1] См. «Гол. Мин.», 1916 г., №№ 1 — 6.

М. РЫЖАНСКАЯ

ПЕРВЫЙ РЕФЕРАТ Г. В. ПЛЕХАНОВА В ЦЮРИХЕ

Скажу сперва несколько слов о себе и вообще о тогдашней молодежи как о слушателях названного реферата.

Я кончала гимназию во Владикавказе, когда совершилось событие 1 марта 1881 г. Учащихся охватила какая-то непонятная радость, что какие-то недосягаемые герои одержали победу. Дело в том, что политикой мы вовсе не занимались, но участь Желябова, Перовской, Кибальчича, Геси Гельфман трогала нас до глубины души, и мы с жадностью стали читать в газетах об их процессе. Вообще же мы газет не читали: в нашей глухой провинции учащиеся были очень далеки от политики.

Наши «тайные кружки» распались, да в них политикой вовсе не занимались, а изучали литературу, разбирали «Отцов и детей» Тургенева, спорили об Инсарове, читали наших критиков: Белинского, Добролюбова, Писарева, — что, между прочим, нам было строго запрещено. Собираться группами также не позволялось. Ученицы 7 и 8 классов тайком читали Дрепера, Бокля, Спенсера, Милля.

На единственном в году вечере-бале, устраивавшемся директором реального училища, мы, ученицы старших классов, беседовали с кавалерами-гимназистами о высоких материях, так как других случаев не имели для встреч с ними: нам строго воспрещалось гулять по бульвару с реалистами.

Одну ученицу исключили из 4-го класса гимназии, потому что она сказала, что Иисус Христос появился на свет, как и все люди. Впоследствии ее выслали из Петербурга

тотчас же по приезде, потому что по наведенным справкам из Владикавказа она значилась «неблагонадежной».

Такова была при министре народного просвещения Делянове обстановка средней школы во Владикавказе, да и во всех других городах обширной царской вотчины.

Неудивительно, что многие из нас стремились, по окончании гимназии, уехать за границу для продолжения образования. То же сделала и я.

В 1883 г. я поступила в Цюрихе в университет, но прежде всего я с жадностью набросилась на чтение нелегальной литературы: хотелось знать, что творилось у нас в России, чего нельзя было узнать, живя там.

Помню, я была очень польщена, когда меня, в числе других студентов и студенток, кто-то пригласил к П. Б. Аксельроду.

О чем говорил Павел Борисович, не помню, но, без сомнения, на политическую тему, потому что он рекомендовал нам, что читать, каким образом знакомиться с происходящим революционным движением и социалистическими теориями. Между прочим, он сообщил, что в Женеве Плеханов читает рефераты и вскоре приедет в Цюрих.

Это сообщение, помню, произвело на всех сильное впечатление: все русские с каким-то особенным восторгом говорили о Плеханове, были словно наэлектризованы под влиянием этого известия. Я, как новичек, горела нетерпением услышать уже тогда знаменитого оратора, так как до того времени еще никого не слыхала.

Наконец, наступил давно с напряженным нетерпением ожидаемый всеми день. В избранный для реферата зал собралась вся местная русская молодежь. Так как задолго до приезда Г. В. Плеханова передавали из уст в уста о чрезвычайном успехе его рефератов в Женеве, то его пришли послушать даже некоторые немецкие студенты, не знавшие русского языка.

Это было более 40 лет тому назад: в моей памяти поэтому осталось только ясное воспоминание о пережитых вследствие этого реферата чувствах, а также заключительные слова Г. В. Плеханова.

Я впервые видела мощного человека, своим взглядом и речью проникавшего глубоко в наши молодые сердца

и умы. Мы с жадностью ловили его меткие слова, ясные мысли; он приковывал нас к себе своим проникновенным взглядом. Чувствовалось, что этот человек обладает огромным умом и мощной волей. Он казался умудренным многолетним политическим и житейским опытом, а также колоссальной научной подготовкой, хотя он выглядел всего 25 — 26-летним.

Он говорил очень ясно, популярно, так что мы все понимали его, при этом то, что он излагал, было серьезно, ново и интересно. Такое же, помню, впечатление вынесли из этого реферата мои товарки, они также пережили сильнейшие чувства, получили огромное душевное наслаждение и признавались друг другу, что многое впервые им выяснилось, многое поняли они.

Всем нам, молодежи, этот замечательный оратор показался изумительным мыслителем, умеющим в короткое время передать слушателям свои взгляды в такой форме, что они легко проникали в наш ум; приводимые им доводы представлялись нам неотразимыми, поэтому и мыслить иначе, чем он, казалось совершенно невозможным.

Неотразимой была эта речь Плеханова еще потому, что она являлась первой, осветившей нам, совершенно незнакомым с русским революционным движением, его с марксистской точки зрения.

В памяти моей, как я выше упомянула, до сих пор удержались заключительные слова этой замечательной речи.

Плеханов сказал под конец приблизительно следующее:

— Вы приехали сюда учиться. Учитесь, изучайте науки по всем отраслям, которые вас интересуют, но знакомьтесь также и с политическими вопросами, для чего впервые здесь, за границей, предоставляется вам возможность; это необходимо для каждого мыслящего человека, какую бы он ни выбрал себе специальность, раз он не желает находиться в потемках и понимать происходящее вокруг него. Но, чтобы достигнуть этого понимания, необходимо относиться серьезно, а не поверхностно к социальным вопросам. Не спешите примыкать к политическим партиям и направлениям, пока не поймете сущности задач, которые они себе ставят.

Особенно ясно запечатлелся в моей памяти следующий образный его оборот:

— Не попадайте в хвост кометы, свет от которой будет от вас далеко, — сказал он: — очутившись там, вы будете мотаться из стороны в сторону, не имея путеводной нити и не ощущая никакого на себе влияния ее света.

Этот совет произвел на нас такое впечатление, как будто разумный отец или очень близкий пожилой человек наставляет дорогих ему юношей на истинный путь жизни и требует от них ясного понимания и осмысленного отношения к участию в политической жизни страны, вооружившись научными знаниями в различных областях, в особенности в политических науках.

Мне много пришлось впоследствии слышать ораторов, но никто из них не произвел на меня такого неотразимого впечатления, как Г. В. Плеханов зимой 1883 г. в Цюрихе.

К сожалению, больше мне не пришлось ни видеть, ни слышать его.

Баку, 3/V. — 1924 г.

М. ВИСКОНТИ

ЧЛЕНЫ ГРУППЫ «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА»

(воспоминания)

Дочь очень видного и богатого генерала итальянского происхождения, юная Мелитина Александровна Висконти, — ей всего было 17 лет, — оказалась одной из тех немногих русских студенток, которые не только не боялись близких сношений с нами, эмигрантами, но, наоборот, сами их искали. «Маленькая Висконти», как мы ее называли, пользовавшаяся среди нас особенной симпатией, года два спустя после приезда в Женеву в 1883 году, против воли знатных родителей, вышла замуж за эмигранта Н. Н. Лопатина, бежавшего из Верхоленска за границу. Встретившись недавно с нею в Москве, спустя много лет, я уговорил ее воспроизвести жизнь эмиграции после того, как я, будучи арестованным во Фрейбурге, был выдан русскому правительству.

Л. Д.

Воспоминания мои касаются начала и середины 80-х годов прошлого столетия, — того периода революционной деятельности, когда партия «Народной Воли», после бесчисленных арестов и казней, доживала последние дни, а «Русская Социал-демократическая партия», в лице членов группы «Освобождение Труда», основанной и вдохновляемой Г. В. Плехановым, Л. Г. Дейчем, В. И. Засулич и П. Б. Аксельродом, только что появилась. Не буду говорить о политической жизни, о развитии и деятельности этой группы: сама я ни к какой партии не принадлежала,

а лишь училась в то время в Женеве. Я передам только свои личные воспоминания, расскажу о своих встречах с теми незабвенными светлыми лицами, с которыми судьба меня столкнула в ранней моей юности.

Русское общество того времени, в лице своих лучших, наиболее культурных представителей, относилось с большой симпатией и сочувствием к революционерам и многого ждало от их деятельности. Неудивительно поэтому, что впечатлительная молодежь чуть не боготворила особенно видных революционеров и считала за честь познакомиться с кем-либо из них.

Я не составляла исключения из этой категории студенток Женевского университета, но, благодаря отчасти тому, что принадлежала к аристократической семье и жила в другой среде, мне это долго не удавалось. Наконец, судьба мне поблагоприятствовала: отец мой, лечившийся за границей, уехал в Петербург, я осталась одна. Конечно, я поспешила использовать свою свободу и начала усердно посещать собрания, рефераты, лекции, устраивавшиеся эмигрантами.

Сначала я никак не могла разобраться не только в теориях, но и во взаимоотношениях новых для меня людей. Я поражалась, наблюдая, как после горячих схваток по поводу принципиальных расхождений, споров, доходивших до обмена резкостями, те же люди мирно встречались и охотно помогали друг другу не только в беде, но даже при малейших затруднениях.

Жили все крайне бедно, почти впроголодь, но никогда не отказывали друг другу, если у кого заводился лишний франк, делились последним. Многие эмигранты собирались ежедневно в столовой известной в русской колонии М-м Грессо. Это была предобрейшая француженка, вдова коммунара, которая по целым месяцам, а то и годам, терпеливо ждала, никогда не торопя задолжавших ей за обеды завсегдатаев, даже навещала тех из них, которые заболевали. Прислуживала за обедом ее дочь, редкая красавица и общая любимица, мадемуазель Жюли.

После обеда некоторые оставались в этом бедном кафе до ужина за чтением газет, около топившейся печки, так как дома иному не на что было купить угля.

Общим местом собраний служила также своя библиотека, где добровольцы дежурили по-очереди, но читальня эта не могла похвалиться большим порядком: периодически ее старались привести в надлежащий вид, но случалось, что нечем было даже заплатить за помещение, не говоря уже про освещение, отопление, а тем более — пополнение ее новыми сочинениями.

Кроме этой общественной, была еще в Женеве частная библиотека и вместе книжный магазин старого эмигранта Элпидина, ставшего швейцарским гражданином и хотя отошедшего совсем от эмиграции, но все же преданного делу революции, немного маньяка, видевшего чуть ли не в каждом приезжем шпиона русского правительства [1]).

Несмотря на тоскливую, необеспеченную жизнь, — многие буквально не знали, как они перебьются на следующий день, — на оторванность от родины и отсутствие какой-либо связи, общения с местной средой, — молодость все же брала свое: случались дни, когда все беззаветно отдавались развлечениям и веселью; так происходило под новый год, который справляли дважды: второй раз — для общения с тогдашним новым годом в России по старому стилю.

На одной из таких именно вечеринок мне, наконец, удалось увидать и познакомиться с самыми заметными лицами эмиграции.

Я давно мечтала о встрече с Верой Ивановной Засулич и с первого же знакомства была ею очарована: ожидая увидеть суровую, недоступную героиню, я, наоборот, нашла чрезвычайно скромную, ужасно простую, ласковую женщину с чудными добрыми глазами и приветливой улыбкой.

Излишне повторять, что уже многими и неоднократно сообщалось об изумительной застенчивости Веры Ивановны об ее нежелании обращать на себя внимание, хотя как раз в ней было что-то оригинальное, исключительно ей свойственное и в манере держаться, и одеваться (всегда в высшей степени просто), и говорить.

---

[1]) Как мне передавал Г. В. Плеханов, впоследствии Элпидин сам стал тайным полицейским агентом: он выдавал русских эмигрантов, в том числе меня и Г. В. *Л. Д.*

Я начала с того, что горячо, по-институтски, расцеловала ее, и это сразу установило между нами теплые, как бы родственные отношения. Она обещала познакомить меня с Плехановым, Л. Г. Дейчем (Евгением, как его тогда для конспиративности называли) и со многими другими. Таким образом я ближе чем с кем-либо из эмиграции сошлась с членами группы «Освобождение Труда» и потому в этих кратких заметках хочу восстановить некоторые эпизоды из жизни именно этого кружка.

В это время группе «Освобождение Труда» впервые удалось выпустить ряд брошюр Г. В. Плеханова и переводных Маркса и Энгельса. Это новое предприятие связано было с большими лишениями для членов кружка, так как не только свободными денежными средствами, но и необходимыми на существование они совсем не обладали и отдавали на издания буквально последние гроши, не доедая и отказывая себе во всем самом необходимом.

Однажды они составили транспорт книг и решили переправить его в Россию. Задачу эту взял на себя Л. Г. Дейч. Делалось это, конечно, вполне конспиративно; поэтому лица, непосвященные в планы новой группы, ничего об этом в тот момент не знали.

Но как-то раз, придя обедать в нашу столовую, я заметила на некоторых лицах тревогу или смущение. Особенно угнетенный вид имел завсегдатай кафе Грессо Иван Бохановский, — «казак», как его называли, — приятель Льва Григорьевича, бежавший вместе с ним из киевской тюрьмы в 1878 году и вместе же эмигрировавший после этого за границу. Однако никто из присутствовавших не сообщал, по конспиративным соображениям, какая стряслась беда, — боялись оглашать, в чем дело, а беда была большая: поехавший с первым транспортом изданий группы «Освобождение Труда» Л. Г. Дейч был арестован в Германии недалеко от швейцарской границы, в городе Фрейбурге (герцогства Баденского).

Это был ужасный удар для молодой социал-демократической группы, да и вообще для русской революции.

Едва ли нашлось в русской колонии много лиц, которые не были бы до глубины души огорчены и потрясены этим происшествием. Кроме утраты для партии, большинство жалело Евгения как человека. Для друзей же его, членов группы «Освобождение Труда», его арест являлся незаменимой утратой.

Жизнь эмиграции того времени была очень тяжелая: полная отрезанность от родины, гнетущая нужда, бесцельность и беспросветность существования, так как наступившая с воцарением Александра III глубокая реакция в России душила все начинания.

И в это-то безвременье возникший новый небольшой кружок, сразу открывший огромные горизонты, — группа, из недр которой впоследствии выросла русская социал-демократическая партия, — теряет одного из своих вдохновителей и руководителей, очень ценного работника!

Предприняты были энергичные шаги, чтобы установить сношения с Фрейбургской тюрьмой, так как выяснилось, что немецкие власти, арестовавшие Евгения по случайному стечению обстоятельств, только подозревали, что им в руки попал важный политический преступник, но кто именно, они не знали.

Благодаря деятельному участию профессора Фрейбургского университета, историка русского революционного движения, А. Туна, дело начало-было уже принимать благоприятный оборот, и явилась надежда на возможность легального освобождения Евгения, как вдруг все изменилось.

Вследствие розысков русских агентов за границей и начавшихся сношений между германской и русской тайными полициями, властям удалось установить, что узник их не мирный студент Булыгин, за которого он себя выдавал, а известный революционер Дейч. Это затем подтвердил специально присланный из России товарищ прокурора Петербургской судебной палаты Богданович (впоследствии убитый уфимский губернатор).

Судьба Льва Григорьевича была решена ввиду настойчивого требования самого царя. Баденское правительство выдало его России с условием, чтобы его судили не военным судом и не как политического преступника, а общегражданским, за покушение на убийство предателя Гориновича, совершенное в 1876 году.

Арест этот и вся обстановка выдачи подробно изложены самим Л. Г. Дейчем в книге его «16 лет в Сибири». Здесь

же я отмечаю лишь то настроение, которое явилось тогда у его товарищей.

Вскоре после увоза Л. Г. в Россию сделалось известным, что его заключили в Петропавловскую крепость. Случилось так, что я должна была поехать в Петербург. Узнав об этом, Вера Ивановна, давнишний близкий друг Л. Г-ча, поручила мне обратиться к присяжному поверенному Александрову, знаменитому защитнику по ее процессу, блестящая речь которого открыла глаза русскому обществу и всему цивилизованному миру на творившийся в наших тюрьмах произвол. Как известно, оправданию мстительницы за поруганную честь политических не мало способствовало ораторское искусство этого защитника.

Я охотно приняла предложение Веры Ивановны и по приезде в Петербург передала Александрову ее письмо. Прочитав рекомендательную записку знаменитой клиентки, доставившей ему всемирную известность, Александров выразил готовность быть защитником Л. Г-ча, но для этого требовалось, чтобы последний сам заявил о своем на это желании.

Но обстоятельства сложились крайне неблагоприятно: Л. Г. был перевезен в Одессу, чтобы быть судимым по месту совершенного преступления, и, ввиду принятых властями мер охраны, невозможно было снестись с ним, чтобы уведомить о желании его друзей предоставить защиту Александрову.

Лишенный поэтому возможности по собственной инициативе отправиться в Одессу, Александров, однако, принял горячее участие в судьбе Л. Г.: он снабдил меня разными рекомендациями, которые я отвезла в Москву сестре Веры Ивановны — Александре Ивановне Успенской. Последняя решилась лично отправиться в Одессу, чтобы связаться с Л. Г.; я же должна была вернуться за границу.

Но Александре Ивановне, несмотря на все ее старания, не удалось связаться с Л. Гр.: она также вернулась обратно ни с чем. Ничего не подозревавший об этих шагах Л. Г. отказался от назначенного ему военного защитника. Суд, как известно, вынес ему наказание — 13 лет и 4 месяца каторжных работ за покушение, совершенное в период его несовершеннолетия, т. е. строже, чем Нечаева, также выданного, но осужденного за убийство при совершеннолетии всего на 20 лет.

Очень тяжело отозвалось на состоянии его близких случившееся с Л. Гр. несчастье, в особенности на Вере Ивановне: она стала неузнаваемой. Надолго исчез ее заразительный смех и присущий ей добродушный юмор. Как известно, и раньше на нее находила полосами тяжелая хандра, — она тогда вся замыкалась в себе, всех избегала, видимо, предавалась самым мрачным мыслям. Но после ареста Л. Г. такое настроение овладело ею надолго, так что близкие начали опасаться, чтобы она не покончила с собой, подобно тому, как год перед тем, также под влиянием глубокой тоски, лишила себя жизни в Женеве одна из лучших и наиболее выдающихся русских революционерок — Софья Бардина.

Помню, однажды Вера Ивановна не на шутку перетревожила всех нас. На одной из окраин Женевы, за мостом пенящейся р. Арвы, несущей свой холодный и мутный поток с высот Монблана, в мало тогда населенной части города, помещалось много русских. Плехановы жили во вновь отстроенном, но неблагоустроенном доме; там же жила и я; а Вера Ивановна снимала комнату невдалеке оттуда, в небольшом доме, крохотный садик которого спускался к самому берегу шумной Арвы.

Направляясь в город за покупками, я привозила к ней в колясочке своего маленького ребенка — ее крестницу (она очень любила детей) — и всегда заставала ее задумчиво сидящей на камне на берегу реки.

Однажды, в чудный летний вечер, большая компания русской молодежи из любителей горных прогулок отправилась к подножью горы «Большой Салев», расположенной вблизи Женевы. Были с нами также Плехановы и Вера Ивановна. По обыкновению затянули русские песни, к ужасу чопорных швейцарских буржуа, всегда косо смотревших на русскую молодежь, бегали взапуски и, вообще, отдались непосредственному веселью. Вдруг кто-то заметил, что нигде не видно Веры Ивановны: на общий наш зов она не откликалась. Легко представить себе охватившую нас тревогу. Тотчас же, разбившись на группы, мы отправились искать ее во всех направлениях. Устремились к ней домой, но и

там ее не оказалось. Измученные, встревоженные, поздно вечером вернулись мы домой; некоторые остались дежурить на улице у ее дома. Лишь с рассветом вернулась она, пробродив, таким образом, всю ночь в горах. Узнав о вызванных ее исчезновением тревогах и предпринятых поисках, она выразила недовольство такой над собой опекой.

Не говоря уже о том, что жизнь на окраинах города была дешевле, сюда к тому же привлекали многих из нас чудные окрестности, прелесть природы, очарование которой смягчало гнетущее чувство тоски и беспросветности существования. Тогда в этих предместьях чрезвычайно культурной Женевы не было даже водопровода. Отмечаю это потому, что тяжело вспомнить, как слабый здоровьем Георгий Валентинович, покой и силы которого следовало беречь, таскал на третий этаж ведра с водой, правда, по очереди с Николаем Лопатиным, жившим на той же площадке; при этом, помню, он неистово звенел железом и по неопытности расплескивал воду из тяжелых ведер.

Вот на что приходилось тратить свои слабые физические силы родоначальнику научного социализма в России, страдавшему наследственной болезнью легких! [1])

Г. В. вел очень замкнутую жизнь. Кроме литературной работы для заработка, он дни и ночи посвящал усвоению и разработке разных отраслей знаний.

Однажды кто-то из товарищей застал его за учебником латинского языка. На выраженное им удивление, Плеханов ответил, что, получив среднее образование в военной школе, он не знаком с классицизмом; между тем часто замечает необходимость прибегать к первоисточникам, чтобы понять некоторые ссылки и цитаты из древних сочинений.

Одно время он также посещал некоторые специальные курсы в Женевском университете. Там ему приходилось встречаться с русской учащейся молодежью, среди которой были кавказцы, болгары и др. Эти слушатели обратились к нему с просьбой читать им лекции по политической экономии и социализму, на что Георгий Валентинович охотно

[1]) А теперь правдивый г-н Поссе в своих рефератах сообщает неосведомленным слушателям, будто Плеханов, находясь в эмиграции, обладал виллой и ел на серебряной утвари. *Л. Д.*

согласился. По несколько раз в неделю он стал регулярно приходить в условленное место, где знакомил собиравшуюся молодежь с учением Маркса, излагая и раз'ясняя «Капитал».

Слушатели с большим интересом и увлечением относились к этим лекциям и усердно их посещали. Многие из них были совершенно неподготовлены, и ему приходилось посвящать немало времени и терпения, чтобы они могли усвоить излагаемый им предмет. Помню сообщение Г. В., что именно ему служило критерием, поняли ли слушатели то или другое излагаемое им трудное место. В числе слушателей был кавказец, по фамилии, кажется, Азис-Хан: «если этот юноша смотрит упорно, не реагируя на сказанное,— это плохой признак, — говорил Г. В., — если же он улыбается и кивает головой, — значит вопрос ему ясен» [1]).

Весной, перед от'ездом на родину, эта группа молодежи, сняв залу в известном в Женеве кафе Ландольта, пригласила своего учителя, которому устроила там прощальный вечер. Бывшие его слушатели сердечно приветствовали и горячо благодарили его, говорили, что никогда не забудут его самого и тех высоких истин, которые они узнали от него. Они также обещали итти по указанному им пути освобождения трудящихся масс. Это было в 1885 году. Таким образом уже в половине 80-х г.г. Плеханов, через учившихся в Швейцарии русских, возвращавшихся затем в родные места обширной России, закладывал основание русской марксистской партии [2]).

Как я уже упоминала, очень демократическое крошечное кафе Грессо служило как бы клубом для русской колонии, где устраивались всевозможные собрания. По просьбе русских студентов, наиболее известные эмигранты прочитали в другом, бóльшем, ресторане ряд лекций, в которых зна-

[1]) Между прочим, этот же студент старался доказать Г. В., что последний одного с ним племени: «Вы Пле-хан, а я Азис-хан», — говорил он.

[2]) Из этого, между прочим, явствует, насколько неправы те мемуаристы и исследователи развития социал-демократизма в середине 80-х г.г., которые стараются доказать, будто идеи Маркса распространялись тогда в разных местах России совершенно независимо от проповеди группы «Освобожд. Тр.», которая, мол, не проникала из-за границы... *Л. Д.*

комили нас, молодежь, с русским революционным движением, с его программами и проч. Несмотря на то, что эмиграция того времени была богата знающими, выдающимися людьми, другого лектора, равного Плеханову по эрудиции и красноречию, не было. Читал он о зародившемся в Петербурге Северно-Русском Рабочем Союзе, о первых стачках на Хлопчато-бумажной мануфактуре и на других заводах; он также знакомил нас с организацией «Земля и Воля» и пр. [1]).

Из горячих прений, которые, естественно, возникали между представителями различных фракций, Г. В. всегда выходил победителем. В этих случаях особенно ярко выступало его изумительно блестящее ораторское дарование и необыкновенная находчивость. Особенно в полемике не было ему равного. Всякое противоречие как бы зажигало его: он засыпал противника градом таких остроумных возражений, у него в запасе всегда находилось такое меткое словечко, насмешливое сравнение и едкая ирония, он обнаруживал при этом такое глубокое, разностороннее знание данного предмета и столь сильный ум, что нередко этого не мог не признать даже противник. Поэтому победа всегда была на его стороне. Несмотря на язвительность Г. В. в спорах, многие отдавали ему должное, глубоко уважали, а некоторые и любили его.

Среди эмигрантов, проживавших тогда в Женеве, кроме членов группы «Освобождение Труда», находились еще такие выдающиеся люди, как Кропоткин, Драгоманов, Мечников и Кравчинский (Степняк); все они были значительно старше Георгия Валентиновича. Тем не менее, он во многих отношениях уже тогда превосходил каждого из них: чувствовалось, что это человек исключительных дарований, которому суждено сыграть крупную роль, создать эпоху в русском социальном движении и в русской науке.

Никакой прислуги у Плехановых, разумеется, не было, и вся черная работа исполнялась ими самими. Между тем, не говоря уже о Георгии Валентиновиче, все дни и ночи просиживавшем за своим рабочим столом и закладывавшем идейный фундамент социал-демократии в России, также

[1]) Впоследствии он создал из этих лекций свою замечательную брошюру — «Русский рабочий в революционном движении». *Л. Д.*

Розалии Марковне приходилось делить свои силы между повседневной мелкой домашней работой, воспитанием детей и занятиями в университете. Она изучала медицину, после чего сделалась прекрасным врачем сначала в Женеве, а затем, как известно, в Сан-Ремо (в Италии).

С удовольствием вспоминаю, как, желая облегчить ей ее непосильные хлопоты по дому, я ежедневно брала и ее славных двух девочек гулять, когда надолго уходила за город со своим ребенком.

Уныло, но и без больших потрясений, кроме описанного несчастья, случившегося с Л. Г. Дейчем, текла жизнь нашей колонии в Женеве за тот период, который я там оставалась (до конца 80-х г.г.).

* * *

Прошло много, много лет. Из упомянутых в этом наброске лиц, за исключением Льва Григорьевича и Розалии Марковны, остальных уже нет в живых: безжалостная смерть унесла в преждевременную могилу лучших сынов России.

После большого перерыва я встретила Л. Г. Дейча сперва во время первой революции в декабре 1905 года, в Петрограде, затем снова, после 18 лет, зимой 1923 г. в Москве. Собираясь повидаться с ним, я предполагала найти человека обессиленного, утомленного продолжительной тревожной жизнью по тюрьмам и ссылкам и бесконечным скитанием по белому свету. Но, к моему изумлению и радости, я нашла почти прежнего Евгения, только побелевшего.

Ц. С. ГУРЕВИЧ-МАРТЫНОВСКАЯ

ЗНАКОМСТВО С Г. В. ПЛЕХАНОВЫМ И В. И. ЗАСУЛИЧ

Весной 1886 года кружок Благоева, к которому я примыкала, сообщил в Женеву группе «Освобожд. Труда», что я приеду к ним «на выучку», при этом просил оказать мне содействие в выработке научного мировоззрения. Моя поездка несколько затянулась по полицейским условиям, и я приехала в Женеву лишь осенью того года.

Остановившись в гостинице, я пошла в русскую библиотеку, чтобы узнать адрес В. И. Засулич. Но ни библиотекарь, ни члены русской колонии, которых я там застала, не могли дать мне ее адреса, а указали местопребывание Георгия Валентиновича, к которому я тотчас же и отправилась.

С некоторым волнением подходила я к находившемуся на окраине города дому, на втором этаже которого жил Плеханов, занимая маленькую квартиру из двух комнат и кухни. Георгий Вал. встретил меня очень ласково, познакомил с женой, Розалией Марковной, и двумя маленькими дочурками 5 и 4 лет, очень плохо говорившими по-русски. Увидев на моем лице выражение удивления, Г. В. об'яснил, что дети посещают детский сад и по-русски еще не учатся. Г. В. сказал, что они давно и с нетерпением меня поджидали и уже опасались, не случилось ли что-нибудь неладное со мною на границе. Затем, попросив меня посидеть в его комнате, он стал на кухне приводить себя в порядок, — чистить ботинки, пиджак и пр., чтобы вместе со мною пойти к В. Ив. Засулич.

Первое, что бросалось в глаза в их квартире — бедность обстановки: простые деревянные столы без скатертей, несколько стульев, железные кровати, прикрытые дешевыми одеялами, но вдоль стен в его комнате были полки с массой книг, которые я, в ожидании его прихода, стала рассматривать. Там имелись сочинения по самым разнообразным отраслям, — по естественным наукам, геологии, астрономии, по общественным вопросам, истории, философии, первобытным учреждениям и т. д., книги — на разных языках, но особенно много русских статистических сборников. Не успела я осмотреть незначительной части этих книг, как явился Г. В., и мы пошли к Вере Ивановне.

Пройдя несколько кварталов и мост через Арву, мы остановились на набережной у небольшого двухэтажного дома, в мансарде которого она и жила. Ее обстановка была еще более убогая: белый стол был завален книгами, тетрадями и массой окурков, на подоконнике стояла спиртовка с кофейником, из которого через четверть часа Вера Ивановна уже поила нас горячим черным кофе. При этом она и Г. В. с большим интересом расспрашивали меня о России, о современной молодежи, о наших занятиях с рабочими, о выпущенной кружком газете «Русский Рабочий», второй № которой вышел перед моим от'ездом из Петербурга. Наша беседа незаметно затянулась до вечера, и я попрощалась с этими бывшими мне уже давно дорогими товарищами.

Хотя имевшиеся у меня значительные пробелы в марксизме не могли не проявиться при нашем первом знакомстве, но Плеханов и Засулич, видимо, остались мною довольны: Георгий Валентинович, между прочим, потому, что, как он сказал, ему было приятно слышать чисто русскую речь, так как я урожденная москвичка, а Вере Ивановне я напомнила тип прежней студентки с нигилистическим оттенком, которого она не встречала среди местной молодежи.

В один из ближайших дней я вновь пошла к Георгию Вал., чтобы поговорить о своих занятиях для подготовки к будущей деятельности пропагандистки среди рабочих, так как мои первые шаги в этом направлении в Питере не удовлетворили меня. Идя в рабочий кружок, я заранее составляла план своей беседы по политико-экономическим вопросам. Но во время бесед, — жаловалась я Г. В-чу, — ра-

бочие задавали мне ряд вопросов из других, самых разнообразных отраслей знания, на которые я не могла давать им ясные и исчерпывающие ответы.

Выслушав меня очень внимательно, Г. В. сказал:

— Не огорчайтесь, — мы заполним все ваши пробелы, и вы вернетесь в Россию вполне подготовленной пропагандисткой.

На первый раз он снабдил меня своими книгами на французском и русском языках, помню, по истории возникновения вселенной. Когда я их вернула, он дал мне книги по геологии и — уже много спустя — о доисторическом человеке. В таких моих занятиях прошла вся зима.

В это время в семье Плехановых произошла большая тревога: обе девочки заболели тяжелой формой брюшного тифа, и родители выбивались из сил, чтобы спасти их. Розалия Марковна перестала ходить в университет, где она была уже на 4-м курсе медицинского факультета, Г. В. забросил свои занятия и все время был озабочен добыванием денег на лекарства и питание детей. Я предложила свои услуги в качестве сиделки и тут имела случай ближе узнать их обоих.

Между тем как Г. В. усиленно работал над разрешением проклятых русских вопросов, Р. М. стремилась получить диплом врача, чтобы снять с него заботы о материальном обеспечении семьи: в России Роз. Марк. была уже на 5-м курсе медицинского института, когда ей пришлось для избежания ареста скрыться, после чего она также эмигрировала за границу. В швейцарских университетах не признали ее петербургских зачетов, и ей пришлось вновь поступить чуть не на 1 курс.

Когда дети были уже вне опасности, я от усталости или чего другого сама слегла и не являлась к Плехановым в течение нескольких дней. Застав меня в постели, Г. В. очень встревожился: он думал, что я заразилась от детей тифом. Мне с трудом удалось успокоить его и отговорить от приглашения врача.

Не взирая на все житейские невзгоды, Г. В. был жизнерадостен и всегда поглощен идейными интересами. На редкость образованный, находчивый и остроумный, он являлся очаровательным собеседником. Он любил цитиро-

вать — и всегда кстати — Пушкина, Щедрина и Успенского, которых высоко ценил.

Впервые в Женеве мне пришлось слышать его публичное выступление на чествовании 1 марта в 1887 году, когда собралась вместе вся сочувствовавшая революционному движению русская колония и старые эмигранты. В числе ораторов был и Драгоманов. Выступил и Георгий Валентинович: как содержанием речи по оценке деятельности народовольцев, так и огромным ораторским талантом он произвел чрезвычайно сильное впечатление на многих, а на меня в особенности: пигмеями, помню, показались мне все остальные ораторы, по сравнению с ним.

Однажды я сказала ему, что его чересчур резко-полемический тон в устных и печатных выступлениях мешает публике об'ективно отнестись к вполне правильной постановке вопроса и что вследствие этого ряды наши очень медленно пополняются выходцами из народнической среды. На это Г. В. возразил, что те, с которыми он полемизирует, заслуживают еще более резкой критики, что Христос в своих проповедях куда сильнее нападал на своих противников, даже прямо ругал их. — «Так почему же — сказал он, — вы от меня требуете бо́льшей корректности, чем та, которую проявлял этот признаваемый святым человек?»

В то время Плехановы жили очень уединенно: кроме Веры Ивановны, я почти никого у них не встречала. Изредка лишь забегал эмигрант новейшей формации, человек случайный в революции, бонвиван [1]), к тому же крайне ограниченный, — один из тех, про которых старик Жуковский говаривал: «Какие это эмигранты: пригрозил городовой пальцем — они и бежали за границу!».

На мой вопрос, что связывает Георгия Валент. с этим Д-ч, он сказал со смехом: «У меня, знаете ли, иногда является потребность послушать явного дурака, это бывает забавно!».

---

[1]) Это был эмигрант Петров (псевдоним — Долевич), вовсе не являвшийся «крайне ограниченным». По сообщению Г. В., никто другой не действовал на него столь развлекающе, после сильных умственных напряжений, как этот бонвиван своими шутками, анекдотами и т. п.

Л. Д.

Среди старых эмигрантов распространился слух о предстоящем приезде в Швейцарию Энгельса, с которым тогда только Вера Ивановна состояла в переписке, но лично еще никто из членов группы «Освобождение Труда» не был знаком. Вот настало 1 апреля 1887 года. У меня явилось желание по этому случаю обмануть Георгия Валент. Прибежав к нему, я сказала: «Сейчас встретила немецких геноссе [1]), — они просили вам передать, что Энгельс приехал и ждет вас к себе». (В это время в Женеве проживало несколько видных немецких эмигрантов, которые должны были уехать из Германии после введения там исключительного закона против социалистов.)

Георгий Валентинович страшно заволновался: он немедленно сообщил об этом Розалии Марковне, тотчас попросил ее пришить к его порядком уже поношенной шляпе ободок, который предательски оставался на голове, когда шляпа снималась для приветствия. Затем, тщательнее обыкновенного почистив свой пиджак и рваные ботинки, Георгий Валент. предложил мне вместе с ним зайти к Вере Ивановне, чтобы и ей сообщить об этой радостной вести.

Это вовсе не входило в мой план: я могла себе позволить такую шутку с ним, который так часто потешался над другими, но никак не решилась бы прибегнуть к этому по отношению такой скромной, всегда очень серьезной и с первого взгляда казавшейся даже угрюмой Веры Ивановны. Но теперь уже нужно было довести выдумку до конца.

Когда В. Иван. узнала об этой новости, то также пришла в сильное волнение и стала торопить «Жоржа» скорее итти туда.

Георг. Валент. помчался, но когда он пробежал несколько домов, я крикнула ему с балкона: «Сегодня первое апреля!».

Лица обоих омрачились, и мне стало жалко, что я затеяла эту ребячью выходку.

* * *

Приходили месяцы, а я все продолжала заниматься по намеченной Георгием Валентиновичем программе, но к изучению политической экономии я все не приступала. В русской

[1]) Т.-е. товарищей, социал-дем.

библиотеке я прочитала всю нелегальщину, вела по поводу прочитанного беседы со своими руководителями, но это, так сказать, делалось между прочим, независимо и как бы вне программы. Терпение мое иссякло. В России последняя попытка молодых народовольцев 1 марта 1887 г. потерпела неудачу. Некоторые, привлеченные по делу Ульянова, Генералова и других, но успевшие скрыться, участники покушения на Александра III приехали в Женеву. Это были молодые активные революционеры, с которыми мне как марксистке приходилось полемизировать на собраниях молодежи, а самого-то Маркса я еще не читала. Выходило не ладно, и я возроптала, апеллируя к Вере Ивановне.

— Что же это такое, — занимаюсь под руководством Георгия Валентиновича так давно, а дошла только до Адама, ведь от него до Маркса дистанция огромного размера! Когда же я закончу свое образование?

Решили мы с ней так: под руководством Георгия Валентиновича я буду продолжать занятия в прежнем порядке, а Вера Ивановна будет мне помогать при изучении Маркса. Составили кружок из 5 человек: две студентки — Вайнтруб и Ливенсон (впоследствии арестованные и просидевшие долго в тюрьме со мною по одному делу), киевский рабочий Райчин и студент Петербургского университета Говорухин, изготовлявший вместе с Генераловым бомбы для дела 1 марта 1887 года.

Руководство В. Ив. нашим кружком было довольно оригинальное: она никогда не присутствовала при наших занятиях, а возникавшие у нас споры по тем или другим вопросам я выясняла с ней с глазу на глаз. Вследствие чрезвычайной скромности и застенчивости В. Ив. никогда не заходила ко мне, не убедившись предварительно, что у меня никого нет. Иногда квартирная хозяйка сообщала мне, что заходила г-жа Бельдинская (под этой фамилией она тогда проживала в Женеве) и, узнав, что у меня гости, не хотела меня отвлекать. Не раз она жаловалась мне: «Не могу я с молодежью якшаться — сознаю, что это нужно, но никак не могу заставить себя. На этот счет у нас Евгений был горазд (так называли члены группы «Освобождение Труда» Л. Г. Дейча, бывшего в то время на каторге): он очень легко сходился с молодежью».

Все чаще стала я заходить к Вере Ивановне для выяснения тех или иных возникавших у нас при занятиях вопросов. В это время она много занималась философией и не раз делала попытки и меня приохотить к ней. Читала она мне свою рукопись о I Интернационале, желая узнать, достаточно ли ясно осветила тот или иной вопрос, и вносила поправки, если что-либо было мне непонятно. Но наиболее приятные воспоминания оставили во мне наши с нею совместные прогулки за город.

Она передавала много эпизодов из своей жизни, а также других товарищей во время хождения в народ, и как живые вставали перед моими глазами образы этих апостолов социализма давно минувшего «героического периода» русской революции. Иногда она вспоминала свое детство и, между прочим, рассказала, что на выпускном экзамене она продекламировала стихотворение «Рыцарь на час» Некрасова, тогда еще не напечатанное, но ходившее по рукам в рукописи среди радикальной молодежи.

Кажется, редко встречалась такая женщина, в которой сочеталось столько любви к знанию и разнообразие умственных интересов с такой скромностью, застенчивостью и сердечностью, как это было у Веры Ивановны Засулич.

Однажды, во время такой прогулки, она предложила мне зайти к старому эмигранту Элпидину, в другой раз — к одной из первых народниц, к Марье Аполлосовне Тургеневой, жившей в очень бедной обстановке со своим 13-летним сыном. Также и с Георгием Валентиновичем я зашла однажды в гости к Дебогорию-Мокриевичу, который после первых же слов приветствия накинулся на немецких социал-демократов, упрекая их в излишнем патриотизме и отсутствии революционности. Георгий Валентинович только отшучивался.

Кроме названных лиц да еще наборщика своей типографии Рольника (эмигранта, бывш. аптекарского ученика, настоящая фамилия которого была Левков), Плеханов и Вера Ивановна почти ни с кем более не встречались; они жили очень уединенно. Друг с другом они видались ежедневно, иногда по нескольку раз на день забегая один к другому. Георгий Валентинович всегда сообщал Вере Ивановне о предполагаемых им работах, обсуждал с нею их детали, вырабатывал совместно планы. Вера Ивановна нежно и сильно любила своего младшего друга; глаза ее загорались радостью при всяком ярком проявлении им блестящего ума его и выдающегося таланта. А он относился к ней с глубоким уважением и чрезвычайным вниманием.

* * *

С той отрадной поры прошло почти четыре десятилетия. В последовавших затем скитаниях по России и Сибири мне довелось видеть и узнать более или менее близко много выдающихся людей, представителей 70-х и 80-х г.г.; редкие экземпляры духовной красоты проходили перед моими глазами, и все же они не могли не только изгладить из моей памяти, но и сколько-нибудь ослабить впечатление от необычайно ярких образов Г. В. Плеханова и В. Ив. Засулич.

Одесса, 14/XI — 1923 г.

Н. КУЛЯБКО-КОРЕЦКИЙ

ЭМИГРАНТЫ И НАИВНЫЙ МИРОТВОРЕЦ

(из встреч с членами группы «Осв. Тр.» в 80-х г.г.)

I.

«Стоял» 1887 год.

Это выражение не случайно употреблено мною: в России был политический штиль: казалось, что время остановилось.

Однообразные дни, сонные и вялые, не приносили новых впечатлений.

Михайловский, не без основания, советовал называть эти дни ночами: друзья — на каторге, а те из них, которые уцелели, мучительно бьются над вопросом, как разбудить эту сонную стихию, т.-е. Россию конца 80-х годов.

Без помпы, втихомолку, продолжалась расправа правительства с революционерами, неторопливо, с большим опозданием печатались правительственные сообщения о смертных приговорах и казнях: 8-го мая пять виселиц (Шевырев, Андреюшкин, Осипанов, Ульянов, Генералов [1]), а через месяц снова смертный приговор двум десяткам человек, с Г. Лопатиным во главе.

Читатель скажет: «Хорош штиль, хороши ночи!».

«Разве это отсутствие впечатлений, когда выносятся смертные приговоры?..»

Без колебания отвечаю: — «Да!».

[1] По делу о покушении 1 марта 1887 г. на Александра III. *Л. Д.*

Выносится смертный приговор; о нем когда-нибудь, через месяц, казенным языком об'явит правительственное сообщение — и больше ни строчки, ни слова, ни в радикальной, ни в реакционной прессе. Погиб человек в руках у палача, а отзвук в громадной стране совершенно такой же, как будто желтый лист упал с дерева.

Свинцовой гирей давила Россию сонная коренастая фигура Александра III.

Надо вырваться в Европу: при всех недостатках любого государственного строя все же там свобода слова и печати, завоеванные в большинстве стран на баррикадах 48 года, а, главное, там в Европе наши политические эмигранты, эти милые, дорогие мне братья, имевшие возможность на досуге, в благоприятных условиях, обсудить, а может быть, и решить наиболее важные из интересовавших меня вопросов.

Правда, милые, дорогие братья очень огорчили меня как раз в это время. Находясь в России, не было возможности основательно следить за эмигрантской печатью, а следовательно, и дать себе отчет, кто и насколько прав; по отрывочным же и случайным известиям можно было лишь заключить, что наши эмигранты, если и являются братьями, то разве на самый первобытный манер — это было нечто вроде нового издания Каина и Авеля.

Я говорил себе: как же эти умные люди не понимают, что, заушая друг друга, они работают на пользу общего врага?

Нет, надо поехать, убедить их на время позабыть обо всем, что разделяет врагов самодержавия; нужна программа минимум, которая в качестве первой ступени политического прогресса была бы приемлема для всех революционных и оппозиционных групп.

От'езду мешали «административные» причины: я был прикреплен к уездному городу с применением правил о гласном надзоре.

Медленно тянутся дни, но вот срок окончен, от'езд назначен на завтра, заграничный паспорт предварительно исходатайствован, но в тот момент, когда я протягиваю руку, чтобы получить его, исправник без всякой иронии и без

всякого злорадства, даже с некоторым смущением, говорит мне:

— За вами маленький должок — надо отбыть двухнедельный арест, к которому вы приговорены судом за самовольную отлучку еще в прошлом году.

— Хорошо, — отвечаю не без досады, — отправьте меня под арест немедленно, — пусть идет в счет и нынешний день.

Двухнедельный арест, когда чемоданы уже уложены, казался бесконечным.

За многое любил я Зап. Европу и хотелось, не спеша, использовать ее; поэтому и поездка с внешней стороны была обставлена очень оригинально: я собрался ехать на собственных лошадях.

Позже Плеханов язвил:

— Странно, почему же не на верблюдах?

Однако, познакомившись с причинами моего решения, Георгий Валентинович согласился, что затея эта, столь оригинальная, имела большие преимущества [1]).

Из Гомеля через Чернигов, Киев и Житомир я добрался до Австрии. Вот и главный город Галиции — Львов. Все идет хорошо, впечатлений много, уже начались кое-какие сношения с редакциями русинских газет.

Однако в Галиции
Так много полиции...

Да, полиция уже ходила за мною по пятам. И вот... лишение свободы, обстоятельный допрос...

— Куда вы едете?

— В Париж.

Обер-комиссар иронизирует:

— Из Гомеля в Париж на лошадях?

— Сколько денег при вас?..

— 2 тысячи рублей.

— Откуда взяли вы их?..

— Продал хуторок.

---

[1]) Тем не менее, когда, много лет спустя, я после побега из Сибири свиделся с ним, то неоднократно слыхал от него шутки и остроты по этому поводу: при соответствовавших случаях он сообщал об этом оригинальном способе езды в конце XIX ст. *Л. Д.*

Проходят долгие часы, допрос все продолжается, затем обер-комиссар об'являет, что произведет обыск на моей квартире.

Обыск, конечно, тщательный; дорожный револьвер, найденный под подушкой, не интересует комиссара, но, — проклятие, — на письменном столе лежит не совсем оконченная статья в одну из русских газет: в ней я желчно говорю об австрийской социальной и национальной политике. Комиссар кладет статью в свой портфель, а при дальнейшем обыске он забирает письма к Плеханову, Засулич, Аксельроду, Драгоманову, Дебогорию-Мокриевичу и становится окончательно мрачен.

— Я оставлю вас на свободе, — говорит он мне, — до решения дела, но вы должны отдать мне в залог все ваши деньги.

Конечно, подчиняюсь и оставляю у себя только несколько десятков гульденов на текущие расходы.

На другой день мне и моей спутнице (которая тоже интересуется заграницей и тоже любит путешествовать на лошадях) об'являют постановление наместника Галиции о нашей высылке из пределов Австрии, при чем мы обязывались лошадей или продать в 48-часовый срок, или погрузить их в вагон. Я протестую, говорю дерзости директору полиции, но, увы, не могу обратиться к защите русского консула: во-первых, русские консулы никогда никого не защищали, во-вторых, в руках австрийцев письма к эмигрантам, а русская граница всего в 100 верстах.

Лошади, экипаж, упряжь проданы; польские газеты иронизируют по моему адресу, русины выражают сочувствие, редакторы газет приезжают на вокзал проводить нас, при этом много дам и много цветов. Дружеские слова, дружеские рукопожатия... Поезд отходит.

С нами едет инспектор полиции: у него мои 2 тыс. рубл., которые будут возвращены только на германской границе. Но деньги, вырученные от продажи лошадей, у нас, на эти деньги мы ведем дорожные расходы. Инспектор услужлив почти как лакей: он покупает билеты, таскает наши чемоданы; дорогой, просматривая газеты и узнав, что в Кракове выставка, мы решаем посетить ее. На это инспектор спокойным тоном, точно он говорит о вещи совершенно без-

различной, заявляет, что это невозможно, так как в Кракове мы будем находиться в тюрьме.

Моя спутница расхохоталась: известие производило сильное впечатление не потому, что впереди тюрьма, — к таким случайностям мы давно привыкли, — курьез заключался в том, что, ничего не подозревая, мы покупали железнодорожные билеты и, так сказать, ехали в тюрьму на собственный счет.

После довольно долгого пути нас доставили на краковский вокзал, а часом позже мы под'езжали на двух экипажах к тюрьме.

Инспектор требует у меня денег для расплаты с извозчиками, — я решительно отказываю. Он настаивает, выходит из себя, но я непоколебимо отвечаю: «Везете в тюрьму, так сами и платите».

Взбешенный инспектор нервно выкрикивает начальнику караула: «Везь тых рыштантов!».

Нудные воспоминания оставляет краковская тюрьма: окна из камер выходят не во двор, а в тюремный коридор, на обед только гороховый суп, но на свой счет позволяют лакомиться. Зачем быть скупым в остроге? Мы посылаем в ресторан за обедом и в магазин за фруктами.

Но какая тоска днем, какая бессонница ночью, какие ханжеские порядки? Женская половина тюрьмы набита проститутками, осужденными за то, что они, вопреки запрещению закона, появлялись на таких-то улицах и около таких-то костелов.

Из Кракова нас скоро вывозят на германскую границу, но здесь, вручая мне деньги, новый австрийский инспектор полиции высчитывает из них все расходы, понесенные на меня государством, в том числе на командировку двух инспекторов. Я ругаюсь, требую составления протокола. Представители германской власти осуждают своего австрийского коллегу и зло смеются над ним.

Мы опять свободны. Вот культурный Берлин, вот публичные социалистические собрания, дальше — очаровательный Дрезден с музеями и картинной галлереей, а вот и провинциально-кокетливый Мюнхен.

II.

Всюду останавливаюсь по нескольку дней; наконец-то свободная Швейцария, Цюрих... Квартира Аксельрода.

Мы знакомимся, дружески разговариваем. Я страстно развиваю мою мысль о союзе эмигрантских групп, но тут же мне приходят в голову слова поэта:

На натиск пламенный
Был дан отпор суровый.

Моя мысль представляется Аксельроду совершенно нелепой: тут принципиальные расхождения идут рядом с застарелой многолетней враждой.

— Как, мы — марксисты, и будем писать в одном журнале с конституционалистами, как Добровольский и Дебогорий и даже с националистом, как Драгоманов? Да, да, поезжайте в Женеву, поговорите с Плехановым, — посмеивается Павел Борисович.

Я сразу очень полюбил этого человека, — такого искреннего, такого бескорыстного. Он вел тяжелую борьбу за существование.

В голове — философские идеи, в сердце — целый ад политических страстей, а семью надо поддерживать, взбалтывая бутылки с молоком (Аксельрод соорудил небольшое кефирное заведение) [1]).

Вот цюрихская Oberstrasse, вот и русская библиотека и гурьба нашей молодежи; быстро знакомлюсь со всеми, с некоторыми схожусь на многие десятки лет. Здесь: только что бежавший из России, замешанный в деле 1 марта 1887 г., О. М. Говорухин, с которым я потом коротал целые годы то в Париже, то в Болгарии; Дембо, вскоре разорванный бомбой в горах, и его товарищ по несчастью Дембский, польский эмигрант, пострадавший при том же взрыве; Бек, читавший молодым людям свои рефераты; С. Л. Шентис, усердная и трудолюбивая студентка, впоследствии врач в Париже; державшаяся особняком, всегда грустная и серьез-

---

[1]) Он работал в нем со своей семьей с утра до полуночи и только благодаря этому еле пропитывался. *Л. Д.*

ная О. Н. Фигнер, пред умственным взором которой вечно находились ее три осужденных сестры (две в то время были в Сибири, а третья — в Шлиссельбурге).

Все приветливы, многие интересны, но мне недосуг задерживаться в Цюрихе: спешу в Женеву и прежде всего разыскиваю Плеханова. Он выслан из Швейцарии и живет на французской территории в деревушке Морнэ. Иду к нему пешком и нахожусь во власти недоброго чувства: мне только что прочли несколько страниц из книги Плеханова: «Наши разногласия», — тон этой книги идет вразрез с моими намерениями.

Как могут примириться люди, запускающие друг в друга подобными книгами?

1887 год. Это был год смерти «Народной Воли». Покойник, оставивший по себе священную память, еще в гробу, а его отчитывают [1]) в таком тоне, который может порадовать общего врага.

Но вот я в скромной квартире Плеханова, и враждебное чувство к нему быстро тает.

Опасный, злой, беспощадный оппонент, безжалостный полемист, он держал себя джентльменом в частных отношениях; дома — это гостеприимный хозяин, деликатный, внимательный собеседник, интересный, находчивый, а главное веселый.

Я говорю ему о цели моего приезда и осуждаю полемический тон «Наших разногласий».

Плеханов отшучивается и со смехом говорит: «В России нельзя упрекать книгу за вредное направление, если она пропущена цензурой — давайте, будем применять это правило и здесь: раз корректурные оттиски пропустила Вера Ивановна, значит, в содержании не было ничего чересчур задорного».

Появившаяся в эту минуту на пороге Вера Ивановна Засулич возражает с добродушной укоризной: «Нет, нет, Жорж, — резкости находятся как раз в первых страницах, которые напечатаны без моей цензуры».

---

[1]) Это неточное выражение может вызвать неправильное предположение, будто «Наши разногласия» появились в 1887 г., между тем они вышли в 1885 г. *Л. Д.*

Мы без устали обмениваемся взглядами, фактами, впечатлениями. Я остаюсь ночевать у этих гостеприимных и незабвенных людей.

Позже, когда я близко узнал Плеханова, меня стала преследовать неотвязная мысль: этот человек, этот мыслитель, этот ученый, блестящий, талантливый, вернее — гениальный, живет в нищенской обстановке, по временам буквально не имея возможности утолить голод. Доживет ли он до того дня, когда рабочий класс России почтит в нем своего пророка, своего духовного вождя?

Люди, в десять раз менее талантливые, устраивались комфортабельно и сытно, а он случайно заблудившую к нему горсть франков тратил на печатание новых и новых сочинений, игнорируя порой самые насущные требования повседневной жизни.

Конечно, Плеханов и Засулич, Драгоманов и другие эмигранты отнеслись отрицательно к моей идее — об'единить их на общей платформе, приемлемой хотя бы лишь для данного политического момента.

Но вдруг меня выручил случай: беседуя ночи напролет то с тем, то с другим из них, я вскоре заметил, что эти люди, не встречавшиеся целыми годами, бескорыстно заблуждаясь, приписывают друг другу всевозможные небылицы, а между тем во взглядах на задачи ближайшего политического момента они сходятся.

Плеханов как-то сказал мне о Драгоманове: «Как, чтобы я стал писать с ним в одном журнале? Нет уж, увольте! Для меня Александр III более приемлем, чем этот профессор, находящийся во власти национальных предрассудков. Он не дорос до понимания прав человека»...

В тот же вечер Драгоманов говорил: «Нет, я не могу писать с этими мальчишками — чернопередельцами: знают ли они, что такое права человека?».

Прошу читателя поверить мне: именно такое странное совпадение имело место. Я живо сообразил, что не все потеряно, и предложил каждому из влиятельных эмигрантов изложить его взгляды насчет ближайших политических дезидерат.

Отказа не было: Плеханов и Засулич быстро заполнили листок бумаги, скрепили его своими подписями и почтой

отправили в Цюрих, предлагая Аксельроду сделать то же самое (четвертый член этого исторического союза, Л. Г. Дейч, находился в то время на каторге).

И Драгоманов, и Дебогорий-Мокриевич, и Добровольский также охотно исполнили мою просьбу. В то же время при помощи почты я снесся с эмигрантами, жившими в Париже и Лондоне. Успех анкеты превзошел всякие ожидания: около десятка листков лежало предо мной, и содержание их было почти совершенно тождественным. В некоторых случаях повторялись не только мысли, но и самые выражения.

Все сходились на том, что очередной задачей момента являлась борьба за политическую свободу.

Такие слова, как «свобода печати», «свобода слова», «всеобщее избирательное право», «свобода собраний», повторялись каждым из запрошенных мною лиц, — я торжествовал.

Невероятное предприятие становилось возможным. И Драгоманов и Плеханов, перечитывая все полученные ответы, с изумлением протирали глаза и убеждались, что черным по белому люди, казалось, противоположных политических оттенков, свидетельствуют о своей солидарности на почве ближайших целей и задач.

Было решено, что Дебогорий-Мокриевич, как представитель драгомановской группы, и Плеханов, представлявший группу «Освобождение Труда», вместе со мною обсудят план общего журнального предприятия.

Во время этого коротенького заседания произошло два любопытных столкновения. Разгорячившись по какому-то поводу, Дебогорий запальчиво воскликнул: «Я был революционером, когда вы, Жорж, штанов еще не носили!».

Плеханов спокойно возразил: «Но теперь, когда мы оба в панталонах, надеюсь, вы можете разговаривать со мной, как равный с равным».

Возник щекотливый вопрос, кто будет редактором в нарождавшемся журнале.

Дебогорий-Мокриевич поддерживал кандидатуру Драгоманова и пространно говорил: «Это дело ответственное. Вот на-днях прислали статью, которую мы шутя назвали «Николай чудотворец», но все же решили переделать ее, чтобы

она была похожа на «Варвару великомученицу», да забыли стереть бороду, вышла Варвара с бородой».

Плеханов недоуменно посмотрел на собеседника и выпустил одну из самых ядовитых своих стрел: «Оставаясь на почве этих иконописных примеров, — сказал он, — я напомню, как баба покупала икону «Георгия победоносца». Его обычно рисуют на коне, а продавец икон предлагал купить только изображение коня. — Где же самый святой?— допытывалась покупательница, на что продавец спокойно ответил: «Он на малое время отлучился».—Так вот, видите,— победно загремел голос Плеханова,—в том журнале, который станете редактировать вы с Драгомановым, социализм и был бы святым, который на время отлучился, да неизвестно когда и вернется».

Я употреблял все усилия, чтобы такие вспышки не довели собеседников до полного разрыва.

Вопрос о редакторе был временно снят с очереди. Дело налаживалось. Состоялось более многолюдное эмигрантское собрание, на котором будущие сотрудники обсуждали детали предстоящей журнальной работы. Помню, здесь был и И. И. Добровольский, писавший в то время в «Русских Ведомостях» (Добровольский был приговорен на каторгу по делу 193-х), была и В. И. Засулич, и О. Н. Фигнер, и еще человек семь-восемь. Вдруг Добровольский заявил:

— К чему эти разговоры, пока нет денег? Пусть на этом столе появится хотя бы тысяча франков, тогда всякий будет понимать, что начинать дело можно.

Произошла заминка, но в тот же момент я положил на стол банковый билет и сказал: «У меня нет франков, но полагаю, что тысяча рублей, лежащая здесь, имеет все преимущества перед суммой, названной вами».

Тогда был выработан план, в силу которого эмигранты должны были немедленно приступить к изданию органа, содержание которого могло бы об'единить не только почти все революционные течения, но также и оппозиционные элементы, находящиеся в России.

В этих видах, еще не дожидаясь выхода 1-го номера, меня спешно командировали в Россию подготовить почву, — об'явить всем, кому возможно, что наши политические эмигранты столковались насчет ближайших задач, что нужно

наладить перевозку журнала, поддержать его деньгами и сообщением свежего фактического материала, касающегося наиболее жгучих сторон русской жизни.

Я без промедления помчался в Россию. Виделся и говорил там со многими писателями, общественными и политическими деятелями — с Мачтетом, Эртелем, Златовратским, И. И. Петрункевичем, В. И. Покровским, каракозовским, П. Ф. Николаёвым, П. А. Бакуниным (родным братом Михаила Александровича). В Орле я даже разыскал П. Н. Зайчневского, жившего там после каторги.

Привезенные мною вести радовали всех. Бакунин с барской небрежностью сказал: «Денег на первое время понадобится тысяч 30, — они найдутся!».

Все шло на лад. Но, когда через три месяца я вернулся за границу, оказалось, что эмигранты окончательно перессорились, и уже не было никаких надежд примирить их.

Добровольский с педантичной аккуратностью вручил мне мои деньги, и, зажав их в кулак, я стоял на перепутьи с грустными думами.

Социал-демократическая литература, задорная, с резкими полемическими приемами, нравилась мне всего менее, но самих социал-демократов я любил, и, убедившись, что они не были повинны в крушении журнального предприятия, я понес деньги к Плеханову.

Таким образом в 1883 г. и был издан «Социал-Демократический Сборник».

Каждый раз, когда я вспоминаю об этих людях, предо мною встает та тяжелая материальная нужда, в обстановке которой они так мужественно жили десятки лет. Геройское поведение Засулич 24 января 1878 г. [1]), такое же поведению Плеханова 6 декабря 1876 г. [2]) знает всякий, а вот об этих годах, проведенных на чужбине, потомки будут судить только по сочинениям, оставленным упомянутыми людьми, по мыслям, по задачам, и вряд ли кто догадается, что равнодушный народ оставлял их без мате-

---

[1]) В этот день В. И. Засулич совершила покушение на ген. Трепова. *Л. Д.*

[2]) Г. В. произнес речь во время демонстрации на Казанской площади. *Л. Д.*

риальной поддержки. Обыкновеннейший обед являлся довольно редким эпизодом [у них].

Голод, холод, порванная обувь, борьба с нуждой и в то же время горячее, неуклонное служение идеям, которые, в конце концов, получили общее, или почти общее, признание.

P. S. Эта статья была уже написана, когда уважаемый Л. Г. Дейч стал выражать настойчивое желание, чтобы я пополнил ее дальнейшими подробностями, касающимися незабвенного Георгия Валентиновича. Охотно делаю это, от души жалея, что многие годы, прошедшие со времени моих встреч с Плехановым, ограниченность человеческой памяти и бесконечный ряд других впечатлений, засоряющих ее, окажутся в данном случае большой помехой.

Еще недавно, печатая мои воспоминания о встречах с Гэдом, Жоресом и Бебелем, я рассказал, как познакомился с первым из них, исполняя поручение Плеханова. Дело было в 1894 г.

Плеханов, точно Прометей, прикованный к скале, продолжал жить во французской деревушке Морнэ. Великий мыслитель, талантливый писатель, искрометный оратор, страстный политический деятель оставался в захолустной деревушке долгие, долгие годы не потому, чтобы он искал уединения, не потому также, что здоровье его требовало деревенского воздуха. Нет, это была какая-то безжалостная ссылка, на которую Плеханова обрекла вся совокупность тогдашних политических условий, все взаимоотношения тогдашней официальной Европы.

Судите сами: для Плеханова вернуться в Россию значило — очутиться в каземате; Австрия и Германия не давали убежища русскому эмигранту; Швейцария уже выслала Плеханова; броситься в Англию или Америку, значило окончательно оторваться от русских дел или, по крайней мере, очень и очень отдалиться от них.

Деревушка Морнэ во французской Савойе имела то преимущество, что, находясь в нескольких верстах от швейцарской границы, в частности от Женевы, она посещалась многочисленными эмигрантами и туристами, частью оседавшими в Женеве, частью проезжавшими через этот город.

Но порою проходили скучные, томительные дни, а может быть, и недели, когда никто не заглядывал в Морнэ, и человек, переполненный мыслями и клокотавшими в нем страстями, одиноко сидел в изгнании, ни на минуту не забывая свою пророческую формулу: «Революция в России будет как рабочая революция или ее вовсе не будет».

А русские рабочие в это время потягивались после многолетнего сна, медленно, очень медленно, просыпались, и не всегда весть об этом пробуждении своевременно доходила до морнэйского отшельника, иногда не знавшего, чем утолить голод. В общем, какая-то трагедия человеческого духа. Но горшее было впереди.

Французское правительство с министром-президентом Казимиром Перье во главе собиралось выслать Плеханова из Франции, под вымышленным предлогом, будто он анархист. В это время, в начале 1894 г., я приехал из Парижа в Женеву на несколько дней по делам и, урвав свободный вечер, отправился в Морнэ к Плеханову.

Я любил этого человека, любовался его талантами и бескорыстием, почти никогда не соглашаясь с ним в главнейших вопросах, возникавших в те времена. Может быть, эти разногласия делали моего собеседника особенно интересным, его речь искрилась, превращаясь порою в настоящий фейерверк.

Особенность этих бесед заключалась в том, что, несмотря на их дружелюбный характер, почти никогда не затрагивались личные вопросы, т.-е. обсуждались целые вороха фактов, общественных или политических, но не приходило в голову спросить, как же человек справляется с насущными потребностями, хотя было очевидно, что подчас они создают положение очень острое, может быть, даже катастрофическое.

На этот раз, однако, Плеханов стал расспрашивать, как я устроился в Париже, как идет открытая мною там для эмигрантов библиотека, а затем сообщил, что он хочет дать мне маленькое поручение, после чего рассказал, что французское правительство уже решило его высылку из пределов государства.

В то время социалистическая фракция в Палате Депутатов насчитывала около 50 человек, но это была лишь одна двенадцатая общего числа членов собрания. Во главе фракции стоял Жюль Гэд, личный друг Плеханова, и последний полагал, что, опираясь на такую энергичную фракцию, хотя бы составляющую меньшинство, Гэд сумеет без большого труда повлиять на упрямого Казимира Перье в деле, относительно, столь маленьком, как высылка русского эмигранта. Он поручал мне обстоятельно переговорить с Ж. Гэдом, на что я охотно согласился.

Затем, задумчиво, как бы мечтательно (в такой тон Плеханов впадал очень редко), он занялся географическим анализом Европы, оценивая разные государства с точки зрения их пригодности для жизни русского эмигранта вообще и своей в частности. Итоги получались печальные: одни страны выдавали, другие уже отказали Плеханову в убежище, третьи находились на отшибе, четвертые слишком далеко от России. Вдруг Плеханов как бы встряхнулся и, впадая в обычный, более свойственный ему саркастический тон, весело сказал мне: «Знаете ли, что я думаю: раз земля меня не принимает, выход один: обзавестись воздушным шаром и жить в небесном пространстве».

В одном журнале я огласил беседу с Гэдом по этому поводу и его дружелюбный, но крайне оригинальный ответ.

Запрещение швейцарского правительства, лишавшее Георгия Валентиновича права жить в Гельветической республике, проводилось без назойливого формализма: в некоторых случаях Плеханов мог ненадолго появляться в Женеве: например, твердо помню, что в январе 1888 г. мы отправились на митинг, организованный польскими эмигрантами по случаю 25-летия со времени польского восстания 1863 г.

Стояла морозная погода. Вдруг обнаружилось, что у Веры Ивановны Засулич, шедшей с нами, ботинки имеют только видимость обуви и совершенно лишены подошв, вместо которых уже давно были сплошные дыры. Плеханов решительно настоял, чтобы мы зашли на городскую квартиру, где жила его жена — Розалия Марковна с двумя дочерьми, там он добыл каким-то чудом сохранившиеся теплые сапоги и, подавая их ей, весело сказал: «Наденьте, Вера Ивановна, — не сапоги, а отцы родные».

Но вот, мы через четверть часа на польском митинге. В то время, когда нас усаживали, в качестве почетных гостей, в первом ряду, подошел Драгоманов. Он критически оглядел крайне тенденциозное убранство залы, где всякая мелочь говорила «о Польше от моря до моря», и, смешивая украинский язык с русским, сказал, наклоняясь ко мне: «Однако ции ляхи народ неисправимый: поглядите — пристроили над президиумом Архангела Михаила, це — их Киивська емблема, — значить, воны и Киев присобечивають. Удивительно, що воны не претендують на Костромскую губернию, где два ляха украли теленка, когда, кстати, Иван Сусанин спасал царя». — При этих словах Плеханова передернуло. «Ну скажите, — шепнул он мне, — можно ли с таким человеком иметь какое-нибудь дело? — Он весь напичкан национальными вопросами, национальными интригами, национальными претензиями».

Через минуту заговорили ораторы: проф. Лясковский, писатель Еж (престарелый участник восстания), молодой революционер Валицкий. Речи произносились на французском языке.

Провожаемый бурными аплодисментами, Лясковский вдруг остановился и, покрывая своим голосом треск рукоплесканий, воскликнул: «Я счастлив в глубокой уверенности, что эти знаки симпатии относятся не ко мне, а к моей несчастной родине».

Что касается до Ежа, то он вызвал большое волнение, когда старческим, дрогнувшим голосом сказал: «Люди моего поколения уже уходят в могилу, но мы верим, что наши преемники доведут до конца дело освобождения родины».

Всем ораторам отвечал швейцарский политический деятель Фази, говоривший, что нация, насчитывающая от 12 до 15 миллионов человек, не умирает (в настоящее время, после достигнутых Польшей территориальных успехов, эти цифры покажутся мизерными).

Во время речей Плеханов явно волновался. По каким-то причинам, — как мне теперь кажется, вследствие невозможности афишировать свое появление в Женеве, — он не мог выступить с речью, и его, оратора по темпераменту, это заметно нервировало. Я шопотом сказал ему: «Вы — как боевой конь, услышавший шум битвы».

* * *

Проходили годы. Рабочий класс в России стал подавать признаки жизни. Плеханов стал неузнаваем.

По словам Зиновьева, Ленин утешал своих нетерпеливых товарищей, говоря им: «Разве наша эмиграция тянется долго? — Нет, поглядите на Плеханова — вот это была эмиграция, когда человек поставил политический прогноз и притом совершенно правильный, но должен был десятки лет ждать, пока его пророчество сбудется».

Да, в 1900 г. я застал Георгия Валентиновича в очень приподнятом настроении: из России шли бодрящие вести: рабочие организации росли, как грибы. Между русским пролетариатом и его вождем установилась прочная связь.

Лето 1900 года Георгий Валентинович с семьей и с Верой Ивановной Засулич проводил в Корсье на берегу Женевского озера.

Возвращаясь с Парижской выставки и узнав в Женеве адрес моих друзей, я сел на пароход в сопровождении некоего Л. (впоследствии член Государственной Думы, трудовик).

Вот и пристань Корсье. Идем по берегу, руководясь адресом.

Через несколько минут мой спутник заявляет: «Перед деревом на скамейке сидит мужчина лет 45 и женщина лет 50 — они смотрят на вас и улыбаются, — мы сейчас подойдем к ним». — Это и были Георгий Валентинович с Верой Ивановной. Да, смеющийся, жизнерадостный, бодрый, помолодевший Плеханов был неузнаваем. Он говорил, рассказывал, острил больше прежнего и упоминал о русских делах не так, как прежде, когда в тоне слышалось упование и вера; нет, теперь в его голосе был оттенок торжества.

Плеханов оставил нас обедать. Вся обстановка его жизни хотя и скромная, все же доказывала, что годы острой нужды уже остались позади. После обеда, уединившись со мною, Плеханов стал говорить с откровенностью, не совсем обычной, о своих ближайших планах, о партийной газете, которая возникнет через несколько месяцев, но на вопрос, как она будет называться, он неохотно и после некоторой паузы

процедил: «Искра», — и тут же добавил: «Впрочем, вопрос о названии еще не окончательно решен».

Вдруг, как бы вспомнив, что я все-таки чужой (т.-е. не социал-демократ), Плеханов дал волю своему темпераменту полемиста.

Здесь нужно напомнить, что дело было в самый разгар знаменитой борьбы между ним и Н. К. Михайловским, причем обе стороны печатно обвиняли друг друга в нарушении правил корректной полемики.

— Собираетесь заехать в Петербург? — спросил Плеханов и, получив утвердительный ответ, продолжал: — и уж, конечно, будете видеться с Михайловским?

— Да, непременно буду видеться с Николаем Константиновичем, — сказал я.

— Ну, вот, в таком случае не откажитесь исполнить маленькое поручение.

При этих словах я насторожился, а он продолжал самым невинным тоном:

— Видите ли, в Харькове жулики называются «раклами». Вот один такой ракло стал тащить ночью на улице с прохожего пальто. Прохожий сначала растерялся, а затем, схватив грабителя за шиворот, стал накладывать ему по шее. Тут ракло, становясь в позу оскорбленной невинности, заговорил: «Господин хороший, а ведь драться-то нынче не приказано».

При последних словах Плеханов расхохотался. Смеялся и я, говоря: «Нет, уж от этого поручения увольте!».

* * *

Дорогие тени, прежде времени ушедшие от нас! Плеханов люто враждовал: он наносил противнику тяжеловесные полемические удары. Опасный враг, он был, однако, врагом честным, врагом благородным.

Воронеж, 15/III 1924 г.

Л. ДЕЙЧ

ААРОН ЗУНДЕЛЕВИЧ

(ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ В РОССИИ)

I.

Год тому назад, 30 августа 1923 г., в Лондоне скоропостижно скончался А. И. Зунделевич, являвшийся одним из наиболее крупных и оригинальных деятелей, каких мне когда-либо пришлось встретить. К тому же, он был также одним из наиболее близких и дорогих мне лиц. Пока мне пришлось написать о нем лишь два кратких некролога. Теперь посвящаю ему свои более обширные воспоминания.

По революционной кличке «Мойша», которая была ему дана, я знал его задолго до личной встречи из рассказов товарищей. При упоминании о каком-нибудь предприятии члены северной организации, — они же назывались «троглодитами», — обыкновенно говорили: «когда приедет Мойша, можно будет это сделать», или: «необходимо дождаться возвращения Мойши, что он на это скажет» и т. п. Получалось впечатление, что Мойша «специалист» или «эксперт» чуть ли не по всем отраслям революционных дел. При этом я замечал, что товарищи произносили эту его неблагозвучную кличку с какой-то особенной, мягкой интонацией, в которой чувствовалось, что они относятся к нему с нежностью, с большой симпатией; было очевидно, что Мойша общий любимец, пользующийся к тому же глубоким уважением со стороны всех решительно товарищей.

Это было летом 1878 г., когда я со Стефановичем и Бохановским, незадолго перед тем убежавши из киевской тюрьмы, приехали в Петербург, где мы близко сошлись с чле-

нами Северной организации, вскоре затем получившими название «землевольцев». Вместо давно уже тогда арестованного Натансона, — главного основателя этого общества, — орудовали в кружке чрезвычайно симпатичная и энергичная жена его Ольга, а также большой приятель ее — «Алешка» (Сабуров), «Дворник» (А. Михайлов) и др. Мойши не было в Петербурге: незадолго до нашего приезда туда он в качестве «управляющего департаментом иностранных дел», т.-е. заведывающего контрабандными сношениями через границу, отвез в Германию — в сопровождении Д. А. Клеменца — Веру Засулич, которую жандармы хотели арестовать после оправдания ее присяжными за известное ее покушение на градоначальника Трепова.

Рассказы товарищей относительно ловкости, находчивости и практичности Мойши сводились, главным образом, к техническим отраслям революционной деятельности. Сообщали, напр., как дешево и вместе совершенно безопасно, без малейшего риска провала, он умеет устраивать переправу через границу многих людей, а также огромных транспортов революционных сочинений и других запрещенных предметов и что при этом у него никогда еще не было никакого провала, между тем как раньше масса лиц и тюков с запрещенными изданиями погибало. Но в особенности, помню, восторгались товарищи замечательной практичностью и уменьем, проявленными Мойшей в деле устройства «Вольной Русской типографии» в самой столице русского царя, к крайнему негодованию и возмущению явной и тайной полиции, которые, несмотря на все розыски, никак не могли открыть места ее нахождения.

Уже и раньше того некоторые революционные кружки основывали то в том, то в другом городе России нелегальные типографии. Но все такие заведения были очень примитивны, несовершенны, а главное, недолговечны: полиции удавалось скоро их открывать, при чем, конечно, каждый раз она арестовывала много лиц. Поэтому у некоторых революционеров того времени составилось убеждение, что не имеет ни малейшего смысла внутри России, а тем более в ее столице, устраивать типографию, так как в техническом отношении она не может быть сколько-нибудь сносно обставлена, тем более устроена безопасно, без риска для многих лиц. Между тем, можно сказать, если не с каждым месяцем, то с каждым годом все более и более росла тогда потребность в местной агитационной литературе. Но этой потребности, несмотря на до совершенства доведенное Зунделевичем устройство контрабандного пути через границу, не могли удовлетворять привозимые из Зап. Европы произведения. Мойша был одним из первых лиц, сознавших необходимость для общества «Земля и Воля» иметь свою собственную типографию в самом Петербурге. Встреченный им со стороны товарищей отпор, по вышеуказанным соображениям, не остановил Зунделевича: он принадлежал к числу упорных, настойчивых людей, которые не скоро сдаются, не отказываются от явившихся у них планов, пока лично, на практике, не убедятся в их неосуществимости. С присущим ему необыкновенным упорством принялся он за свой план, — научился набору, привез из-за границы соответствовавший его цели типографский станок со всеми остальными принадлежностями, привлек нужных сотрудников, в числе которых была одно время, между прочим, В. И. Засулич, а также известная М. К. Крылова, и в Петербурге возникла «Вольная Русская типография», устроенная до того конспиративно, что никакие розыски полиции не могли ее открыть, несмотря на настойчивые требования этого со стороны всемогущего царя. Забегая вперед, скажу здесь, что она так и осталась неоткрытой, пока существовало об-во «Земля и Воля».

Когда я с названными товарищами в июне приехал в Петербург, эта типография функционировала уже больше полугода; из нее была выпущена масса листков и брошюр, на которых обозначалось, что они печатались в «Петербургской Вольной Русской типографии», и об'являлось, что вскоре там же начнет выходить периодический журнал под названием «Земля и Воля».

Легко, поэтому, представить себе возмущение всесильного тогда III Отделения: после появления каждого нового листка производились многочисленные обыски в надежде напасть на след этой типографии, но ни малейших указаний на это власти нигде не находили.

Если мы примем во внимание, что в то время, т.-е. с весны 1878 г., — под влиянием окончившейся русско-турец-

кой кампании, а также упомянутого уже мною вскользь выше финала дела Веры Засулич и знаменитого процесса 193-х, — в России началось значительное общественное возбуждение, сильный под'ем, то понятно будет, что в такой момент возможность тут же пользоваться свободным печатным станком играла громадную роль и принесла неоценимую услугу революционному делу в России. А этим, как я уже сообщил, мы в значительной степени были обязаны Аарону Зунделевичу.

Перечисленным далеко не исчерпывалась его продолжительная революционная деятельность. Но поделюсь сперва имеющимися у меня сведениями о его детстве и юности.

II.

Сын небогатого мещанина, обремененного большим семейством, Зунделевич родился в городе Вильно в 1853 г. В детстве и отрочестве Аарон отличался чрезвычайной набожностью и фанатически точным соблюдением всех многочисленных еврейских обрядов. Так, напр., если мать, приготовляя для субботы «халу» [1]), не исполняла какого-нибудь незначительного правила, маленький «ортодокс» отказывался есть эту булку и т. п. Целые дни проводил он в изучении талмуда и других священных книг. Не довольствуясь находившимися в Вильне «ешиботами» [2]) и тамошними знатоками религиозной премудрости, он пешком отправлялся за много верст в другие, известные среди специалистов, места, где обретались наиболее знаменитые, прославленные ученые раввины. Сам он, конечно, также готовился стать со временем одним из них.

Но новые веяния, охватившие, как известно, после Севастопольского поражения лучшую часть русского общества, достигли в начале 70-х г.г. и до этого одаренного большими способностями отрока: он узнал о существовании других, кроме еврейских, наук и усердно принялся за их изучение. После необходимой подготовки, юный Зунделевич, выдержав экзамен, поступил в «казенное раввинское учи-

[1]) Плетеные булки.

[2]) Специальные школы для изучения древне-еврейских писаний.

лище» [1]) в Вильно. А когда затем в разных концах России началось известное, не раз упомянутое в разных очерках, движение «в народ» и отголоски его достигли также до Вильны, то среди учеников раввинского училища начали распространяться подпольные революционные издания. Затем возник кружок, члены которого, вместо подготовки себя к обязанностям «казенных раввинов», начали, подобно воспитанникам всех других тогда учебных заведений, заниматься разными ремеслами, чтобы направить свою деятельность в среду русских крестьян; единоплеменникам же своим тогдашние революционеры-евреи считали совершенно излишним посвящать свои силы и знания.

Только один член этого виленского кружка, состоявшего исключительно из еврейской молодежи, — Аарон Либерман, приобревший в 70-х г.г. довольно большую известность за границей, признавал необходимость понести проповедь социализма также и в среду еврейской голытьбы, что вскоре затем он и осуществил, занявшись агитацией и пропагандой в Лондоне, вместе с Л. Гольденбергом, а потом в Вене — с Аронзоном, Гр. Гуревичем и Л. Цукерманом.

Хотя условия, в которых пришлось действовать виленскому кружку, были сравнительно довольно благоприятны, и полиция ничего не знала о начавшемся среди еврейской молодежи движении, но нашлись добровольцы-предатели, открывшие глаза властям. Тогда начались обыски и аресты: Зунделевичу, Либерману, Иохельсону [2]) и еще нескольким скомпрометированным лицам удалось избежать ареста; некоторые из них, в том числе Зунделевич, перешедши контрабандным путем через границу, поселились в Кенигсберге.

Еще до присоединения Зунделевича к революционному движению, уроженка г. Вильны, студентка медицинских курсов, Анна Михайловна Эпштейн, ставшая впоследствии женой известного чайковца Д. А. Клеменца, завела сношения с ее сородичами-контрабандистами для получения из-за границы запрещенных произведений. Она же познакомила с этим делом своего земляка Зунделевича, который, таким

[1]) Средне-учебное заведение, предназначавшееся для подготовки еврейских учителей и казенных раввинов.

[2]) Впоследствии ставшему известным ученым — этнографом.

образом, явился ее преемником, поставившим, как я уже сказал, затем это дело наилучшим образом. Когда же Натансон после возвращения из ссылки (в конце 1875 г.) создал Северную организацию, то, разыскав Зунделевича в Кенигсберге, привлек его в последнюю.

Природный большой ум, практичность, способность быстро ориентироваться, — эти и другие свойства, которые были присущи Зунделевичу с юных лет, оказались особенно ценными, когда он целиком посвятил себя революционной деятельности. Он, как я уже упомянул, не довольствовался одним заведыванием «иностранным департаментом», несмотря на чрезвычайную важность последнего: не было почти ни одного крупного предприятия, в котором «Мойша» не принял бы того или иного участия. При этом всегда заранее можно было знать, что он исполнит взятую им на себя функцию наилучшим образом. Так, в знаменитом побеге П. Кропоткина на обязанности Зунделевича лежало отвлечь внимание стоявшего на посту вблизи военного госпиталя дежурного полицейского, что ему вполне удалось. Аналогичных примеров можно было бы привести немало.

Когда я познакомился с Аароном, ему было лет 25; но, благодаря довольно значительной бороде, он выглядел несколько старше и казался уже довольно солидным, деловым человеком.

III.

Прожив в Петербурге несколько недель, Стефанович, Бохановский и я намеревались при помощи Северной организации отправиться на время за границу, чтобы, как говорится, замести за собой следы. Но без «Мойши», — как сказали нам члены ее, — мы не могли этого осуществить; между тем, отвезши Веру Засулич, он где-то замешкался. Нас начало уже разбирать нетерпение, когда однажды быстрой походкой вошел к нам давно ожидавшийся нами «Мойша».

Конечно, и до знакомства с ним, я на своем веку видел немало как хороших, так и дурных соплеменников, но ни один из них не произвел на меня сразу столь выгодного

впечатления, как Зунделевич: что-то в высшей степени симпатичное, благородное и честное было на его типично-еврейском, живом, энергичном и вместе добром лице.

Красивое лицо его, покрытое густой черной растительностью, дышало здоровьем, бодростью и энергией; из-под густых, длинных ресниц ласково смотрели добрые, умные темно-карие глаза, и, вообще, «Мойшу» можно было причислить к красивым еврейским типам.

Я и названные мною два товарища сразу почувствовали к нему большое расположение. После обмена несколькими фразами нам казалось, что мы давно уже с ним знакомы и были очень довольны, что именно он будет нашим путеводителем в предстоявшем небезопасном для нас путешествии контрабандным способом.

Хотя «Мойша» только что приехал из-за границы, он, тем не менее, выразил полную готовность сопровождать нас, но мог это сделать только через несколько дней, так как в Петербурге у него было очень важное и спешное дело: ввиду задуманного Кравчинским плана убить тогдашнего шефа жандармов, нужно было проследить все выходы, выезды и прогулки генерала Мезенцева, что было далеко не безопасной задачей, потому что, как главного тогда начальника всей тайной полиции, его оберегала свора шпиков.

Буквально, не успев осмотреться, Мойша тотчас же по приезде принялся за расследование образа жизни шефа жандармов, для чего с утра до позднего вечера следил за его выходами, ухитряясь, как это умел лишь он, остаться никем не замеченным. В самое короткое время он в точности узнал все привычки ген. Мезенцева, и, только окончив эту, а также и еще другие добровольно взятые им на себя функции, он мог уехать с нами.

Не буду повторять уже в другом месте описанный мной процесс контрабандного перехода через границу [1]). Скажу лишь, что ангажированный для этого Зунделевичем еврей-контрабандист, после того как мы под его руководством благополучно перешли на германскую территорию, привел нас в гостиницу, содержавшуюся немцем и служившую складочным пунктом для перевозимой Зунделевичем подпольной

[1]) См. «На рубеже», «Вестн. Европы». 1911 г.

литературы, а также и убежищем для эмигрантов, переходивших эту границу в ту или другую сторону. Из этой гостиницы, дождавшись сумерок, в прекрасном хозяйском экипаже, в который запряжена была пара сытых лошадей, мы в сопровождении Зунделевича поехали на ближайшую железнодорожную станцию, отстоявшую в двух десятках километров от границы.

Более «художественно-гладкую», если можно так выразиться, к тому же скорую и дешевую переправу трудно было бы устроить. При этом мы имели возможность убедиться, что Зунделевич, несмотря на относительно молодые годы, сумел внушить к себе большое уважение знакомым ему жителям пограничных селений: они принимали его за крупного предпринимателя контрабандных операций, но находили его «скуповатым», так как он, по принципу, торговался с ними из-за каждого гривенника.

Действительно, Зунделевич умудрялся решительно во всем за незначительную сумму получить то, на что другой потратил бы гораздо больше: как для Лизогуба, так и для него общественные средства были чрезвычайно дороги; поэтому он всегда старался как можно меньше их издержать.

Во время этой поездки за границу мы познакомились с теоретическими взглядами Зунделевича: несмотря на то, что на этот счет мы были подготовлены его товарищами, все же нас немало удивило то, что мы от него услыхали.

Как я уже много раз сообщал в своих прежних записках, в те времена самой главной и обязательной работой русского социалиста считалась пропаганда и агитация среди крестьян, — стремление вызвать их на бунт, восстание для осуществления «народных желаний», почему мы и назывались «народниками» или «бунтарями». Организация «Земля и Воля», к которой принадлежал Зунделевич, являлась, как известно, главной выразительницей этого направления. Между тем «Мойша», будучи одним из наиболее видных членов «народнического» общества, самым решительным образом высказывался против какой-либо революционной деятельности среди крестьян: он находил ее совершенно бесполезной, говорил, что она ни к чему доброму не может привести и является, поэтому, лишь невознаградимой

потерей людей, времени и средств. К русским крестьянам, которых, как известно, все мы тогда склонны были превозносить чуть не до небес, находя у них всевозможные добродетели, «Мойша», наоборот, к немалому нашему изумлению, не только относился без всякого восхищения, но находил их грубыми, невежественными, нисколько не склонными ни к социализму, ни к революции, при этом утверждал, что противоположное мнение является лишь выдумкой интеллигентов.

За исключением Фесенко [1]), мне до встречи с Зунделевичем ни от кого больше не приходилось слышать подобного взгляда. Я склонен был об'яснить этот его пессимизм тем, что как уроженец «черты» еврейской оседлости Мойша почти до юности находился лишь среди своих единоверцев и даже не умел говорить по-русски.

Если не в большей, то и не в меньшей степени удивил нас, переправлявшихся за границу трех бунтарей, его взгляд на нашу практическую деятельность.

В качестве «народников», главным родоначальником которых был, как известно, Бакунин, мы не только не считали нужным завоевывать политические свободы для России, но, наоборот, в теории являлись скорее противниками непосредственной борьбы за приобретение «буржуазных, конституционных учреждений», которые, по нашим тогдашним понятиям, могли лишь отдалить время торжества социальной революции, посеяв иллюзию свободы и поспособствовав еще большей эксплоатации трудящихся масс.

Поэтому велико было наше удивление, когда впервые от «Мойши», члена анархической организации, какой являлось общество «Земля и Воля», мы вдруг услыхали превозношение «буржуазных порядков» и доказательства необходимости их завоевания для России.

Но конечного предела достигло наше изумление, когда в течение этой же совместной поездки мы узнали, что он является сторонником германских социал-демократов! Подолгу проживая по делам в Германии, Мойша, главным образом из бесед и посещений собраний, а также из чтения немецких газет и брошюр, недурно познакомился с та-

[1]) См. о нем в «За полвека».

мошним рабочим движением и стал ярым его приверженцом. В наших же глазах,—тогда, повторяю, отчаянных анархистов,—«социал-демократ» был синоним реакционера, консерватора,—словом, всего худого, что только можно было себе представить в политическом отношении.

В описываемое время мы являлись не только убежденными анархистами, но к тому же и горячими, сангвиничными юношами, полагавшими, что русский крестьянин скорее всяких «там немцев социал-демократов» и вообще западных социалистов произведет социалистическую революцию и тем покажет пример Европе,—да и одной ли ей? И вдруг, оказалось, милейший, симпатичнейший «Мойша» позволял себе превозносить «немецкого колбасника» над русским крестьянином, прирожденным социалистом-революционером! За такое оскорбление следовало по меньшей мере выбросить этого «реакционера» из прекрасного экипажа, в котором мы с ним ехали по «ненавистной нам Германии» до железнодорожной станции. Но мы не только не сделали этого, а, наоборот, самым мирным образом беседовали, так как с ним трудно было ссориться. Когда же настало время расстаться, то мы с ним дружески простились, потому что, повторяю, несмотря на полную противоположность наших взглядов, мы находили «Мойшу» на редкость хорошим человеком, каким, забегая вперед скажу, он остался до самой смерти.

IУ.

Таким образом летом 1878 г. Зунделевич являлся среди землевольцев одним из первых, высказывавшихся открыто и решительно за необходимость вести энергичную политическую борьбу, чтобы добиться разных свобод, между тем как преобладавшее большинство его товарищей это тогда решительно отвергало. К тому же эти свои, на наш тогдашний взгляд, крайне ошибочные воззрения «Мойша» при всяком случае очень настойчиво и горячо пропагандировал не только словом, но, как ниже увидим, и делом. Уже в одном этом была его огромная заслуга, на которую до сих пор почти никто не указал, что, конечно, крайне несправедливо.

Не только в указанных вопросах, сыгравших, как известно, очень важную роль в нашем революционном движении,—также и в других отношениях «Мойша» явился одним из пионеров: заодно с А. Михайловым он отстаивал необходимость создания прочной централизованной организации, основанной на принципе подчинения меньшинства большинству, что в те времена, вновь повторяю, господства анархических воззрений, совершенно отверглось нами как крайне вредная «немецкая выдумка». Далее «Мойша» же явился одним из первых сторонников «террористической деятельности» как приема для завоевания политической свободы в России. Поэтому он принял непосредственное участие в организации убийства ген. Мезенцева, а затем до самого его ареста не было почти ни одного такого акта, в котором он не играл бы более или менее активной роли,—вплоть до покушения на самого царя Александра II.

Глядя на мягкие, симпатичные черты лица доброго «Мойши», решительно невозможно было поверить, чтобы он был способен на столь кровавые деяния: «Мойша», вероятно, не мог муху раздавить, между тем он с удивительным хладнокровием, выдержкой и спокойствием принимал самое активное участие в подготовках отчаянных нападений, предпринятых несколькими смельчаками на всемогущего русского царя и его любимцев,—до того повелительно влияло убеждение в необходимости этого способа борьбы даже на самоотверженные, альтруистические натуры, отзывчивые на всякие страдания.

«Мойша» жил только для «дела»,—для осуществления того, что он считал полезным, нужным, чтобы поскорее освободить Россию от господства в ней варварства, азиатчины. Он поэтому не боялся никаких лишений и страданий; его нисколько не страшила грозившая ему бессрочная каторга, а то и смертная казнь, и, отдаваясь беззаветно интересам общего дела, лично для себя Зунделевич никогда ничего не искал. Ему решительно не были присущи ни в малейшей степени ни честолюбие, ни стремление к славе, к известности; его, видимо, удовлетворяло одно лишь сознание, что и его капля меда имелась в общей борьбе за лучшее будущее угнетенных масс. В этом отношении Зунделевич не являлся исключением,—в те времена энту-

зиазма и самоотверженности многие революционеры в значительной степени отличались от позднейших деятелей, у которых на первом плане выступали их личные расчеты, самолюбие и честолюбие, но, само собою разумеется, как в 70-х г.г., так и в следующих периодах бывало немало отступлений в ту и в другую сторону.

У Зунделевича были еще и такие свойства, благодаря которым он превосходил всех своих тогдашних самых выдающихся товарищей, — за единственным исключением знаменитого Дмитрия Лизогуба, отдавшего, как известно, революционной борьбе все свое значительное состояние и в то же время жалевшего потратить буквально пятак на конку. Также и Зунделевич до самой смерти сохранил крайнюю бережливость и способность довольствоваться таким ничтожным минимумом, на который никто другой не мог бы существовать. Он был совершенно равнодушен к своей обстановке, одежде, пище. Ему было вполне безразлично, что́ и когда он ест. Он мог подолгу вовсе оставаться без пищи и сна и решительно никогда не выражал желания поесть; никому также не упоминал он никогда, что терпит нужду или лишения. Можно было лишь удивляться, как при столь интенсивной работе, какую Зунделевич везде и всегда исполнял, и при его ригористическом образе жизни он все же выглядел не только бодрым, но и цветущим: унаследовав очень здоровый организм, он затем закалил его усердными физическими занятиями и очень умеренным образом жизни.

Другой чертой, отличавшей «Мойшу» от многих его современников, была его всегдашняя изумительная готовность без малейших колебаний взяться за выполнение любого дела, как бы мало и незначительно оно ни было, с какими неприятностям или риском ни было бы сопряжено его осуществление, начиная с занятия наборщика и перевозчика через границу и кончая участием в цареубийстве. В каждом случае, когда нужна была та или иная работа, Зунделевич никогда не ждал, пока ему ее предложат: он сам раньше всех других принимался за дело даже тогда, когда товарищи находили, что он напрасно будет терять свое время и усилия на то, что в состоянии выполнить более его молодой и менее его занятой человек. Но в тех случаях,

когда «Мойша» находил, что́ именно он должен это сделать, никто уже не мог его переспорить и побудить поступить иначе: при безграничной мягкости, доброте и любви к товарищам, да и вообще ко всем без различия людям, Зунделевич обладал также огромной настойчивостью, упорством и постоянством в отстаивании того, что он считал верным, правильным, справедливым. Не могу здесь перечислить все предприятия, в которых он участвовал, но в дополнение к вышеупомянутым приведу еще два случая.

V.

Известно, что летом 1879 г. нескольким южным революционерам удалось, путем подкопа под херсонское казначейство, похитить из него $1\frac{1}{2}$ милл. рублей. В тот же день, вследствие предпринятых энергичных розысков, был у главной организаторши этого предприятия, Елены Россиковой, отобран миллион. Остальную часть унес ее товарищ, прославившийся под кличкой «Сашка-Инженер» (Ф. Юрковский): он привез полмиллиона рублей в г. Алешки, где закопал их во дворе занимаемого им с женой домика. Но об этом знал также участвовавший в этом деле рабочий, который после ареста выдал все властям. Однако, несмотря на предпринятые в обширном, заросшем травой дворе раскопки, полиция не могла долго найти этих денег. Узнав об этом, некоторые революционеры строили планы, как бы пробраться на этот, зорко охранявшийся стражей двор, чтобы выручить хорошо закопанные 500 тысяч рублей. «Вот, будь «Мойша», он, вероятно, придумал бы безопасный способ», — говорили товарищи. А он в то время находился за границей, куда поехал по разным делам (между прочим, затем, чтобы перевезти обратно в Россию меня, Веру Засулич, Ольгу Любатович и Як. Стефановича). Когда, вернувшись в Петербург, Зунделевич узнал о критическом положении спрятанных «Сашкой-Инженером» денег, то немедленно отправился в Алешки выручать их. Но, совсем незадолго до его приезда туда, полиции, наконец, удалось, вскопав весь двор, найти эти деньги. Узнай «Мойша» своевременно об этом предприятии, он, конечно,

сумел бы спрятать все похищенное так, что этого не нашли бы.

Другое, еще более рискованное, предприятие, которым был занят «Мойша» в то лето, окончилось вполне благополучно: я имею в виду приготовление динамита домашним способом.

К этому опасному взрывчатому веществу, лишь незадолго перед тем начавшему употребляться, революционеры еще не обращались. Нужно было поэтому обладать немалой отвагой, чтобы решиться на устройство «динамитной мастерской» в обыкновенной петербургской квартире. Но Зунделевича никакой риск никогда не мог остановить: за все он принимался спокойно, хладнокровно, взвешивая всякий шаг и заранее обдумывая все малейшие подробности и возможные случайности.

Занимаясь разнообразными практическими делами, «Мойша» в то же время далеко не был — как это часто случается с практиками — равнодушен к теоретическим вопросам. Правда, ни тогда, ни после, он не предавался целиком изучению разных научных теорий; все же, поскольку ему позволяли его подготовка, способности и находившееся в его распоряжении время, он всегда живо интересовался решительно всеми теоретическими вопросами любой области, занимавшей внимание современников.

VI.

Лето 1879 г. являлось одним из особенно знаменательных периодов в жизни общества «Земля и Воля»: возникшие среди членов его разногласия по вопросу о так называемой террористической борьбе привели, как известно, к созыву одного за другим двух с'ездов — в Липецке и в Воронеже.

Зунделевич все это время был за границей, чтобы, как я уже упомянул, помочь нам, вышеназванным четырем лицам, благополучно перебраться через границу в Петербург. Поэтому он ни на один из этих с'ездов не попал, но с его голосом товарищи считались, так как всем было известно, что он целиком на стороне «террористов».

Подобно Желябову, Михайлову, Квятковскому и другим наиболее выдающимся народовольцам, Зунделевич так же

признавал необходимым не только продолжение указанного способа борьбы, но и усиление его, так как, повторяю, он считал его единственно допустимой, а потому и наиболее целесообразной в России революционной деятельностью. Ввиду этого принятое в его отсутствии на Воронежском с'езде компромиссное решение не удовлетворило ни его, ни некоторых других членов общества «Земля и Воля», и возникшие разногласия не только не были устранены с'ездом, но, наоборот, они еще более усилились: когда после его окончания вновь с'ехались в Петербург многие представители обоих враждовавших направлений, а также и мы, «заграничники», то споры приняли особенно резкий характер.

Зунделевич, также приехавший спустя некоторое время в Петербург, сперва являлся заодно с нами, «заграничниками», примирителем, стремившимся, по возможности, смягчить очень обострившуюся взаимную вражду.

Нисколько не поступаясь своими воззрениями, он, благодаря мягкости своего характера, умел сохранить дружеские отношения со всеми нами, сторонниками «старины», прозванными «деревенщиками». Когда же, наконец, в конце лета того года почти все убедились, что пребывание тех и других в одном лагере совершенно не мыслимо, ввиду непрекращавшихся споров, Зунделевич вместе с Желябовым и А. Михайловым внес предложение: лучше мирно поделиться на две независимые организации, чем, оставаясь в одной, тормозить занятия каждой из входящих в ее состав фракций.

Предложение это было одобрено другими членами общества «Земля и Воля»; при этом было решено, что для полюбовного раздела каждая фракция изберет из своей среды три уполномоченных представителя. Со стороны террористов, кроме Тихомирова и Михайлова, был избран Зунделевич, а с нашей стороны — Стефанович, Попов и, кажется, Преображенский. Участием Зунделевича в этой комиссии мы, «деревенщики», были особенно довольны, ввиду всеми нами признаваемого за ним беспристрастия, справедливости и благоразумия.

Нелегкая задача предстояла этой комиссии: ей приходилось сглаживать резкости, прорывавшиеся то у одного, то у другого из ее членов, а затем убеждать остальных това-

рищей согласиться на выработанные ею пункты, так как случалось, что большинство той и другой фракции соглашалось, наконец, на предложенные условия, но отдельные члены вдруг заявляли, что считают их несправедливыми и поэтому не передадут находящихся в их ведении общих предприятий, например, типографии, паспортного бюро и пр. И вновь «Мойше», с одной стороны, а Стефановичу — с другой, нужно было доказывать и убеждать несогласных, пока, наконец, им удавалось сломить упрямство наиболее неуступчивых товарищей. Не будь Зунделевича в числе уполномоченных со стороны «террористов», а Стефановича — с нашей, едва ли могло бы скоро состояться соглашение относительно полюбовного, мирного раздела общества «Земля и Воля» на две совершенно независимые организации — на «Народную Волю» и «Черный Передел». При этом, кажется, также благодаря предложению Зунделевича и Стефановича, было обеими сторонами принято постановление, что эти две организации будут дополнять одна другую, всегда поддерживая добрые товарищеские отношения. Здесь замечу, что впоследствии лишь немногие осуществляли это благоразумное постановление. Но Зунделевич остался одним из тех, которые и в дальнейшем были миролюбиво настроены; он и впоследствии был в хороших товарищеских отношениях с чернопередельцами.

VII.

При возникновении народовольческой организации одним из наиболее активных членов явился Зунделевич, у него оказалась масса дел: ему необходимо было принять участие в устройстве на новом месте типографии для печатания органа «Народная Воля»; надо было попытаться спасти от конфискации имущество незадолго перед тем казненного Дмитрия Лизогуба, для чего ему пришлось снова ехать на юг, а затем он вновь должен был с'ездить за границу за динамитом и т. д.

Кажется, в октябре или начале ноября он опять появился в Петербурге. Встретившись однажды со мной и с Верой Засулич, он пригласил нас к себе «на чай». Мы охотно приняли это приглашение. Явившись затем к нему в условленное время, мы вполне миролюбиво беседовали о самых жгучих, резко разделявших нас вопросах. С присущей ему терпимостью, но по обыкновению настойчиво и страстно, он доказывал нам полную бесполезность всех наших стремлений, а мы, в свою очередь, энергично нападали на его взгляды и преследуемые им и его товарищами задачи. Но ни им, ни нами не было при этом произнесено ничего резкого личного, что было тогда — как, впрочем, и теперь — так обычно во время горячих дебатов.

Особенно хорошо запечатлелась в моей памяти эта наша мирная беседа о резко разделявших нас кардинальных вопросах, потому что она была у нас последней с Зунделевичем на воле: вскоре после этого его арестовали при следующих обстоятельствах.

Заинтересовавшись вопросом о централизованных заговорщицких организациях, что находилось в тесной связи с поставленными себе народовольцами задачами, «Мойша» начал посещать публичную библиотеку. Однажды, когда по окончании чтения он в гардеробной одел свое верхнее платье, швейцар пригласил его зайти в какую-то комнату, в которой оказалась полиция, подвергшая его обыску; при этом в карманах его пальто найдены были какие-то нелегальные издания, после чего его арестовали. Затем выяснилось, что накануне кто-то из посетителей библиотеки разбросал по столам какую-то прокламацию. Дано было знать тайной полиции, которая поручила швейцарам, находившимся в раздевальной осматривать карманы верхнего платья; всегда в высшей степени аккуратный и чрезвычайно осторожный «Мойша» на этот раз совсем забыл о случайно оставшейся у него в кармане нелегальщине.

За распространение или даже хранение подпольных изданий по тем временам полагалось тяжкое наказание, все же его можно было признать для Зунделевича сравнительно «легким», так как, узнай правительство о всех его деяниях, не миновать бы ему виселицы.

Нам, его товарищам, находившимся тогда на воле, казалось совершенно невероятным, что как-нибудь могла открыться властям роль Зунделевича в революционном движении: арестован он был, как мы уже знаем, случайно, к тому же один, без каких-либо указаний на его принадлеж-

ность к организации, а провокаторов, которым была бы известна вся его деятельность, тогда, как казалось нам, не имелось в нашей среде. Поэтому особенно бояться за участь «Мойши» не было оснований. Вышло, однако, иначе: явился предатель, какого никак нельзя было предположить. Им оказался не безызвестный Григорий Гольденберг, убивший незадолго перед тем харьковского губернатора, кн. Кропоткина: вскоре после его ареста, происшедшего почти одновременно с арестом Зунделевича, Гольденберг, поддавшись на доводы жандармов, в особенности ловкого тов. прокурора Добржинского, написал подробнейший доклад о всех и обо всем, что ему было известно и о чем он одним ухом от других слышал, не пощадив самых близких ему лиц. В этой чистосердечной исповеди было много места отведено, между прочим, Зунделевичу, которого Гольденберг считал лучшим своим другом.

Узнав через известного Клеточникова, служившего в III Отделении, о показаниях Гольденберга, мы мысленно навсегда попрощались с «Мойшей», так как нам казалось совершенно невероятным, чтобы после этих разоблачений он мог избежать виселицы.

Гр. Гольденберг особенно подробно распространялся о нем в своей «исповеди»: рассыпавшись в чрезвычайных похвалах по адресу «Мойши», этот ограниченный, а потому околпаченный человек изобразил всю важность для революционеров разносторонней деятельности Зунделевича, что и требовалось жандармам и прокурорам, раньше не имевшим о его «преступной деятельности» никакого представления. Только благодаря Гольденбергу, Зунделевич был причислен к самым важным преступникам», и ему грозила смертная казнь.

Когда в ожидании суда Зунделевича содержали в Петропавловской крепости, прокурор Добржинский и Плеве сообщили ему, что Гольденберг настаивает на том, чтобы ему дали свидание с ним или с Квятковским. Они поэтому осведомились, согласится ли он на такую встречу, если последует на нее разрешение. Зунделевич ответил утвердительно. Далее приведу подлинное самого Зунделевича сообщение из его ко мне письма.

«Мне казалось, что это будет целесообразно, в смысле внесения поправок в показания Гольденберга. Но так как

месяца два я больше ничего не слыхал об этом вопросе, то я решил, что он снят с очереди. Когда меня привели в комнату для допросов и я там увидел Гольденберга, то это было для меня неожиданно.

«Комната эта была очень большая, и когда мы были в одном углу, то мы могли говорить так, что присутствовавший в ней Добржинский или Плеве (или оба вместе, тоже расхаживавшие) могли не слышать нашего разговора, когда они находились в другом конце ее.

«Гольденберг сказал мне, что его погубил Добржинский и что он решил покончить с собой, для чего им выработан определенный план. Я ему посоветовал, во всяком случае, до суда ничего не предпринимать, так как на суде, смотря по ходу дела, он будет в состоянии изменить или взять обратно ту или другую часть своих показаний. Он, казалось, соглашался со мной, и я был удивлен, когда увидел в обвинительном акте, что Гольденберг, ввиду его смерти, не вызывается».

Как видим, Зунделевич даже в данном случае проявил снисходительность по отношению человека, погубившего его и многих других.

Наши опасения относительно угрожавшей общему любимцу виселицы, к величайшей нашей радости, совершенно неожиданно не оправдались: его не казнили, причиной чего было несколько крупных фактов, происшедших между его арестом и судом над ним.

После двух покушений, произведенных террористами на Александра II, путем взрыва поезда в ноябре 1879 г. под Москвой и в феврале 1880 г. в Зимнем дворце, назначен был, как известно, гр. Лорис-Меликов «верховным распорядителем» в России, об'явивший «диктатуру сердца». Ввиду этого ему неудобно было ознаменовать свое вступление в управление страной многими смертными казнями.

Зунделевич был привлечен к разбиравшемуся весной 1880 г. процессу 16-ти, по которому судились несколько лиц за очень тяжелые деяния. Из них смертная казнь была, как известно, применена к Квятковскому — ввиду его участия во взрыве Зимнего дворца, во время которого погибло много солдат, а также к рабочему Преснякову, убившему при аресте полицейского. Как непричастный к непосред-

ственному убийству кого-либо Зунделевич был поэтому приговорен к бессрочной каторге.

Просидев затем в Петропавловской крепости на каторжном положении, он в следующем году был отправлен в Сибирь, на Кару.

VIII.

Четыре с чем-то года спустя я также очутился в этой каторжной тюрьме. За истекшие за время с нашей последней встречи с ним в Петербурге, о которой я выше сообщил, шесть лет много перемен произошло в моей жизни. Как известно, из анархиста, народника, бунтаря я, вместе с Аксельродом, Верой Засулич, Василием Игнатовым и Г. Плехановым, превратился в социал-демократа, а Зунделевич, как мы уже знаем, считал себя социал-демократом еще во второй половине семидесятых годов. Поэтому, приближаясь к Каре, я с удовольствием думал, что буду там не единственным представителем нового, нелюбимого русскими товарищами «немецкого социализма», как тогда с пренебрежением некоторые называли марксистов. Жизнь в одной тюрьме с добрым, мягким, заботливым о других Зунделевичем мне представлялась настолько привлекательной, что, казалось, я забуду или, во всяком случае, мне значительно легче будет переносить все те лишения и огорчения, с которыми связаны условия «каторжного положения». Много раз поэтому по пути на Кару я вспоминал наши былые разговоры с Зунделевичем на воле — за границей и в Петербурге, — и мысленно я признавался самому себе, что он был прав во многом, о чем нам приходилось тогда спорить.

«Только бы поскорее прибыть на Кару», — думал я не раз во время семимесячного тяжелого передвижения по сибирским этапам и тюрьмам.

Наконец, в середине декабря 1885 г., в сумерках, я не только добрался до столь давно желанной пристани, как сибирская каторжная тюрьма, но меня посадили в ту же общую камеру, в которой помещался и Зунделевич. Мало того, зная, что мне хочется быть поближе к нему, один из товарищей—«Ваничка» Старынкевич—великодушно уступил мне свое место на нарах, благодаря чему я очутился рядом с Зунделевичем. Радость мою поймет лишь тот, которому пришлось пережить аналогичное чувство, который, напр., после многих лет разлуки с любимым человеком, потеряв уже надежду когда-либо с ним свидеться, вдруг совершенно неожиданно встретит его при тяжелых условиях.

Как в физическом, так и моральном состоянии Зунделевича я нашел большую перемену. Оно и понятно, так как за протекшие годы ему пришлось очень многое перенести и испытать. Исчезла со щек его краска, сменившаяся землисто-бледным цветом, присущим лицам, долго находящимся в заключении; не было также прежней живости движения, в особенности в глазах, которые выражали какую-то глубокую грусть. Вообще Зунделевич казался уже не тем бодрым, подвижным человеком, каким я его знал на воле.

Лежа рядом, почти плечо к плечу, на нарах, мы в первые дни подолгу беседовали, вспоминали «минувшие дни», погибших и оставшихся на воле товарищей. Я ему сообщал о своих приключениях и происшествиях; он знакомил меня с его переживаниями, с тюремными историями и порядками, установившимися на Каре, и т. п. Пока беседы наши касались только этих тем, я видел перед собой прежнего, хорошо мне знакомого и любимого «Мойшу», снисходительного к другим, понимающего людские слабости, заботливого и внимательного к товарищам. Но вот, наконец, мы, спустя несколько дней, дошли до политических наших убеждений, и, к великому моему разочарованию и огорчению, я убедился, что не единомышленника, как я ожидал, а ярого противника дорогих мне взглядов встречаю я в Зунделевиче: жизнь за истекшие шесть лет и в этом отношении изменила его. Нет, вернее сказать, что Зунделевич остался, в общем, при прежних своих воззрениях, и лишь я, не поняв его на воле, приписал ему тождественные нашим убеждения.

Как я уже сообщил выше, Зунделевич признавал правильной деятельность немецких социал-демократов, но — только для Германии. В России же, при отсутствии в ней какой-либо возможности открыто действовать, тактику со-

циал-демократов он находил невозможной: он считал ее «абсурдом». «Сперва, — говорил он,—нужно завоевать политическую свободу путем террора, а тогда уже возможно будет применять немецкую тактику — ведение мирной пропаганды и агитации». Несмотря на печальный опыт своей партии «Народной Воли», доведший Россию до страшной реакции в течение царствования Александра III, умный Зунделевич все же продолжал верить в тот «абсурд», будто интеллигенты путем динамитных бомб и т. п. средств добьются конституции. Словом, Зунделевич отстаивал прежние свои взгляды, которые он давно развивал мне при нашей совместной поездке за границу. Но, если тогда, в 1878 г., они еще имели какое-нибудь основание, так как террор начал лишь впервые применяться и еще нельзя было предвидеть, к каким последствиям он приведет, то семь лет спустя, в самый разгар реакции, наступившей в начале 80-х г.г., мне, повторяю, в свою очередь, казалось «абсурдным» придерживаться этих взглядов. У нас поэтому нередко происходили горячие схватки, в сильной степени расстраивавшие нас обоих. Мы не сходились решительно ни в одном вопросе, раз только речь заходила у нас о политике. Мы поэтому вовсе перестали касаться общественных тем, и в течение некоторого времени между нами появилась натянутость, холодность.

В душе я сознавал, что неправ по отношению Зунделевича: не виноват он был в том, что, как я уже сообщил, рано попал в тюрьму, где сохранил воззрения, принесенные им с воли, — известно, что в этом отношении тюрьма консервирует заключенных. Но я не умел спокойно, не раздражаясь, знакомить его с выработавшимися у нас взглядами. «С другой стороны, не виноват и я, — размышлял я, — что мне дорого все то, на что он нападает».

Как и все почти тогда заключенные в Карийской тюрьме, Зунделевич также отрицал научность теории Маркса, хотя в то же время он, в отличие от остальных, считал себя единомышленником немецких социал-демократов.

Месяца два спустя я перешел в другую камеру и, встречаясь с Зунделевичем на общих прогулках, мы в течение многих лет продолжали избегать щекотливых тем.

IX.

Как и на воле, Зунделевич и в тюрьме был общим любимцем. С большинством заключенных, к тому же с лучшими из них, он был в самых приятельских отношениях — на «ты». Такое расположение к себе Зунделевич приобрел теми же чертами характера, тем же нравом, который выделял его и на воле.

Он ни малейшим образом не проявлял ни самолюбия, ни, тем более, честолюбия, ничуть не стремился выдвинуться вперед, наоборот, Зунд, как звали его, скорее готов был всегда умалить свое достоинство, способности и заслуги. Большой почестью, напр., считалось многими на Каре быть избранным в «старосты» существовавшей у нас общей хозяйственной артели, и некоторые охотно принимали на себя эту почетную, хотя и очень тяжелую, сопряженную со многими неприятностями, функцию. Зунд в течение восьми лет, проведенных им в Карийской тюрьме, несмотря на просьбы товарищей, упорно от этой «почести» отказывался, зато охотно брал на себя всякий тяжелый и неприятный труд, заменяя других или облегчая им работу. Исполнял он любое дело без малейшего напряжения, легко, с полной готовностью, никогда ни единым словом не выражая неудовольствия ни по поводу неприятности данной работы, ни трудности ее для себя. Некоторые из них бывали чрезмерны для его сил, и даже более его здоровые парни уклонялись от них; так, он таскал на себе пятипудовые кули с мукой, вносил по лестнице в кухню и в баню большие ушаты с водой, рубил, колол дрова и пр. Когда нам было разрешено завести на тюремном дворе огород, Зунд явился самым энергичным и неутомимым работником: он копал, сеял, поливал, полол, — словом, до того усердно возился с огородом, что достиг поразительных результатов в деле снабжения всех нас, его товарищей по заключению, столь необходимыми продуктами, как овощи, отсутствие которых вызывало у многих из нас тюремную болезнь — цынгу.

В своих потребностях Зунд в тюрьме дошел до еще большего ригоризма, чем на воле, так как, кроме присущей

ему способности довольствоваться немногим, крайне стесненные, если не сказать, тяжелые материальные условия, в которых нам приходилось, особенно временами, там жить,— побуждали его во всем себя урезывать, чтобы другим больше доставалось.

Трудно, конечно, передать здесь все многочисленные и вместе с тем мелкие факты повседневной тюремной жизни. К тому же, полагаю, каждый побывавший в тюрьме — а кто из уроженцев России не имел этого счастья?—сам знает из-за каких пустяков в заключении за решетками, а также в ссылке, нередко проявляется даже у выдающихся людей себялюбие, эгоизм, мелочность. Зунд решительно во всех условиях жизни оставался неизменно альтруистом самого лучшего типа. Неудивительно поэтому, что, несмотря на расхождение многих с ним во взглядах, он, как я уже сказал, всюду пользовался общей симпатией.

Ни единым словом он никогда не жаловался на свою судьбу, на казавшееся всем нам тогда беспросветное будущее его: ведь как бессрочный каторжанин он не мог рассчитывать когда-либо очутиться на воле. Попасть в тюрьму в двадцать пять лет и не иметь надежды когда-нибудь вновь подышать вольным воздухом, такое положение может даже самого сильного человека повергнуть в уныние, отчаяние. Зунд же, повидимому, бодро переносил выпавший на его долю жребий, утешая себя, быть может, мыслью, что могло, ведь, и еще худшее произойти.

Мне как-то не приходилось говорить с ним на эту тему, но я глубоко уверен, что тогда, на Каре, он не только был равнодушен к несостоявшейся над ним казни, но нередко, наверное, сожалел, почему она его миновала. На меня он производил впечатление человека, всегда готового к смерти,—не потому что он разочаровался в жизни и в революционной деятельности или вследствие тяжелых условий каторжного режима, но, как отважный воин, смело идущий в бой, так же и он давно свыкся с мыслью о смерти, а потому, как говорится, всегда спокойно смотрел ей в глаза.

Вероятно, отчасти по этой причине Зунд не придавал, как-то делали другие, большого значения каким-либо теоретическим занятиям. Отличаясь от природы большими умственными способностями, он, однако, предпочитал всякий физический труд умственному. Нельзя сказать, чтобы, находясь в тюрьме, он вовсе не интересовался книгами, нет, он читал все, что подвернется, но без системы, не вкладывая в это души. Как это сплошь бывает в местах заключения и в ссылке со многими, так же и Зунд всегда любил поспорить по любому теоретическому или практическому вопросу, при чем он проявлял недурные диалектические способности. Но, подобно всем застенчивым людям, он никогда не брал слова на больших собраниях, при многочисленной аудитории, хотя всегда мог бы сказать много дельного, умного.

Будучи также недурным стилистом,—что отчасти проявлялось в его письмах [1]) и в переводах с иностранных языков (он хорошо знал еврейский, русский, немецкий и английский языки),—тем не менее, он ни за что не соглашался испробовать свои силы на литературном поприще; здесь, конечно, сказывалась одна из характерных черт его характера,—чрезвычайная скромность.

X.

Мы прожили с Зунделевичем в Карийской каторжной тюрьме около пяти лет,—до осени 1890 г., когда ее упразднили, выпустив часть заключенных в так называемую «вольную команду», а тринадцать человек отправили в устроенную в Акатуе [2]) новую тюрьму, в которой политических во всем сравнили с уголовными. Вместе еще с двенадцатью карийцами Зунд отправился туда на новые муки.

Режим в этой «образцовой» каторжной тюрьме был заведен крайне суровый, чтобы не сказать жестокий. Но и там, повидимому, Зунд мирился со своей участью, несмотря на лишения, страдания и тяжелый труд в рудниках; никакая отчаянная обстановка не в состоянии была подкосить этого изумительно выносливого человека. Насколько могу припомнить, из всех политических заключенных в Акатуе он особенно близко сошелся с поэтом Якубовичем, который под

[1]) Надеюсь опубликовать имеющиеся у меня письма его.

[2]) Порядки этой тюрьмы описаны Мельшиным-Якубовичем в его известной книге «В мире отверженных».

влиянием бесед с ним написал несколько прекрасных стихотворений.

Два манифеста, дававшие некоторые сокращения сроков и политическим каторжанам, были об'явлены в царствование Александра III, но Зунда как важного террориста они обошли. Однако по закону, также и бессрочных каторжан по прошествии двенадцати лет пребывания в тюрьме полагалось выпускать в «вольную команду». Поэтому в 1892 г. Зунд вновь прибыл в поселок Нижняя Кара, где я, вместе с другими политическими, жил вне тюрьмы. Таким образом мы вновь очутились в одном месте в «вольной команде».

Тяжелые испытания, которым он подвергался в Акатуевской тюрьме, однако, не наложили на него ни малейшего отпечатка; наоборот, казалось, что он вернулся оттуда еще более здоровым и окрепшим, чем был при нашем расставании. Когда же заходила речь о режиме этой тюрьмы и другие бывшие акатуйские узники, пришедшие с ним оттуда, не находили слов для изображения происходивших там ужасов,— Зунд с добродушной улыбкой старался смягчить их рассказы, говоря, что вовсе уж не было так невыносимо скверно там, что и там имелись хорошие, положительные стороны.

Еще до ухода с Кары в Акатуй, под влиянием отчасти бесед, отчасти чтения, Зунд в значительной степени изменил свои взгляды относительно целесообразности террора и вообще народовольческих убеждений. Деятельность русских социал-демократов, т.-е. группы «Освобождение Труда», с произведениями которой нам, заключенным, отчасти удалось познакомиться, уже не казалась ему столь бесцельной, а тем более «абсурдной», как во время моего прихода на Кару; наоборот, во многом он стал уже одобрять заграничных товарищей: время сделало свое, и как умный, мыслящий человек Зунд в конце концов не мог не сделать выбора между отжившим миросозерцанием, которым являлось народовольчество, и вновь возникшим, которое представляло наше, марксистское.

Но, разделяя отчасти последнее, Зунд, задолго до Бернштейна и других ревизионистов, еще в самом начале девяностых годов, стал вносить в него «поправки» совершенно оппортунистического характера. К этому я относился вполне

терпимо, так как никакого — ни теоретического, ни практического — ущерба не видел в производимой им в беседах со мною на Каре «критике» Маркса. Он просил меня, чтобы я в своих письмах к заграничным товарищам — к П. Б. Аксельроду, В. И. Засулич и Г. В. Плеханову — сообщил о его «поправках», что я исполнил. Забегая много вперед, скажу здесь, что Зунд и в дальнейшем остался приверженцем правого крыла германской социал-демократической партии и всегда критиковал тактику и воззрения левых, ортодоксальных марксистов.

Немногое могу прибавить о нашей совместной жизни в «вольной команде», также длившейся пять - шесть лет. По-прежнему, вечно не покладая рук, Зунд работал за двоих, исполняя всякие хозяйственные, сопряженные с физическим трудом, функции. Между прочим, уступив, наконец, настояниям товарищей, он согласился быть нашим артельным старостой, которым неизменно оставался в течение нескольких лет. Исполнял он эту сложную и тяжелую функцию, как и все, за что брался, наилучшим образом, вкладывая в нее всю душу и старался, поскольку это от него зависело, улучшить и облегчить условия нашей жизни.

XI.

В середине девяностых годов, в течение короткого промежутка времени, было вновь об'явлено один вслед за другим два манифеста: по случаю бракосочетания и коронации нового царя. На этот раз Зунд также не был из'ят из них, и срок его был сокращен до двадцати лет. Поэтому, ввиду полагавшихся по закону скидок, он должен был уйти на поселение в 1898 г. Таким образом, проведши в сложности в заключении и в вольной команде девятнадцать лет, Зунд, наконец, очутился на поселении в Забайкальской области.

Ему разрешено было остаться в городе Чите, куда и мне, жившему на ст. Сретенск, однажды удалось приехать и свидеться с ним. Но никакой разницы в его образе жизни я не нашел во время его пребывания на поселении: вечный труженик, предпочитавший физическую работу интеллигентской профессии, он, будучи в областном городе, не стре-

мился, как другие товарищи, занять какую-нибудь привилегированную службу при строившейся тогда в Забайкальской области дороге. Одно время он служил на каком-то участке в качестве дорожного десятника, жил вместе с рабочими в наскоро сколоченной хибарке и пр. Затем, в Чите, он подрядился доставлять воду на вокзал, для чего обзавелся своей лошадью, телегой и бочкой. На этом занятии застала его война с Японией и революция 1905 г.

Об'явленная тогда всеобщая амнистия доставила Зунду, в числе других, после 26 лет, проведенных в тюрьмах и на поселении, возможность вернуться на родину, чтобы увидеть «обновленную страну».

Пережив в Сибири «митинговый период», железнодорожную стачку и карательные экспедиции, Зунд благополучно добрался в 1906 г. до Петербурга, где я в то время находился, занимая большой номер в Петропавловской крепости. Мы поэтому тогда не могли свидеться. Но год спустя, во время с'езда нашей партии в Лондоне, мы, после семилетней разлуки, вновь встретились. Приехав в Лондон в 1907 г., он навсегда поселился там.

Нужно ли прибавить, что и в Лондоне я нашел Зунда мало изменившимся, — только сильно поседел мой старый друг. Он и там вел прежний образ жизни, неизменно сам готовил себе на несколько дней одно какое-нибудь блюдо, приходил решительно каждому на помощь и пользовался общей любовью и уважением.

Осенью 1916 г., на обратном пути из Нью-Иорка в Зап. Европу, я очутился в Лондоне, где снова в течение пяти месяцев почти ежедневно видался с Зундом. Он занимал все ту же комнату в семье рабочего и вел обычный образ жизни, — в этом отношении протекшее десятилетие не внесло ни малейших изменений.

Разразившаяся в России февральская революция вызвала у него, впервые за долгие годы пребывания в Англии, желание вернуться в Россию, но все тот же чрезмерный альтруизм, который ему был присущ,—предоставление другим преимуществ, — помешал осуществлению этого желания.

Ввиду страстного желания огромного числа наших эмигрантов, проживавших в разных заграничных странах, вернуться поскорее в Россию, приходилось соблюдать очередь, так как по случаю подводной войны, предпринятой немцами, из Англии лишь раз в неделю уходили с чрезвычайными предосторожностями крохотные военные пароходы. Выбранный единогласно в созданную комиссию для распределения очередей желавших вернуться, Зунделевич и в этой функции проявлял обычные черты: полное беспристрастие, аккуратность, неутомимость. Свой от'езд он поэтому откладывал до того момента, когда решительно все жаждавшие вернуться уедут. Таким образом его возвращение затянулось на бесконечное время, а затем у него совсем прошла охота сделать это, и он по-прежнему остался на той же квартире.

Смерть постигла Зунда во время его обычных хлопот по делам ближних. Вот как проживающий в Лондоне брат его, Илья Исаакович, описал мне обстоятельства, сопровождавшие его кончину.

«Умер брат скоропостижно, в четверг 30 августа, за несколько минут до или после полуночи, у меня на квартире. В эти дни я был дома один. В злополучный четверг, около половины десятого вечера, пришел Аарон. Сел, стали беседовать. Он курил свои обычные самокрутки. Он всегда в последнее время — можно сказать в последние $1\frac{1}{2}$ — 2 года — сильно кашлял, особенно сильно раскашливаясь своей так называемой «папироской», состоявшей из бумаги и щепотки дешевенького табаку. Это курево так явно раздражало его дыхательные пути и вызывало кашель, что невольно, бывало, делаешь по этому поводу замечание, которое его только раздражало. В этот вечер он кашлял особенно сильно. Я спросил его: «Ты что так сильно кашляешь? Простудился?»—«Да,—ответил он,— вчерашний вечер на меня плохо повлиял». А накануне была ужасная погода: дождь, вихрь, холод,—и он, по обыкновению, ходил по городу по каким-то делам.

«До этого вечера в четверг я был с ним вместе на вокзале. Во вторник до полудня он выглядел, как всегда, был бодр, шутил. В среду я его не видел.

«Я привык к его простудам, которые он переносил на-ходу, не обращая на них внимания. Я и теперь

не придал ей значения. Мы напились чаю, побеседовали, по обыкновению поспорили о чем-то. Часам к одиннадцати я заметил, что он дышит труднее обыкновенного. Я ему стал говорить, что необходимо все-таки повидать врача; что он более или менее прав, утверждая, что врач не излечит его от кашля, но даст что-нибудь, что его облегчит. Он всегда эти замечания считал вздорными; так он отнесся к моим словам и теперь. Он собрался уходить. Я стал уговаривать его остаться на ночь у меня. Он категорически отказался, сказав, что лучше себя чувствует в своей кровати. Он поднялся, одел пальто. Я пошел с ним проводить его до трамвая, куда ходьбы минуты две. Видя, что дыхание у него становится хуже, я ему сказал, что его одного не отпущу, что поеду с ним. Мы ждем трамвая, но я вижу, что ему становится хуже. Ему трудно держаться на ногах, он присел на тумбу. Тут я опять стал говорить, что нелепо уезжать, когда он может переночевать у меня. «Ну, ладно,—сказал он,—пойдем обратно». Мы пошли обратно. Шел он с трудом. Минуты через 4—5 мы были дома. В сенях он остановился, просил снести ему стул. Он сел. Дыхание у него было очень затруднительное. «Такой гадости у меня еще никогда не было»,—заметил он. Я пошел наверх, приготовил кровать, помог ему подняться. Он стал раздеваться. Я принес воды. Я ему сказал, что пойду искать врача. «Попробуй,—сказал он,—только едва ли найдешь». Это были последние слова, которые я слышал от него.

«Я был один и хотя я не думал, что развязка так близка, все же видел, что нужен врач. Пришлось оставить его одного. Из ближайшей телефонной будки я стал звонить знакомым врачам. Телефон ночью действует плохо; отовсюду отвечают лишь после долгих ожиданий, которые мне казались вечностью. Из врачей никого не оказалось дома. Пришлось итти назад домой. Я отсутствовал минут 30—35 или 40—тоже не знаю. Когда я зашел в комнату, я нашел Аарона мертвым.

«На столе возле кровати лежала на половину свернутая папироса. Лицо было глубоко спокойно, как у

уснувшего. Пульса не было. Я стал его звать, растирать ему грудь, руки, конечно, бесполезно. Приехавший поздно врач мог только констатировать смерть.

«Так как Аарон до того ни у кого не лечился и умер скоропостижно в отсутствии врача, то было судебное дознание и вскрытие. Нашли жировое перерождение сердца в очень развитой форме и воспаленное состояние легких. Последнее было, вероятно, результатом простуды, схваченной накануне.

«Врач, производивший вскрытие, заявил на дознании, что никакая медицинская помощь, во-время поданная, не спасла бы Аарона.

«Я, Фанни Степняк и некоторые друзья смотрели на него, в течение полутора суток лежавшего на постели, и не верили глазам своим. Такое было ясное спокойствие на лице, так сохранились его черты, его обычное спокойное выражение, что, казалось, он дышит, спит, вот-вот проснется, поднимется и заговорит. Но он не просыпался.

«Похороны состоялись 4 сентября в крематории. Собралась разная публика. Были произнесены краткие речи. Урну с пеплом поместили в нишу в одном из помещений (колумбериев) при крематории.

«Последние дни жизни Аарона ничем не отличались от других дней его жизни здесь. В последний день он чувствовал себя плохо: хотел поехать посмотреть коттэдж, который Фанни сняла для себя и сестры, подошел к трамваю, чтобы отправиться на вокзал, но почувствовал сильную боль в груди и должен был вернуться домой. Полежал пару часов, и прошло. В тот же день около 5 часов его видел его приятель студент-медик в одной конторе в городе, куда он пришел хлопотать об изыскании средств для этого же студента. Последнему не понравился вид Аарона, и он ему это высказал. «Покажите ваш пульс»,—сказал студент. Аарон, обыкновенно, в таких случаях отшучивавшийся и пускавший колкости по адресу медицины, на этот раз дал ему пощупать пульс, который тот едва смог нащупать. Ему было ясно, что состояние Аарона нехорошее. Аарон не согласился отправиться отдохнуть, го-

воря, что у него много очередных работ. Что-нибудь еще сделать было невозможно, ввиду большого упрямства, которое Аарон проявлял в таких случаях.

«Ну, вот, так все и кончилось. *И. З.*»

В заключение замечу следующее.

В своем романе «Андрей Кожухов» Степняк под именем Давида несомненно желал изобразить Зунделевича. Но хотя он относился с явной симпатией к этому лицу и кое-какие черты заимствовал у Зунделевича, все же Давид мало напоминает действительного «Мойшу». Не говоря уже про то, что Степняк представил Давида человеком очень односторонним, он к тому же изобразил его пламенным еврейским патриотом; «Мойша» же не был ни тем, ни другим: как можно заключить даже из моего беглого очерка жизни и деятельности Зунделевича, это очень сложный, от природы богато одаренный человек. К сожалению, проклятые русские условия не дали возможности развернуться крупным и разнообразным его дарованиям.

Из двух типов, на которые можно разделить большинство людей — честолюбцев, думающих главным образом о себе, и альтруистов, живущих для других,—Зунделевича следует, конечно, отнести к последним.

Немало подобных Зунделевичу людей «не от мира сего» находилось среди революционеров, но из них одним из наиболее ярких являлся А. Зунделевич, лишь очень слабый, к сожалению, образ которого мне удалось дать здесь.

Л. ДЕЙЧ И В. ЗАСУЛИЧ

ПИСЬМО ПЛЕХАНОВЫМ

В предисловии, предпосланном мною помещенным в Сборнике № 1 письмам Фр. Энгельса к В. И. Засулич, я заявил, что впервые, по предложению Г. В. Плеханова, Вера Ивановна обратилась к Марксу с просьбой написать предисловие к переведенному Плехановым на русский язык «Манифесту Коммунистической партии» и что вместо Маркса, ввиду его болезни, ей ответил Энгельс. Оказывается, память мне изменила: из недавно присланного мне из Парижа Розалией Марковной Плехановой, помещаемого ниже, моего письма (от 10 февраля 1881 г.), найденного ею среди неразобранных раньше бумаг покойного Г. В., явствует, что В. И. Засулич сперва по нашему предложению обратилась к Марксу не с просьбой написать предисловие, а — брошюру или письмо о судьбе русской общины. Вместе с копией нашего с Верой Ивановной письма к Плехановым Розалия Марковна прислала также мне и копию со сделанной мною тогда копии письма Маркса.

Я до того основательно забыл как об этом письме Маркса, так и о своем уведомлении о его получении Плехановых, что на вопрос некоторых лиц, был ли получен Верой Ивановной ответ от Маркса на ее обращение к нему, отвечал отрицательно. Прочитав полученную от Розалии Марковны копию давнего своего письма к ней и к Г. В., я понял причину этой ошибки памяти: как увидит читатель из его содержания, вслед за сообщением мною Плехановым о получении нами письма Маркса — но до его отсылки им, — произошло сильно поразившее всю нашу политическую эмиграцию в Женеве дело 1 марта. Под влиянием этого крупного события, такой факт, как получение ответа от Маркса, отошел на задний план, а потому он совершенно улетучился из моей памяти. Но, как это часто случается, теперь, по прочтении своего тогдашнего письма, в моей памяти вновь воскресли все обстоятельства, сопровождавшие обращение Веры Ивановны к Марксу.

В декабрьской книжке «Отечественных Записок» за 1880 г. (а может быть, в январской за 1881 г.) была помещена первая статья ставшего вскоре затем известным В. В. (В. П. Воронцова) под заглавием «Судьбы капитализма в России», в которой он доказывал, что для последнего нет у нас почвы. По прочтении ее нами — Кравчинским, Стефановичем, Верой Ивановной, мною и нашими друзьями, польскими социалистами С. Дикштейном и Л. Варынским, — у нас завязался горячий спор, во время которого первые двое соглашались с В. В., мы же с Верой Ивановной не соглашались со многими доводами, а двое последних решительно опровергали все его доказательства.

Так как мы, понятно, ни до чего не доспорились, то кому-то пришло на мысль обратиться за раз'яснениями этого вопроса к Марксу, что мы и попросили сделать Веру Ивановну и на что, не без колебаний, она согласилась. Это письмо ее, добытое Д. Б. Рязановым, недавно им опубликовано в «Архиве Маркса и Энгельса» вместе с несколькими вариантами его ответа ей. Хотя письмо Маркса, таким образом, уже дважды появилось в печати, тем не менее, считаю нелишним привести его еще и в нашем Сборнике. Но предварительно приведу письмо В. Ив. Плехановым, в редакции которого я также участвовал.

Л. Д.

[Женева], 10 марта 1881 г.

Любезные друзья! Хотя вы, по обыкновению, не отвечаете на мое письмо, но я «великодушен», как вы, Жорж, выражаетесь, и пишу, не дожидаясь вашего ответа, не за тем, чтобы «пристыдить вас», а вот по какому поводу.

Недели три тому назад мы задумали, чтобы Вера обратилась к Марксу с письмом, в котором бы спросила его: какова судьба русской общины, должна ли она распасться и проч., и просила бы его написать специальную брошюру по этому поводу, которую мы издадим. Сегодня получился его ответ: брошюру он уже пишет для «Петерб. Испол. Ком.», так как [последний] его уже просил об этом же несколько месяцев тому назад. Чтобы вы не усомнились в верности слов Маркса в ответ на вопрос Веры, списываю вам [письмо] слово в слово: не слыхали ли, что произошло дальше с этим «Appel. Rev. Soc.», — выпустили ли они его? Хорошо, кабы нет. [Евгений.]

Получено ваше письмо. Про сочувствие «Rev. Sociale» я и сама чувствую, что ошибка... Ирландию я не брошу,

но жаль. Еще не знаю, какую другую работу придумать. Как здоровье Поляк? Всех целую. Ваша Вера.

Евгений [1]) говорит: неужели я ничего не чувствую относительно вашего письма, что оно нежное? Я чувствую, но отвечать предоставляю ему, ибо он известен уже своей «душой» [2]). В.

17 марта [5-го по стар. ст.].

Милые друзья! Как видите, письмо это начато еще до получения вашего нежного письма и пролежало до сих пор, во 1) потому, что сюда приехал Александр Хот[инский] и мы первый день все болтали с ним, а во-вторых, — убийство Александра II. Последнее обстоятельство нас всех все же обрадовало, хотя мы трое (Дм[итро], Ал[ександр] и я) чувствовали какое-то удручающее и подавленное состояние, почему нам было не до веселья, но за то вся здешняя эмиграция страшно ликовала и пьянствовала, напр., Дик[штейн] был невозможно пьян. Очень бы хотелось с вами, друзья, быть в это время: потолковать с вами, узнать ваши взгляды и впечатления после этого, действительно, грандиозного события. Что-то теперь в России, и что-то будет?

Напишите, как и что вы испытали после этого факта. Это обстоятельство еще более повредит социалистическому направлению в России, если еще возможно повредить ему: все и вся будет теперь за террор. Как хорошо было бы двинуться в Россию организованной группой из 6 — 8 человек старых, спевшихся радикалов. Пишу вам мало и отрывочно, потому что все еще не вошел в колею и у нас сидит публика (Ал[ександр], Лиза) [3]). Целую всех вас .Пишите же подробно обо всем: об убийстве и о заявлении Маркса. Евгений.

Дмитро [4]) говорит, что очень тронут вашим нежным письмом и на-днях напишет вам подробно. Тоже и Александр.

---

[1]) Мой псевдоним. *Л. Д.*

[2]) В одном из своих очерков я уже сообщил, что вследствие заявления Г. В., будто у него нет времени для проявления сочувствия к страждущим, я говорил, что у него нет «души», а один лишь пар; отсюда и взялось, что у меня, наоборот, есть «душа».

[3]) Елизавета Мощенко, урожд. Хотинская, сестра Александра (кличка «Маленькая Лиза») примыкала к «Черному Переделу», а затем к группе «Освобожд. Труда». *Л. Д.*

[4]) Як. Стефанович.

В. ЗАСУЛИЧ И К. МАРКС

ПИСЬМО К МАРКСУ И ЕГО ОТВЕТ [1]

(ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО)

В. ЗАСУЛИЧ—К. МАРКСУ

16 февраля 1881 г.
Женева, Rue de Lausanne, № 49.
Польская типография.

Уважаемый Гражданин!

Вам небезызвестно, что Ваш «Капитал» пользуется большой популярностью в России. Несмотря на конфискацию издания, небольшое количество оставшихся экземпляров читается и перечитывается массой более или менее образованных людей нашей страны; есть и серьезные люди, изучающие его. Но чего Вы, вероятно, не знаете — это то, какую роль играет Ваш «Капитал» в наших спорах об аграрном вопросе в России и о нашей сельской общине. Вы знаете лучше кого бы то ни было, какое огромное значение имеет этот вопрос в России. Вы знаете, что думал о нем Чернышевский. Наша передовая литература, как, напр., «Отечественные Записки», продолжает развивать его идеи. Но этот

---

[1]) Подлинник письма Маркса в то время, вероятно, случайно попал в руки П. Б. Аксельрода, и недавно редакторы его архива почему-то сочли себя в праве напечатать его в I томе «Из архива П. Б. Аксельрода» (Берлин, «Рус. Рев. Архив»). Странное отношение к чужим документам.

8 Mars, 1881
41, Maitland Park Road, London. N.W.

Chère citoyenne,

Une maladie de nerfs qui m'attaque périodiquement depuis les dernières dix ans, m'a empêché de répondre plus tôt à votre lettre du 16 février. Je regrette de ne pas pouvoir vous donner un exposé succinct et destiné à la publicité de la question que vous m'avez fait l'honneur de me proposer. Il y a des mois que j'ai déjà promis un travail sur le même sujet au Comité de St. Pétersbourg. Cependant j'espère que quelques lignes suffiront de ne vous laisser aucun doute sur le malentendu à l'égard de ma soi-disant théorie.

En analysant la genèse de la production capitaliste, j'ai dit:

„Au fond du système capitaliste il y a donc la séparation radicale du producteur „d'avec les moyens de production... la base de toute cette évolution c'est l'expropriation des cultivateurs. Elle ne s'est encore accomplie d'une manière „radicale qu'en Angleterre... Mais tous les autres pays de l'Europe occidentale „parcourent le même mouvement." („Le Capital", édit. franç. p. 315)

La „fatalité historique" de ce mouvement est donc expressément restreinte aux pays de l'Europe occidentale. Le pourquoi de cette restriction est indiqué dans ce passage du ch. XXXII:

„La propriété privée, fondée sur le travail personnel... va être supplantée par „la propriété privée capitaliste, fondée sur l'exploitation du travail d'autrui, sur le salariat." (l.c. p. 340)

Dans ce mouvement occidental il s'agit donc de la transformation d'une forme de propriété privée en une autre forme de propriété privée. Chez les paysans russes on aurait au contraire à transformer leur propriété commune en propriété privée.

L'analyse donnée dans le „Capital" n'offre donc de raisons ni pour ni contre la vitalité de la commune rurale, mais l'étude spéciale que j'en ai faite, et dont j'ai cherché les matériaux dans les sources originales, m'a convaincu que cette commune est le point d'appui de la régénération sociale en Russie, mais afin qu'elle puisse fonctionner comme tel, il faudrait d'abord éliminer les influences délétères qui l'assaillent de tous les côtés et ensuite lui assurer les conditions normales d'un développement spontané.

J'ai l'honneur, chère citoyenne
d'être votre tout dévoué

Karl Marx

вопрос есть, по-моему, вопрос жизни и смерти, особенно для нашей социалистической партии. От той или другой точки зрения на этот вопрос зависит даже личная судьба наших социалистов-революционеров.

Одно из двух: либо эта сельская община, освобожденная от чрезмерных требований фиска, выплат помещикам и полицейского произвола, способна развиваться в социалистическом направлении, т.-е. постепенно организовывать свое производство и свое распределение продуктов на коллективистских началах. В этом случае социалист-революционер обязан посвятить все свои силы освобождению общины и ее развитию.

Если же, наоборот, община обречена на гибель, тогда социалисту, как таковому, остается лишь заниматься более или менее обоснованными вычислениями, чтобы определить, через сколько десятков лет земля русского крестьянина перейдет в руки буржуазии, через сколько сотен лет, быть может, капитализм достигнет в России такого развития, как в Западной Европе. Тогда им придется вести пропаганду только среди городских рабочих, которые постоянно будут затопляться массой крестьян, выбрасываемых разлагающейся общиной на улицы больших городов в поисках заработка.

В последнее время мы часто слышим мнение, что сельская община является архаической формой, которую история, научный социализм, — словом, все, что есть наиболее бесспорного, обрекают на гибель. Люди, проповедующие это, называют себя Вашими учениками par excellence: «марксистами». Их самым сильным аргументом часто является: «Так говорит Маркс».

— Но какими путями выводите вы это из его «Капитала»? Он в нем не разбирает аграрного вопроса и не говорит о России, — возражают им.

— Он бы сказал это, если бы говорил о нашей стране, — отвечают Ваши ученики, — быть может, несколько слишком смело.

Вы поймете, поэтому, Гражданин, в какой мере нас интересует Ваше мнение по этому вопросу и какую большую услугу Вы оказали бы нам, изложив Ваши мысли о возможных судьбах нашей сельской общины и о теории исторической необходимости для всех стран света пройти все фазы капиталистического производства.

Позволяю себе просить Вас, Гражданин, от имени моих товарищей, соблаговолить оказать нам эту услугу.

Если время не позволяет Вам изложить эти мысли более или менее подробно, благоволите сделать это, по крайней мере, в форме письма, которое разрешите мне перевести и опубликовать в России.

Примите, Гражданин, мой почтительный привет.

Вера Засулич.

Мой адрес: Польская типография,
Rue de Lausanne, № 49. Женева.

КАРЛ МАРКС — ВЕРЕ ЗАСУЛИЧ

8 марта 1881 г.

Дорогая гражданка [1]).

Нервное страдание, периодически посещающее меня в течение последних десяти лет, помешало мне ответить раньше на Ваше письмо от 16 февраля. К сожалению, я не могу дать Вам сжатого и предназначенного для печати раз'яснения вопроса, который Вам угодно было поставить мне. Уже несколько месяцев тому назад я обещал работу по этому же предмету С.-Петербургскому Комитету. Но я надеюсь, что несколько строк будет достаточно, чтобы у Вас не осталось никаких сомнений в наличии недоразумения относительно моей так называемой теории. Исследуя происхождение капиталистического производства, я говорю: «Итак, в основе капиталистической системы лежит коренное отделение производителя от орудий производства... Основа же всего этого развития — *экспроприация земледельцев.* Пока она завершилась в полной мере лишь в Англии. Но *все другие страны Западной Европы совершают тот же путь*» («Капитал», французское изд., стр. 315).

Таким образом «историческая неизбежность» этого пути умышленно ограничена *странами Западной Европы*. Осно-

[1]) Кроме этого ответа, Маркс набросал предварительно несколько черновиков, напечатанных в «Архиве Маркса и Энгельса», № 1.

вания такого ограничения указаны в следующем месте гл. XXXII: «Частная собственность, опирающаяся на личный труд... вытесняется частной капиталистической собственностью, опирающейся на эксплоатацию чужого труда, на систему заработной платы» (стр. 340).

Итак, на этом пути, свойственном Западу, дело идет *о превращении одного вида частной собственности в другой вид частной собственности*. У русских крестьян, наоборот, дело шло бы *о превращении их общинной собственности в частную собственность*.

Поэтому исследование, произведенное в «Капитале», не дает доводов ни за, ни против жизненности деревенской общины, но произведенное мною специальное изучение этого вопроса, для которого я брал материалы из первоисточника, привело меня к убеждению, что эта община является точкой опоры социального возрождения в России; но для того, чтобы она могла играть эту роль, нужно было бы сперва устранить пагубные влияния, давящие ее со всех сторон, и затем обеспечить ей нормальные условия свободного развития.

Имею честь, дорогая гражданка, пребывать преданным Вам

Карл Маркс.

ПИСЬМО Я. СТЕФАНОВИЧА ПЛЕХАНОВУ [1])

(летом 1883 или 1884 г.г.)

Дорогой Жорж!

Не знаю, как и выразить вам удовольствие, доставленное мне вашим письмом. Оно, точно по волшебному мановению, перенесло меня в ваши края, в родной мне круг. Я слушал вашу острую речь, споры с Жуком [2]), веселую козери с Евгением [3]), припоминал наши ночные беседы в Мюльерах [4]), — словом, все то, о чем теперь так дороги воспоминания. Вы заставили меня от души посмеяться, что со мной не случалось давно. Одно скверно в моем положении: после таких минут полного забвения действительности наступает горькое чувство сознания безвозвратности прошедшего... Я и сам настояще не могу вам сказать, верю ли, или ней, что мы еще свидимся на свободе. Подчас овладевает какой-то пароксизм надежд, и тогда hoffen und harren macht mich zum Narren [5]). Но это не более, чем психика, гашиш, к которому я разрешаю иногда прибегать истощенной отсутствием всяких впечатлений душе. Обычное мое

---

[1]) Оно явилось ответом (вероятно, летом 1883 или 1884 г.г., из тюрьмы) на очень сердечное и вместе остроумное письмо Г. В., отправленное им Стефановичу, вероятно, после разрыва с народовольцами.

[2]) Ник. Ив. Жуковский, старый эмигрант, быв. друг Бакунина. (См. о нем мою брошюру: «Рус. револ. эмиграция».)

[3]) Л. Г. Дейч.

[4]) Французская деревня под Парижем, где перед от'ездом в Россию Стефанович в последний раз виделся с Плехановым.

[5]) «Надежды и ожидания делают меня глупым».

настроение — скептицизм. Не то чтобы я не верил в лучшие времена: le progrès suit invariablement sa marche ascendante malgré tout [1]). Но заключение вообще не человеческая стихия, а моя менее, чем чья бы то ни было. Надеюсь, что в скором будущем условия изменятся несколько благоприятнее. Превеликое вам спасибо, что сохраняете обо мне хорошую память. Жаль мне, знаете, что не удалось увенчаться успехом моим хлопотам по части заграничной литературы [2]). Досадно, что на-ряду с органами «неистовой глупости» и «хитрого либерализма» не существует выразителя более близких нашему сердцу мнений [3]). Но я успокаиваю себя мыслью, что вас всех это не меньше меня заботит. Итак, вы занимаетесь «отделкой под орех» [4]): в самом деле, предметы достойны того, чтобы над ними потрудиться. Там у вас они невольно станут об'ективнее, чем это было возможно в пылу борьбы [5]). Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить вас непосредственно за Нибура. Поклонитесь от меня Петру Лавровичу. Сердечно желаю осуществления его сердечным планам [6]), они, конечно, столь же его, сколько и ваши. Спасибо же вам за письмо. Целую вас и Розу и вашу дочку, теперь уже большую. Ваш Дмитро [Стефанович].

---

[1]) «Прогресс идет неизменно вперед, не смотря ни на что».

[2]) Соединившись с народовольцами, Стефанович начал агитировать за напечатание за границей пропагандистской литературы; в частности, ему принадлежала инициатива основания там журнала «Вестник Нар. Воли», но, когда он был арестован (в февр. 1882 г.), последний еще не был создан, о чем он здесь и выражает сожаление.

[3]) Стефанович, очевидно, отвечает так на отзыв Г. В. о выходивших в Женеве летом и осенью 1882 г. произведениях, с одной стороны, «либерального» «Вольного Слова», впоследствии оказавшегося органом черносотенной «Священной Дружины», а с другой — архи-анархической газеты «Правды», которую редактировал провокатор Климов.

[4]) Думаю, что это выражение Г. В. употребил, имея в виду свою брошюру «Социализм и полит. борьба», но возможно, что и «Наши разногласия»; в последнем случае это письмо должно относиться к 1884 г.

[5]) Стефанович, несомненно, говорит здесь об эмигрировавших за границу М. Н. Ошаниной, Л. Тихомирове с женой и других народовольцах.

[6]) По всей вероятности, Стефанович еще не знал, что тогда Г. В. уже разошелся с Лавровым, а потому общих литературных планов у них уже не было.

Л. ДЕЙЧ

ПИСЬМА К В. И. ЗАСУЛИЧ И ОСТАЛЬНЫМ ЧЛЕНАМ ГРУППЫ «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА»

(из тюрем, каторги и ссылки от 1884 по 1893 г.г.).

Официальная моя переписка из разных мест заключения с моими друзьями — В. И. Засулич, П. Б. Аксельродом и Г. В. Плехановым — возникла таким образом:

Когда я летом 1884 г., будучи выдан германским правительством, находился в Петропавловской крепости, мне однажды было передано смотрителем письмо от В. И. Засулич, адресованное еще во Фрейбургскую тюрьму и пересланное оттуда в Петербург. На нем были печати и подписи разных лиц и учреждений — директора департамента полиции, прокурора судебной палаты, коменданта крепости, — через руки которых оно прошло. По прочтении его мною, у меня его, конечно, отобрали. Когда же после перевода меня в Дом Предварительного Заключения министр юстиции Набоков, при посещении этой тюрьмы, спросил меня, не имею ли чего заявить, я спросил, могу ли ответить на письмо «моей замужней сестры, живущей в Цюрихе», на что я получил утвердительный ответ. Написав письмо своим друзьям, я выставил на конверте улицу и номер дома, где жил Аксельрод, но, опустив его фамилию, ограничился одним его именем по-немецки — «Herrn Paul»: выходило, будто моя сестра замужем за «г-м Паулем». Ответом на мое письмо были три письма: от Веры Ивановны, Георгия Валентиновича и Павла Борисовича, в одном конверте, полученные мною уже после суда надо мною в Одессе.

Сохранив у себя эти письма, ввиду имевшихся на них штемпелей и подписей разных должностных лиц и учреждений, я затем всюду, при случае, ссылался на разрешение, данное мне самим министром юстиции, а также,

мол, директором департамента полиции и т. п. важными особами, доказательством чего служили штемпеля, печати и подписи этих лиц.

Этого моего права никто нигде не оспаривал: даже подлая ищейка, карийский комендант Николин, увидев на привезенных мною письмах разрешение директора департамента полиции и подобных лиц, — не отыскал повода придраться и разрешил иметь эти письма при себе. Поэтому все время пребывания на Каре, затем в вольной команде и на поселении, вплоть до моего побега из Сибири в 1901 г., не прекращалась моя переписка с членами группы «Освобождение Труда».

К сожалению, не все мои письма к друзьям сохранились в архиве Плеханова, где я их нашел в 1922 г. в Париже. В них, хотя и с большими пропусками, имелись небезынтересные сообщения и иллюстрации моей и моих друзей жизни за семнадцатилетний период нашей разлуки, но пока, к сожалению, у меня в руках находятся лишь письма за первые 9 лет, да и то, повторяю, далеко не все.

Еще в большей степени досадно и огорчительно, что письма этих друзей ко мне за весь долгий период разлуки с ними я сам уничтожил, сжегши их (также огромное количество других документов и рукописей) накануне своего побега из Благовещенска, вследствие боязни взять весь этот богатый архив с собою, а также и оставить его у когонибудь на хранение, чтобы не дать посторонним лицам возможности рыться в частной корреспонденции. Это была преступная несообразительность с моей стороны, которой я не могу себе простить: я сам истребил драгоценнейшие материалы! Но ничего не поделаешь теперь...

Нижеследующие письма по времени являются продолжением моих к П. Б. Аксельроду, помещенных в первом сборнике.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

1/13 X 1884 г. Одесса.

Дорогая сестра, наконец, после долгих ожиданий, сменявшихся отчаянием (и обратно), получил вчера твое письмо от 25 (13) сен., и то только благодаря прокурору окружного суда. Какое наслаждение и утешение доставили мне эти ваши письма — особенно твое, — ты поймешь по прочтении моего письма. Дело в том, что недели две тому назад

здесь был министр юстиции; на его вопрос, не имею ли чего заявить (я его видел уже летом в Петербурге, — он производит довольно приятное впечатление), я решился попросить его, чтобы меня оставили здесь до весны и не переводили на положение лишенного всех прав, ввиду того, что зимою гораздо труднее свыкнуться с условиями, связанными с этим новым званием. Он, кажется, предложил местным властям исполнить мою просьбу, п[отому] ч[то] меня вслед затем перевели в теплую хорошую камеру, дали постель и все, чего я был до суда лишен. Дней 10 я был на седьмом небе, — испытывал невыразимое наслаждение, ложась спать на соломенном матраце: никогда раньше никакая пружинная постель не доставляла мне такого удовольствия. Я, как и местная администрация, думал, что, значит, меня согласились оставить здесь на зиму (что вообще практикуется). Но, увы, недолго продолжалась мечта: на-днях мне об'явили о предстоящей отправке меня на будущей неделе в Центральную (Московскую) тюрьму для ссыльно-каторжных. Таким образом «комфорт», длившийся две недели, был мне не в пользу, а скорее во вред, так как от этой сравнительно хорошей обстановки (и на две недели ближе к зиме) перейти к кандалам, бритой голове и всему прочему гораздо труднее.

Почти одновременно с этим грустным известием мне об'явлено было еще и другое, а именно, что присланные вами 100 рублей, попавшие как раз в руки военного суда, он определил, — за вычетом 16 р. 40 к. судебных издержек, — остальные 82 р. вручить моим наследникам — родным. Мне, конечно, не было бы жаль этих денег, — да и гораздо большей суммы, если бы они были мною самим приобретены и достались бы в наследство моей семье. Но в том-то и дело, что родные мои навряд ли воспользуются этой ничтожной суммой, так как получение ее, верно, будет сопряжено с массой формальностей и издержек, быть может, превосходящих самое «наследство». Теперь ты поймешь, в каком настроении я был под влиянием этих двух известий и какое утешение доставило мне твое письмо, пришедшее в дни сборов в тяжелый и неприятный путь. Вы сильно ошибаетесь, милый Жорж, допуская предположение, что «каторжная жизнь окажется лучше предварительного заклю-

чения» [1]). Судя по сборам, я уже вижу, что это будет нечто невозможное, — хуже, чем в брошюре «От мертвых» [2]). На мне, не забывайте, соединяются все неудобства, связанные с положением так называемого «государственного» и «уголовного» преступника. К тому же вследствие неполучения ваших 100 рублей, я не могу сделаться «эпикурейцем», как вы советуете, в отношении пищи; наоборот, я должен сожалеть, зачем не в достаточной мере был последователем Диогена, — тогда, быть может, у меня больше уцелело бы на те времена, когда особенно будет нужна копейка, без которой, как говорит Достоевский (в «Записках из Мертвого Дома»), «каторжный не мог прожить и месяца». В этом отношении мое положение хуже, чем всякого другого уголовного (или государственного), так как, не говоря о непривычке ко всяким лишениям, я к тому же лишен возможности какой-нибудь работой или ремеслом улучшать свою пищу. О занятиях высшей математикой смешно и думать: не говоря уже об отсутствии средств на покупку книг, вот так-таки станут давать мне «многотомные» учебники и необходимые принадлежности для занятий (хотя бы, например, лампу в камере, а не свет из коридора). Рад буду, если удастся приобрести учебники по низшей и смогу ею заниматься при предстоящей обстановке (не забывайте, что в Москве теперь день длится каких-нибудь 5 — 6 часов, а также, какой холод предстоит мне выносить). До сих пор я питался довольно сносно (хотя и не так, как следовало бы, если бы слушаться ваших советов), но, к сожалению, теперь, с ухудшением всех других условий, приходится и от улучшенной пищи отказаться, чтобы хватило подольше хоть на чай. От табаку я на-днях отказался. Тяжело очень с ним расставаться, не потому, что это сильная потребность, а — единственное развлечение, удовольствие, единственный, можно сказать, друг для одиночно заключенного. Я, право, думаю, что % сумасшедших был бы значительно больше, если бы секретным арестантам было запрещено курить. Ведь, расхаживая из угла в угол с папиросой, при слабом свете

[1]) Впоследствии оказалось, что ошибся я, а не он, Плеханов.

[2]) Я, вероятно, имел в виду очень популярную тогда брошюру Долгушина «Заживо погребенные», но забыл ее заглавие.

в длиннейшие вечера, не так замечаешь время, как без курения. Жалко мне было также расставаться с подарком Лизы [1]) — портсигаром (я послал его своей сестре Соне), так как у меня его отняли бы или украли, поломали и т. п.

Ужасно жалею, что не получил вашего предыдущего письма [посланного] в Петербург: оно, верно, где-нибудь застряло (настоящее ваше письмо прошло массу инстанций). Не знаю, почему тебе, Павел [2]), вздумалось послать его по адресу председателя суд. пал., когда я просил — на адрес прокурора окружного суда? Жаль, что вы хоть в общих чертах не повторили содержания предыдущего. Да, тебе, дорогая, не везет с большими письмами. Но я и этому ужасно рад: оно писано, очевидно, в сравнительно бодром настроении. Я не сомневаюсь, что одобрил бы твое решение насчет твоего будущего, раз ты обдумала его всесторонне. Очень бы хотел знать, в чем оно состоит? Радует меня твое известие о большой симпатии, установившейся у вас с «Лизенком» [3]) и о прелестном состоянии ее здоровья. Имеет ли она известия от матери маленького Женички, где она и что с нею? Она ведь была с моей сестрой на одном курсе, и, быть может, они в переписке, а то я пишу, пишу моей Соне и не знаю, доходят ли до нее мои письма (теперь она в Купавской волости, какой-то «Чум-Урюпинской Управы» Земли Войска Донского). Здесь я от нее не имел ни одной строчки. Между тем, Соня единственный человек в семье, с которой я мог бы поддерживать переписку, — других сестер я почти совсем не знаю, каковы они. Ей же я послал свои часы и колечко Ани [4]). Ужасно рад, что и она выздоровела. Старайся, дорогая, не совсем забывать ее: она ведь действительно оторвана от мира. А как здоровье Тамары? [5]). Ты о ней никогда не упоминаешь. Боюсь, не заболела ли и она? Меня это очень огорчило бы. Пусть она едет в теплые страны, к Фридриху Карловичу, а то и по-

[1]) Наша, всех членов гр. «Освобожд. Труда», приятельница Елизавета Мощенко (урожден. Хотинская).

[2]) Павел Борисович Аксельрод.

[3]) Все та же Елизавета Мощенко (ур. Хотинская).

[4]) Анна Марков. Розенштейн-Макаревич, она же жена Турати, лидера итальянских оппортунистов.

[5]) «Тамарой» Плеханов как-то прозвал в шутку С. Кравчинского.

дальше. Зачем шутить со здоровьем? Боюсь, не поздни ли мои советы, и мне страшно подумать, что Фанни останется тоже одна-одинешенька [1]). Однако как много я разболтался о прекрасном поле. — Да, дорогой Жорж, не завидна ваша участь: писать брошюру в 10 листов против «настроения» [2]). Но я никогда не посоветовал бы вам такой большой заряд выпустить против такого слабого укрепления: ведь на 10 л. можно изложить полную популяризацию Маркса, что куда полезнее какой бы то ни было «войны с настроением», которое, как таковое, изменчиво, и через 3 — 6 мес. воюющая сторона может об'явить, что она снова изменила свое настроение, что по новому ее настроению — этот фактор не столь существенен. И что же? Ваша участь будет хуже, чем Ланге, который не успевал ответить на I том Дюринга, как выходил II, III и т. д. Хотя вы меня и уверяли в предыдущем письме, что стали практичны, но, к сожалению, вижу, что вы остались таким же идеалистом (странно, а, может быть, именно потому, что вы ярый марксист—вы же и идеалист!). Вы верите в силу какой-то бесконечной, «полной истины», могущей «увлечь». Это столь же возможно, как то, чтобы Павел сделался Ротшильдом [3]), каковового, впрочем, намерения он клянется, что не имеет. Да, жаль, жаль, что такой большой заряд вы выпустите (и так поздно). — А ты, брат, совсем, кажется, забыл о своей работе или только мне не написал? Получил ли ты мое предыдущее письмо, в котором я извещал тебя о суде (о «немилостивости» его, назначившего мне 13 л. и 4 м. каторж. работ, т.-е. самый высший размер, какой только было возможно). — Не знаю, придется ли когда еще писать вам, дорогие друзья, а потому попрощаемся теперь, если не навсегда, то на многие годы. Уцелею ли я, выживу ли

[1]) Здесь я намекал на угрожавшую С. Кравчинскому опасность так же, как и я, быть выданным России. Впоследствии, из дел Деп. Пол. я убедился, что, действительно, об этом делались попытки, но Кравчинский уже до получения этого письма переселился к «Фридриху Карловичу», т.-е. в Лондон, где тогда жил Энгельс.

[2]) Брошюра, о подготовке которой сообщил мне Плеханов, была «Наши разногласия», разросшаяся, как известно, затем в довольно об'емистую книгу.

[3]) Здесь я намекал на начатое тогда Аксельродом вместе с женою, свояченицею и дочерью приготовление кефира для продажи.

13 л. 4 м. кат. раб. — большой вопрос: да это и не может быть желательно. Во всяком случае печальная перспектива дожить до окончания срока, когда будешь расслабленным, одержимым всевозможными болезнями старикашкой. Странно задумываться о 1898 годе. Сколько перемен за это время! Ваши дети будут уже взрослыми людьми; вы все тоже будете клониться к старости. Я иногда стараюсь представить [себе] вас всех в те отдаленные годы. Воображаю, какой смешной старушкой будет Лиза. Тоже и ты, дорогая, поседеешь к тому времени. От всей души, конечно, желаю, чтобы все вы дожили и пережили мой срок каторги [1]). Не надеюсь когда-нибудь кого-нибудь из вас увидеть. А как бы мне хотелось, хотя бы и много лет спустя... Не знаю даже, будут ли достигать до меня какие-нибудь вести о вас, о вольном мире. Старайся, дорогая, давать мне знать о себе хотя бы и изредка. Одновременно с этим письмом посылаю тебе швейцарскую кредитную монету в 50 фр., сохранившуюся у меня еще из-за границы: ни в Петербурге, ни здесь, как справлялся смотритель в банках, не хотят ее менять, — не имеют сношений с Швейцарией. Разменяй ее и в конце этого месяца вышли руб. 25 — 30 (не больше) по следующему адресу: Его Высоблагородию г-ну Смотрителю Московской Центральной Тюрьмы для ссыльно-каторжного (такого-то). Не посылай больше, так как боюсь; чтобы и с этими деньгами не вышло чего: ведь мне не везет во всех отношениях. Напиши при этом небольшое письмецо, в котором извести только о здоровьи своем и других близких мне лиц; не забудь же упомянуть о Тамаре. Право, я опасаюсь, не захворала ли она. Ну, будь же здорова и бодра. Навещай часто Лизенка: ее я часто вспоминаю, как нежно-любимую дорогую сестру. Кроме удовольствия и добра, мне от нее ничего другого не приходилось получать. То же, конечно, могу сказать о всех других моих друзьях, и, право, мне никогда не приходит на память о вас ничего, кроме приятного, хорошего. Мои пожелания каждому из вас в отдельности вы знаете. Ну, простите же все все неприятное,

[1]) Нужно ли об'яснять, что в то время, когда я писал это письмо, у меня было ошибочное, неоправдавшееся впоследствии представление о предстоявших мне ужасах каторжной жизни.

что я когда-нибудь причинил кому из вас. Тяжело расставаться с этим письмом. Тяжело на душе. Всех много-много и крепко целую (случилось так, что я уехал, не простившись почти ни с кем из вас). Ну, будьте же здоровы. Не забывайте меня. Ваш по гроб

Лев.

ПИСЬМО ВТОРОЕ [1])

[Из Моск. Центр Перес. тюрьмы, вероятно, в ноябре 1884 г.]

Дорогая, последнее твое письмо я получил в Одесском тюремном замке почти перед самой отправкой сюда. Оно долго странствовало из инстанции в инстанцию, и я уже отчаявался его получить, так как оно застряло у жандармского полковника, но, благодаря вмешательству прокурора Одесского окр. суда, оно, наконец, было мне вручено. Я ужасно рад, что ты чувствуешь себя, очевидно, сносно и можешь заниматься чтением. Меня также очень радуют сообщенные тобою и товарищами (Жоржем и Павлом) сведения об общем положении дел и о ваших работах [2]). От всей души, конечно, желаю вам всякого успеха. Что сказать тебе о себе? На новом месте чувствую себя очень хорошо;

[1]) Письмо это смазано полуторахлористым железом, — очевидно, «цензор» предположил, что я что-нибудь написал химическими чернилами.— Рукой Аксельрода в левом углу на первой странице написано: «хорошее письмо».

[2]) Хотя с тех пор прошло 40 лет и писем друзей я не сохранил, но ввиду того, что я их по несколько раз перечитывал, многое из них и теперь удержалось в моей памяти. Мои опасения, что после моего ареста, ввиду непрактичности всех оставшихся за границей друзей моих, они не смогут раздобыть средства как на продолжение начатой деятельности, так и для собственного их существования, к счастью, не оправдались. Арест мой и сопряженные с ним хлопоты друзей об освобождении меня вызвали среди эмиграции, в особенности среди учащейся за границей молодежи, большое сочувствие к группе «Освобождение Труда» (на это, между прочим, указывает последнее письмо Плеханова к Лаврову). В некоторых городах Зап. Евр. начали производиться сборы пожертвований на случай, если баденское правительство, как тогда предполагали, согласится выпустить меня на поруки или когда придется устроить побег, для чего проектировалось приобрести свою лошадь с экипажем.

встретил товарищей по дороге в этап (в их числе Ивана Никол. Присецкого, который идет на 3 года в Восточную), а затем все народ новый, неизвестный, молодой, но симпатичный, хороший. Со всеми ними я, конечно, в самых лучших отношениях. К сожалению, внутри тюрьмы, в которой нам приходится провести вместе $1/2$ года, мы отделены и не имеем возможности видеться. Помимо этого неудобства, я здесь не имею никаких причин пока быть недовольным своим положением, так как заключение почти не оставляет ничего желать лучшего. Книги имеются, пища хороша, камеры — также, прогулки и все такое. Ты, конечно, уже знаешь об участи, постигшей посланные тобою 100 рублей: будучи отправлены на адрес суда, они были им употреблены на покрытие судебных издержек, а остаток был вручен моим наследникам. Таким образом у меня имеются только оставшиеся от первой твоей присылки. Пока можешь не посылать мне; но имей всегда наготове русские бумажки, руб. 100—150, и, когда я напишу, то вышли мне; но если ты стеснена теперь в деньгах, то как-нибудь обойдусь (при чем, имей в виду, что без всяких сколько-нибудь значительных лишений) [1]). Не пишу на этот раз много, так как на-днях только (всего 2 дня) привезен сюда и еще не успел осмотреться, ориентироваться в массе новых впечатлений. Пожалуйста, береги свое здоровье. Пиши, что особенно нового. Шлю сердечнейший привет всем друзьям.

Твой брат Лев.

Адрес мой: Его Сиятельству, князю Василию Васильевичу Оболенскому, Большая Кисловка, дом Базилевского для осужденного, содержащегося в Московской Центральной Пересыльной Тюрьме — такого-то.

[1]) Сделанное мною в этом письме описание тюремных удобств было, конечно, чересчур прикрашено, что, вероятно, об'яснялось бывшими у меня пред этим опасениями насчет ожидавших меня, в качестве каторжанина, разных скорпионов: в действительности же, в Моск. Центр. тюрьме пища была отвратительная, камеры в знаменитой Пугачевской башне крохотные, полутемные, прогулки — на дворике, на котором едва можно было повернуться. Все же в общем, ввиду господствовавшей свободы и хорошего отношения к нам администрации, о чем я подробно уже изложил в книге «16 лет в Сибири», зимовка в Бутырках, действительно, была одним из хороших периодов в моей подневольной жизни.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

В конце декабря 1884 г.]

Поздравляю тебя и всех близких с заграничным Новым Годом.

Дорогая, письмо твое от 22 нояб. (4 дек.), так же, как деньги — 30 руб. — я получил очень скоро, но не отвечал потому, что все ждал от тебя ответа на первое мое письмо, посланное отсюда (которого ты, быть может, не получила). Также, вероятно, и ты не получила последнего моего письма из Одессы, большого (в два листа), писанного карандашом. Не знаю также, получила ли ты 50 франков, высланные мною тебе из Одессы? — Я ужасно рад, что ты, как сообщаешь, «чрезвычайно бодра» и что все родные здоровы. Также приятно мне было узнать, что с Аней ты в хороших отношениях. Передай ей от меня сердечнейший привет и всевозможные пожелания. К ней — она это знает — я питал всегда самые братские чувства и навсегда сохраню о ней воспоминание, как об одном из самых близких, любимых мною людей. К сожалению, даже путем самой невероятной фантазии не могу себе представить того момента, когда свижусь с ней [1]), так же, впрочем, как и со всеми дорогими мне. Ну, да бесполезно сокрушаться об этом.

Пока, как я уже писал тебе, я доволен здешней обстановкой. Она во многом напоминает обстановку Дома Предварительного Заключения в Петербурге, — такой же почти величины камеры, такие же койки и пр.; разница лишь та, что здесь нет при тюрьме библиотеки, зато разрешается получать книги из частных библиотек, исключая журналы и газеты. Гулять осужденные (таких пока нас 3) могут вместе до 1½ часов в день; пищу улучшать на свои деньги можем, конечно. Таким образом, как видишь, жаловаться не на что. Грустно только, что не разрешают нам иметь свидания с административными, сидящими в этом же замке, но в отдельном здании. Я, как и Малеванный и Иван Николаевич [1]), идущие на 5 лет в Вост. Сибирь в администр. ссылку, подавали прошения ген.-губернатору о разрешении нам свиданий, но получили отказ. Но наверное разрешили бы видеться с кем-нибудь из родных, если бы они здесь были у меня. Вообще, мое состояние куда лучше, чем было до суда. Не говоря уже о том, что теперь как бы свалилась тяжесть с плеч, — я могу заниматься чтением (что я и делаю), я не изолирован от людей вполне, — есть возможность обмениваться воспоминаниями и впечатлениями; последних, конечно, очень мало, и все они главным образом относятся к прошлому, давно минувшему. Вообще, как здесь, так и по дороге сюда мне пришлось узнать (и испытать) много нового, неожиданного. Отчасти я уже сообщал тебе об удовольствии, доставленном мне совместным путешествием с Малеванным (и другими 6 административными). Разговорам и рассказам не было конца: в продолжение двух суток я буквально не смыкал глаз, и так как собеседники приставали ко мне с просьбами «рассказывать», то, под'езжая к Москве, совсем лишился голоса, — до того охрип. В Киеве все те же почти порядки, что были и в наше время: в тюрьме, почти всегда переполненной нашим братом, заключенные пользуются теми же льготами, власти так же предупредительны и вежливы, молодежь большею частью так же впечатлительна и неопытна. Ты, конечно, читала в газетах о беспорядках в Киевском унив[ерситете] во время 50-летн[его] юбилея и о последнем бывшем там процессе 12-ти, по которому 4 приговорены к каторжным работам. Особенно интересного, что бы стоило описать, я, конечно, не узнал. — Что же у вас нового? Слыхал, что немцы [2]) провели 25 депутатов. Правда ли это? Вообще, ужасно хотелось бы знать, что делается на Западе. Сообщи, насколько можешь. Хотелось бы также получить последние литературные новинки. Кстати, пришли мне некоторые дозволенные у нас произведения французских и немецких классиков (кроме Мольера и Шиллера,

---

[1]) Эта, казавшаяся мне неосуществимой, фантазия сбылась через 20 лет, когда, будучи весной 1905 г. в Милане, я свиделся с ней и с ее мужем — Турати, но с тех пор больше не встречался.

[1]) Присецкий, мой старый знакомый.

[2]) Я, конечно, имел в виду социал-демократов

которые у меня имеются); а также я хотел бы иметь такой альбом, какой, помнишь, я послал Якову [1]). Если не стесняешься в деньгах, то пришли мне также такую же теплую куртку (буржуазку), какую я ему послал, но из более дорогих. Книги и письма высылай на адрес Его Сиятельства, князя Оболенского (Большая Кисловка, дом Базилевского), а теплые вещи на адрес Г-на Смотрителя Московской Центральной Пересыльной Тюрьмы. Пиши же, как вы все поживаете и о каждом в отдельности. Что поделывает Жорж, Роза и их дети? Павел, Надя и их чадо? Лизенку все собираюсь написать особо. Где тетушка Сара [2]) и как она поживает?

А ее родня, несмотря на всевозможные несчастья, постигшие их, все же сравнительно благоденствует и размножается [3]). Нельзя совсем сказать того же о Сауле [4]), который, как говорят, оставил по себе очень дурную память, так как будто бы все его обещания остались невыполненными. — Ну, крепко и много целую тебя и всех близких.

Твой Лев.

Это письмо также подверглось исследованию, нет ли в нем химического текста. Но в следующих уже не видно этого эксперимента, — очевидно, убедились, что я не прибегаю к химии.

---

[1]) Стефановичу.

[2]) Так мы называли в шутку Марью Николаевну Ошанину.

[3]) Под ее родней я, понятно, имел в виду — ее единомышленников, — остатки «Народной Воли». Под «размножением» я имел в виду оживление среди них, вызванное приездом в Россию Германа Лопатина (до его ареста).

[4]) Саулом назывался наш единомышленник, молодой марксист, Гринфест, бывший член минской группы «Черн. Пер.», эмигрировавший в 1881 г. в Швейцарию, — одним из первых приставший к нам, когда мы основали группу «Освоб. Тр.». Это он, отправившись в Россию для агитации в пользу наших взглядов и целей, торопил меня со скорейшей присылкой транспорта с нашими первыми изданиями, на чем я и влопался во Фрейбурге. (Подробнее о нем см. воспоминания И. Гецова в Сборнике № 1.)

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ *)

[1885 г. 26 янв. (6 февр.)].

Позавчера получил твое письмо, дорогая сестра, вчера — теплые вещи, за которые, к крайнему сожалению, пришлось заплатить в таможню 10 руб. золотом, — вероятно, этого сама куртка не стоит; альбома же до сих пор нет. Сообщи, на какой адрес ты его выслала, справься на почте, дошел ли до русской границы? Очень буду огорчен, если он пропал: я его жду с большим нетерпением как приятное воспоминание о любимых местах. Ты, вероятно, сама представляешь себе, какое отрадное впечатление произвели на меня твое (и Павлово) письма: я читал и перечитывал их много раз. Судя по этому письму, ты не в дурном настроении, а это — главное. Жаль все же, что ты мало сообщаешь о своих занятиях и планах. Очень обрадовала меня твоя уверенность, что «никакие беды и опасности не грозят» вам [1]). Из предыдущего твоего письма, в котором ты сообщала, что «стеснена в деньгах», я заключил, что в этом причина медленности появления в печати работ Жоржа и Павла и, вообще, неблестящего положения ваших планов. Я не имею достаточных данных, но мне все же кажется, что мои опасения верны. Ты не сообщаешь, увеличивается ли ваша семья, кроме тех двух особ вашего пола? [2]). Главное же в том, что здесь нет никого из родных [3]) и, по уверению тех, с кем мне здесь пришлось говорить, после неудачного дебюта Финстера [4]), всякого встретят с предубеждением. Сообщи, как тебе кажется, верно ли это? Правда ли, что Саул не исполнил взятых им на себя поручений? Я здесь беседовал с его знакомым, фармацевтом, с которым, как утверждает последний, они сошлись. Передай ему мой привет и всевозможные пожелания. Я, конечно, очень рад сообществу Ив. Ник. [5]). Мы с ним и с Малеванным, которого также на-днях перевели в нашу башню, чаще всего вместе; с последним, — хотя мы и не были знакомы на воле, — мы успели хорошо сойтись еще по дороге сюда из Киева. Он мне очень нравится, — хороший он товарищ. О теоретических разногласиях с ними, как и с другими 10-ю (едино-

---

*) Все выноски в конце этого письма.

мышленниками Павы) [6]) мы очень редко говорим и, вообще, со всеми живем в полном мире и согласии, — парни все симпатичные, неглупые. Не могу, к сожалению, похвастать, чтобы читал много, хотя и хотелось бы, но, после долгого молчания в предварительном заключении и изолированности от людей, у нашего брата является сильная потребность проводить время в «беседах за чаями», — совсем как в доброе старое время. Теперь я и Иван Николаевич читаем «Происхождение семьи и пр.» Моргана, в изложении Фридриха Карловича. Признаться, судя по заглавию и вашим с Павлом отзывам, я ожидал бо́льшего, точнее — не вижу, что в этом «Epochenmachendes», как заявляет Фридрих Карлович. Впрочем, я ее сегодня лишь начал читать. Я не знал, что ты выслала мне в Питер такую массу книг, — ужасно досадно, что их мне не отдали. Уже несколько недель тому назад я писал отсюда директору департамента, прося его распорядиться о высылке мне тех 10-ти, которые Павел послал в 1-ый раз, перечислив названия; но пока ответа не получил. Если можешь припомнить, то сообщи заглавия остальных: я буду еще и еще писать. Решительно не понимаю, почему прокурор Петерб. суд. пал., на адрес которого вы послали, не вручил их прямо мне. Пока не высылай мне больше. Я уже, кажется, писал тебе, что приобрел последнее издание «Капитала», чему несказанно рад. У Ивана Николаевича есть то же самое Родбертуса и — «Zur Beleuchtung», которые я еще не успел прочитать. — Носятся слухи, что на Каре нет (или очень мало) книг. Что об этом пишет Дмитро? И вообще, что он пишет? Прошу Лизу сообщить мне все, что она знает о нем. Я ей писал (уже давно) отсюда; получила ли она то письмо? В нем я описывал ей мою поездку сюда. Фанни [7]) передай, что может не называть меня никак в письме, если только из-за этого она «затрудняется» писать, — письму же ее я был бы очень рад. Как они устроились? Как чувствует она себя среди чопорных англичанок? Надеюсь, Кит [8]) не отплясывал трепака за 80 ф. ст., — да, смешное предложение. — От Сашеньки [9]) получил на-днях письмо с предложением оказывать мне посильную помощь. Хотя я пока решительно ни в чем не нуждаюсь, все же ужасно рад ее готовности. Сомневаюсь, чтобы ей разрешили видеться со мною, что, ко-

нечно, доставило бы мне большое наслаждение. — Ты права, думая, что хорошо сделала, не передав моих «прощальных слов» [10]), я тогда не сообразил, какое это неприятное для тебя поручение и, вообще, для всех вас. Но раз случилось бы так, что все вы помирились бы с теми лицами, то можешь, конечно, передать и мои слова. Не потому, как видишь, я нахожу теперь это поручение неудобным, что «те не поняли бы», а я вас ставлю этим в неловкое положение. Тогда я не сообразил этого, потому что, как знаешь, был сильно расстроен и должен был торопиться с отсылкой письма, но помнил, что в последнее время на воле имел намерение, при известных обстоятельствах, помириться, какового случая, знал, уже более не представится.—Передай (через Фанни) Мих. Петр. [11]), что Малеванный писал ему из Киева и отсюда и удивляется, почему не получает ответа. Он и Иван Николаев. шлют ему поклоны и всякие пожелания. Они очень рады, что он «никого не трогает», и уверены, что и впредь никого не затронет. — Пиши же, дорогая, что делаешь, что читаешь, видаешься ли с людьми, кроме своих? Не могу сообразить, что «случилось, вследствие чего твои отношения с семьей стали гораздо лучше» [12]); но во всяком случае, меня очень радует, что ты «не чувствуешь себя такой одинокой». — Знаешь ли все подробности о моем процессе? Не помню, получила ли ты все мои письма из Одессы? Сообщи, что об этом было в иностр. газетах и, вообще, о моем аресте? [13]).—Кто работает с Рольником? [14]). Как он поживает, — кланяйся ему от меня. Здорова ли Ванда и что поделывает, а также и Андерс? [15]). Где Аня? Здорова ли она, учится ли, виделись ли вы с нею? Пусть она как-нибудь напишет мне хоть немного. Надеюсь, ты передаешь ей, как и другим приятельницам, мои поклоны и пожелания. — Роза [16]), вероятно, снимала детей; если да, пришли их карточки. О ней мы часто говорим с Иван Никол. и постоянно «фалим», как выражался Дмитро. Жоржа тоже, но Ив. Ник. не так усердно, как я. Он просит передать всем вам, в особенности Розе и тебе, всевозможные пожелания и приветствия. То же, я уверен, не забудете и вы, сударыня, сделать. Ну, будь же здорова и бодра, дорогая. Не забудь же ответить на все мои вопросы и передай мои пожелания и сердечные поклоны всем приятелям и приятельницам:

Розе, Лизе, Ане, Фанни, Ванде, Андерс, Вере Сем., Киту, Финстеру, Рольнику, Ивану и др. — Жоржу и Павлу пишу особо.

Дорогие друзья, чувствую сильнейшую потребность, хоть письменно, побеседовать с вами, когда лишен навсегда возможности сделать это устно. Какое удовольствие доставляли мне живые беседы с вами, — вы это сами знаете. Мысленно я и теперь очень часто с вами. Мне живо представляются разные встречи, случаи и всякого рода мелочи из жизни с вами. (К сожалению, не припоминаю всех ваших удачных острот, милый Жорж, но многие и теперь помню.) Предполагаю, что вам подчас бывает очень тоскливо: хочется, вероятно, домой, на родину, еще сильнее, чем в последнее время при мне? Но лучше потерпите, дорогой друг, — еще не наша полоса. Ужасно хотелось бы прочитать вашу книжку [17], но, увы, сомневаюсь, случится ли это когда-нибудь. Судя по сообщениям Веры, вы много над ней работали, изучили много отраслей русской народной жизни. (Кстати, вы, конечно, читали о частых волнениях [18]) в последнее время среди рабочих Московской и др. губерний?) С кем же вы теперь спорите, «политиканствуете»? Читаете ли рефераты? Видитесь ли с геноссами? [19]). Неужели Фридрих Карлович не успел еще приступить к изданию II тома [Капитала] или и он умрет, предоставив третьему старику (Папе Беккеру, напр.), в наследство все рукописи Маркса и свои? Что за медлительные старички! Сообщи, Павел, что знаешь о времени выхода II тома. Очень благодарен тебе за письмо. Об успехах немцев в деталях я не знал. Интересно, сколько, вообще, считается теперь за ними голосов? В скольких тысячах расходится «Соц.-Дем.»? Каково теперь положение их депутатов в рейхстаге? Я слыхал, что он недавно предоставил правительству право арестовывать некоторых, кого же именно? Думаю, что процесс лейпцигских анархистов и убийство Румпфа сильно на них отзывается?—Рад я очень, что ты вылезаешь из бедственного экономического положения. Но мне как-то все не представляется, что ты, Павел, которого я привык видеть вечно нуждающимся, вдруг будешь сыт, одет, обеспечен. От всей души, конечно, желаю тебе блестящих успехов как на финансовом, так и на

ученом поприще. Те же пожелания шлю и вам, Надя. Будьте же счастливы, дорогие друзья! Пишите хоть понемногу. Кланяйся, Павел, Саше и др. цюрихским товарищам.

Обнимаю вас крепко, крепко Ваш *Л. Дейч.*

Что поделывают французы? Гэд и Лафарг? А где Петр Алексеич и Готье? Пишите впредь по следующему адресу: Его Сиятельству, Московскому Вице-Губернатору, Г-ну князю Голицыну, Покровка, в собств. доме, для такого-то.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПИСЬМУ 4

1) Под «бедами и опасностями» мы понимали, с одной стороны, финансовые затруднения для ведения начатых гр. «Осв. Тр.» литературных предприятий, а с другой — вследствие все более надвигавшейся в России реакции, — давление со стороны нашего правительства на Швейцарию по отношению права жительства Плеханова и Веры Ивановны Засулич. Мы знали, что, нажми наше правительство, и эта крохотная демократическая республика повыгоняет нежелательных Александру III эмигрантов. Как известно, спустя 2 — 3 года эти мои опасения оправдались: Веру Ивановну и Георгия Валентиновича, действительно, изгнали из Швейцарии. Также и материальное положение моих друзей, в связи с усиливавшейся в России реакцией, становилось год от году все хуже.

2) Т.-е. прибавилось ли число новых членов *в основную* группу «Осв. Тр.». — Как известно, первоначально нас было пять, и только после моего ареста были включены еще: Анна Макаревич-Турати (урожд. Розенштейн) и Ванда Цезарина Войнаровская.

3) Под родными я подразумевал наших единомышленников.

4) Делегат — Саул, Гринфест.

5) Уже упомянутый мною Присецкий.

6) «Пава» также была данная нами кличка М. Н. Ошаниной; под ее «единомышленниками» я имел в виду народовольцев.

7) Фанни Марковна — жена С. М. Кравчинского (Степняка).

8) Кроме «Тамары», мы называли ещё Степняка «Китом». Что касается «отплясывания трепака», дело состояло в следующем: Вера Ивановна сообщила мне, что, вскоре после переселения Кравчинского в Лондон и быстро приобретенной им там большой популярности, какой-то импрессарио [предприниматель] предложил ему «отплясывать» национальный русский танец в одном театре за плату в 80 ф. ст. за каждое выступление, от чего Кравчинский, конечно, отказался.

9) Сестра Веры Ивановны — Александра Ивановна Успенская, жившая тогда в Москве.

10) Под «прощальными словами» мы понимали данное мною ей в одном из предыдущих писем поручение передать от меня поклоны на прощанье некоторым эмигрантам, с которыми у членов гр. «Осв. Тр.»

установились враждебные отношения (Драгоманов, Ошанина, Тихомиров и др.).

[11]) Мих. Пет. Драгоманов.

[12]) Впоследствии я узнал, в чем была причина. Как я уже сообщил в предыдущем Сборнике, Вера Ивановна была очень недовольна вновь принятой, по предложению Георгия Валентиновича, Вандой Войнаровской. Из-за этого несколько изменились ее с ним отношения. Но спустя короткое время, этот не подходивший во многих отношениях новый член вышел из состава группы «Освоб. Труда». После этого дружеские отношения между Верой Ивановной и Георгием Валентиновичем еще более усилились.

[13]) На это она не ответила.

[14]) Заведывал нашей типографией; он же — Левков (см. о нем в воспоминаниях И. Гецова).

[15]) Андерс или Урсу эмигрировал за границу при содействии Сергея Дегаева, о предательстве которого она ничего не знала. Хотя она разделяла взгляды народовольцев, но согласилась работать в нашей типографии и была с нами в прекрасных отношениях.

[16]) Роза — Розалия Марк. Плеханова.

[17]) Я имел в виду книгу «Наши разногласия», которую вскоре затем мы получили в тюрьме, конечно, нелегально.

[18]) Я, конечно, имел в виду стачки, устроенные Моисеенкой.

[19]) Т.-е. с немецкими социал-демократами.

ПИСЬМО ПЯТОЕ.

8. III. 1885 г. Москва.

Дорогая! Уже почти два месяца, как я ответил тебе на твое последнее письмо; недели 3—4 назад я послал другое, и все же до сих пор от тебя — ни строчки. Решительно не знаю, чем это об'яснить! Прежде я приблизительно раз в месяц получал от тебя по письму. Не думаю, чтобы начальство не пропускало твоих ответов, так как, в таком случае, оно уведомило бы меня, чтобы я напрасно не писал. Неизвестность о тебе и других близких вызывает во мне всякие тревоги и опасения. Опасаюсь, не случилось ли чего с тобою? Но, в таком случае, мог бы Павел, Жорж, Лиза написать мне. Боюсь, что вдруг и до самого от'езда не получу от тебя письма. С другой стороны, не допускаю, чтобы ты не постаралась так или иначе дать мне знать о себе. Полная неизвестность о тебе связывает мне руки, — не знаю, о чем писать. К тому же, в жизни моей, конечно, нет ничего нового. — Отвечай же поскорей, прошу тебя, — буду ужасно рад, если все мои опасения окажутся напрасными. Шлю сердечный привет всем близким. Целую тебя крепко.

Твой Лев.

Ответ пришли заказным письмом.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ [1])

1889 г.

Примечание. Огромный пропуск писем об'ясняется исключительно исчезновением их из архива Веры Ивановны: в течение предшествовавших четырех лет я отправил массу писем.

Дорогие мои! Недавно, сравнительно, послал Вам большое письмо и не получил еще извещения, дошло ли оно; опять берусь за перо, хотя не о чем, собственно, писать пока. Но ты, Марфа [2]), беспокоишься обо мне, судя по последнему твоему письму. До тебя, очевидно, дошли уже известия о бывшей в наших местах эпидемической болезни [3]), окончившейся шестью смертными случаями (в том числе бедная Маруся [4]), и ты опасаешься за мое здоровье? Но положительно уверяю тебя, что меня (да и всех переживших эпидемию) нисколько не коснулась болезнь; болезнь эта не внесла никаких особенно дурных последствий ни в наше физическое состояние, ни во внешнюю обстановку. Вскоре после смертных случаев все вошло в обычную однообразно-монотонную колею, как будто ничего особенного не случилось. Начальство, ввиду этой болезни, хотя и не приняло никаких предупредительных мер, но зато и не проявило никакой требовательности к исполнению нами ненужных формальностей. Оно прямо не уничтожило недавно об'явленной нам инструкции, но все же дало понять, что

[1]) Настоящее, как и следующее, письмо было отправлено не через начальство, а — конспиративно, поэтому оно написано аллегорически, иносказательно, чтобы, в случае если бы оно было перехвачено, невозможно было бы догадаться, кто и кому писал.

[2]) Это была революционная кличка В. И. Засулич.

[3]) Под этим я имел в виду — массовые самоубийства, происшедшие в мужской и в женской политических тюрьмах на Каре после совершенного телесного наказания Н. Сигиды (см. мою книгу «16 лет в Сибири»).

[4]) Марья Павловна Ковалевская — мой, а также Веры Ивановны сочлен по киевскому бунтарскому кружку (см. мою кн. «За полвека»).

она более не будет применяться [1]). Таким образом, как видишь, снова настала серая будничная жизнь, что, конечно, лучше, чем жизнь, полная бурь и тревог. Ты упоминаешь, что какая-то барыня из наших мест сообщала своей приятельнице о нашем положении и обстановке, и это письмо заставляет тебя опасаться, что брат Евг. [2]) (юрист) не получил ни твоих писем, ни книг. Не знаю и никак не могу догадаться, что это за барыня? Но, как видишь из вышесказанного, ты напрасно беспокоишься и смело могла и писать и посылать ему все, что он просит. Правда, носятся слухи, что весь наш штаб будет переведен в другое место, но слухи эти носятся уже несколько лет, и окончательно нам ничего не об'являли. К тому же, если бы и состоялся перевод, то все же ему перешлют то, что получится по старому адресу, Ты видишь, что совсем напрасно мешкала с исполнением его просьбы. Если бы ты видела, с каким нетерпением и он и я ожидали получения от тебя известия о нашем юридическом сочинении [3]), — ты, я думаю, более обстоятельно передала бы свое мнение о нем. А между тем, ты, хотя и говоришь, что «трактат» очень интересен, но по существу почти совсем не касаешься его. К тому же, кажется, ты не совсем верно поняла его. Так, ты говоришь «брат [4]) не любит Гегеля и огорчается, что некоторые писатели его иной раз цитируют». Насколько я знаю, он лично вовсе не не любит этого философа, а лишь находит нужным считаться со вкусами читающей публики. Раз, — основательно или неосновательно, другой вопрос, — с 60-х годов явилось враждебное отношение к этому мыслителю, то частым напоминанием о нем не рассеешь этого чувства, а, наоборот, в виде реакции против чрезмерного

[1]) Как известно, перед наказанием Сигиды нам была прочитана инструкция о применении к нам телесных наказаний; после произошедших в тюрьмах массовых самоубийств нам намекнули, что впредь не будут применять их.

[2]) Ради конспирации я о себе писал в третьем лице, употребив мою революционную кличку и дав себе звание «юриста».

[3]) В книжке «Юрид. Вестника» я описал между печатными строками посредством химических чернил Карийские трагедии.

[4]) Под «братом» Вера Ивановна имела меня в виду, так как я писал ей и Геор. Вален., зачем он часто ссылается на Гегеля (в получившихся Сборниках «Социал-Демократ»).

превозношения этого (во всяком случае во многом ошибавшегося) философа, — вызовешь скорее упорное нежелание признать и то, что левые гегелианцы [1]) проповедуют. Не знаю, поняла ли ты меня, но мне очень странно, что ты делаешь такое заключение: «Как будто не все делают и должны делать так, кто убежден в чем-нибудь?»... «и ты встарину, помнится мне, придерживался таких же мнений». Странно! Неужели из моих писем не явствует, что я не только ни на иоту не отказываюсь от левого гегелианства, но даже еще более укрепился в нем, — более, чем прежде, понимаю его. И все же признаю практически необходимым считаться с предубеждениями, а если хочешь уничтожить их, то [достигнуть этого можно] не голословными ссылками на «заслуги» Гегеля, а обстоятельными раз'яснениями, в чем [состоят] эти заслуги. Но последнее вовсе не особенно важно и интересно теперь, — это имеет лишь историческое значение генезиса идей «левых», а кому из наших читателей это важно? Но оставим это. — Ты очень расхваливаешь новое произведение левого гегелианца [2]). Мне, конечно, чрезвычайно интересно поскорее познакомиться с ним. Но, признаться, я заранее уверен, что оно, подобно предыдущим, произведет дурное впечатление на сослуживцев [3]), в чем, впрочем, и ты не сомневаешься. Но, по твоим словам, у вас оно вызвало большой интерес, оживление. Это меня лишь отчасти радует. Говорю «отчасти», потому что все же не могу не видеть в этом «оживлении и интересе» лишь бурю в стакане воды. После 6 — 7 лет литературной деятельности, нельзя особенно торжествовать, слыша, что успех ограничивается несколькими десятками единомышленников (надо к тому же знать еще каких?), а большинство читателей является противниками, всюду

[1]) Левыми гегельянцами, а также «геноссами» (товарищи — по-немецки) мы ради конспирации называли социал-демократов.

[2]) Под этим Вера Ивановна, по всей вероятности, имела в виду брошюру Плеханова против Тихомирова (его ответ на брошюру «Почему я перестал быть революционером») «Новый защитник самодержавия, или горе г. Тихомирова», вышедшую в 1889 г. (см. Сочин. Г. *Плеханова*, т. III, стр. 45).

[3]) Т.-е. моих товарищей по заключению, являвшихся народовольцами.

ищущими аргументы для возражений. Утешительного в этом мало. Впрочем, поживем — увидим. Во всяком случае, не подумай, что я пессимистически смотрю на вашу литературу: я лишь жалею,...

[Второй половины этого письма не оказалось в архиве.]

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

(из тюрьмы. конспиративное.)

[Карийск. 1890 г. апреля 6.]

Дорогая сестра! На-днях я получил твое письмо, в котором ты сравнительно довольно подробно описываешь свою морнейскую жизнь, — как целый день проводишь в занятиях, в чтении и писании, не видаясь по месяцам ни с кем, кроме Тюрки [1]). Я рад и не рад такому образу жизни: мне приятно, что ты, повидимому, приучилась к интенсивному серьезному труду, что работаешь производительно и находишь, очевидно, удовольствие в таком времяпрепровождении; но боюсь, что такой образ жизни скверно отзовется на твоем здоровьи: ты и раньше уже жаловалась на грудь, на частые лихорадки. К тому же полное отсутствие встреч с людьми, если и не превратит тебя в «ведьму одичалую», как ты пишешь, — все же может отразиться на твоем состоянии, настроении. Не думаю, чтобы и для занятий была бы выгодна такая изолированная, уединенная жизнь: даже встречи с пустыми, мало интересными людьми, всякий обмен мыслями освежающим образом действует благотворнее полного, хотя бы и «добровольного одиночества». Нет, дорогая, напрасно ты думаешь, что «можешь жить только так или никак». Эта мысль меня очень огорчает, но я надеюсь, что ты только пока так думаешь, что, быть может, ко времени получения этого письма ты уже изменишь свой образ жизни, — не будешь избегать людей, найдешь возможность соединять серьезные занятия с разнообразием от бесед с другими, кроме Жоржа. Ужасно жаль, что в этом письме ни словом не касаешься содержания

[1]) Собака.

своих занятий, тем своих произведений, — мне бы это доставило большое удовольствие. Ты знаешь, что, кроме вообще присущего мне интереса к теоретическим вопросам, мне особенно было бы приятно знать, какие именно тебя занимают. Допустим, даже, — хотя это очень сомнительно, — что я когда-нибудь «сам прочту», как ты надеешься, все тобою написанное; но неужели ты не представляешь себе, что даже краткое изложение, самый слабый намек на то, чем ты занимаешься, мне было бы приятно узнать как можно скорее, а не через многие, быть может, годы? — Я согласен, что при твоем образе жизни у тебя немного тем для писем; но ты и теми не пользуешься, какие имеешь. Ты, напр., вовсе не упоминаешь о старых знакомых и приятелях, даже в двух-трех словах не сообщаешь о заведении Рольника [1]), — на какие средства оно существует, сколько там работает человек и пр. Даже о самых близких людях: о Жорже, Павле, Розе, Лизе ты лишь вскользь упоминаешь, и из твоих сообщений решительно нельзя составить себе никакого представления об их жизни. Но если ты, действительно, разучилась не только говорить, но и переписываться, если составление письма для тебя трудная задача, для решения которой ты должна принуждать себя, то я, конечно, предпочитаю получать от тебя лишь краткие сообщения о твоей жизни и здоровьи и нисколько не буду в претензии за отсутствие подробных, но высиженных писем, к тому же могущих надолго отрывать тебя от твоих занятий. Ты отчасти права, говоря, что у меня, если и не «во 100 раз больше тем для писем», то все же больше, но не потому, что я «живу на людях»: живи я даже совершенно один среди четырех стен, думаю, у меня находилось бы довольно материала для бесед с тобою и Дмитром [2]), раз только вы интересовались бы моими сообщениями. Буду и впредь, при всяком удобном случае, писать тебе большие послания; я и теперь готовлю такое. Не знаю только, получила ли ты недавно, сравнительно, посланное, — месяца

[1]) Это означало устроенную мною типографию для группы «Осв. Труда», в которой работал т. Рольник и где печатались произведения моих друзей.

[2]) Стефанович.

три-четыре тому назад. У нас, как громадные пространства кажутся небольшими, так и время считается малым, когда вам, живущим в Европе, оно показалось бы очень большим. Ты, напр., удивляешься, что поздравление с новым 1889 г. получила очень поздно, а у нас это почти в порядке вещей. Переписываешься ли с Маней? Знает ли она твой новый адрес? Присылает ли юридич. жур.? [1]). Мне она уже давно не пишет, хотя я посылал ей и письма и телеграммы. На последние она всегда отвечает телеграммой же, что здорова и шлет мне письмо, а его я все же не получаю. Неисправима она! Раз ты получила мое предыдущее послание, то уже знаешь обо всем новом, происшедшем в нашей жизни за последнее время. О новейшем периоде узнаешь из ближайшего большого послания. Пока скажу в немногих словах, что неказиста наша жизнь, много в ней безотрадного, грустного. Между прочим, ты, вероятно, знаешь уже о том, что Маруся [2]) окончила жизнь самоубийством с тремя другими своими приятельницами. У нас тоже было два смертных случая и несколько попыток. Теперь какая-то эпидемия на всевозможного рода смерти. Об этом ты, вероятно, знаешь уже из газет; напрасно только ты не следишь за ними аккуратно, как ты сообщаешь. Слухи о нашем перемещении становятся все упорнее и настойчивее. Может быть, когда получишь это письмо, мы будем уже на новом месте. Разбирает опасение, как бы там не было еще хуже, чем здесь. Впрочем, бог милостив. Временами я бываю совершенно равнодушен к тому, что ждет нас впереди, но иногда находит тревога, и тогда чувствуешь себя скверно. Это особенно часто случается в последние месяцы: может быть, вследствие картин смертей, а то и ввиду разлуки с Дмитром и предстоящего полного одиночества, при вечной жизни на людях. Хороших знакомых среди 35 чел. у меня есть несколько, но ни с одним не близок сколько-нибудь. Для последнего мне необходимо не только, чтобы

[1]) В журнале «Юрид. Вестн.», как я уже сообщал, я химическими чернилами, между строк, писал огромные письма и даже статьи. Затем пересылал эти книжки в вольную команду, откуда их отправляли моей сестре Марии Григ. Афанасьевой в Уфу, или А. И. Успенской в Москву, а они отправляли их Вере Ивановне за границу.

[2]) Марья Павловна Ковалевская.

характер данного лица был мне симпатичен, но чтобы вполне сходился и в воззрениях, а такого совпадения здесь нет. Очень может быть, как Дмитро говорил, я сам отчасти виноват в том, что отталкиваю от себя многих своей манерой спорить; но, право же, вечно приходится слышать такие ограниченные взгляды по поводу многих вопросов, что невольно потеряешь всякую способность сдерживать себя. Для иллюстрации приведу, напр., следующие глубокомысленные воззрения, разделяемые многими: «Геноссы собирают из «Капитала» только плевелы, пшеницу же в нем берут другие». Эти «другие» — кто бы ты думала? Сторонники Петра Алексеевича, Мишки [1]) и, вообще, все те самобытники, которые вовсе не понимают «Капитала» Маркса, да в сущности все отрицают, кроме произведений В. В., Глеба Ивановича, Михайловского и т. п. самобытных философов. Жорж и Павел поймут мое положение здесь, когда они представят себе, что мне приходится жить в сообществе нескольких десятков Федершеров, Корнфельдов [2]) и т. п. Да и те, пожалуй, живя в ваших условиях, пообтесались, отказались, быть может, от многих ошибок и заблуждений. Но, если не касаться воззрений, то многие очень симпатичны и вообще хорошие люди. А можно ли не касаться убеждений? Вот теперь, ввиду происходящих у немцев и вообще за границей событий, почти беспрерывные разговоры, дебаты. И боже, боже, чего не услышишь! Жорж на моем месте давно со всеми перегрызся бы, хотя кое-кого, быть может, и перетянул бы на свою сторону. Но «пшепустим» (оставим) это, как говорят у нас (много у нас своих словечек, — некоторые очень удачные). — Меня, Павел, ужасно интересует ход дел геноссов, из получаемых нами источников очень мало можно почерпнуть, к тому же часто попадаются сомнительного свойства известия о них. Письма твои всегда доставляют мне большое удовольствие; пиши, брат, и впредь (только не можешь ли поразборчивее: не для меня, конечно) как о них, так и о себе, о своих заня-

[1]) Петр Алексеевич — Кропоткин; «Мишка» — кличка Дебогория-Мокриевича.

[2]) Молодые народовольцы, околачивавшиеся в мое время за границей, малоразвитые, не блиставшие умом, но любившие спорить и возражать нам, марксистам.

тиях, о семье и знакомых. Поверь, что я действительно интересуюсь всем, тебя касающимся, а не говорю это только для проформы. Дмитро сообщит тебе об участи присланных тобою книг — «Neue Zeit» и др., — тогда сообрази, как впрэдь снабжать меня аналогичными. Гегеля, по прочтении, пришли мне: его, к слову, большинство здесь, конечно, не читавши, считает чуть ли не идиотом! Думаю, после от'езда Дмитра, вплотную засесть за занятия, — в последнее время я сильно отбился от книг, больше пишу [1]), — если только обстоятельства не изменятся к худшему. Глаза мои тоже, чем дальше, тем больше слабеют, — результат, конечно, обстановки. Как бы то ни было, нахожу, что за последние годы кое-что успел, многое понимаю лучше прежнего. «Но к чему это?» — нередко приходит на ум. Может, и лучше ничего не понимать, — быть может, легче себя чувствовал бы. Ну да «пшепустим» и это. — О многом хотелось бы потолковать с вами, дорогие. Но вы понимаете, что это не всегда возможно. Особенно меня интересуют ваши литературные произведения. Я уже сообщал, почему некоторые из них мне не понравились (особенно «Новый защитник самодержавия»). Хотя не знаю, получили ли вы то письмо. Повторять же не хочется. По-моему, как можно меньше полемики, резкостей, даже полное игнорирование всяких Павиных, Борисовых [2]) и т .п., а исключительно теоретические, исторические и критические статьи, по всевозможным вопросам, принесли бы громадную пользу и вам как авторам, и читателям вашим. Не нравится мне также, что в «Библиогр. отд.» вы вместо ознакомления с другими изданиями полемизируете (напр., о «Вальке Класс»), при чем приводите вовсе не лестные о вас отзывы своих противников (напр., той же Вальки и Ивана Ивановича [Добровольского]). Получается впечатление, будто вы представляете собою травленных собак, огрызающихся на все стороны, и нельзя сказать, чтобы это впечатление было хорошим. Конечно, для верного суждения нужно знать условия, вызвавшие такой характер

[1]) Я писал свои воспоминания в «Карийских тетрадях», о чем подробно сообщил выше.

[2]) «Борисовыми» мы называли заграничных народников, вроде Ив. Ив. Добровольского, выпустившего брошюру «Начало конца», под псевдонимом Борисов.

изданий, но не виноват и читатель, когда, не видя в данном произведении этих условий, делает заключение, что автор просто желчный человек, всем и вся недовольный, кроме себя и своих единомышленников [1]). Повторяю, по-моему, лучше всего полное игнорирование таких противников и исключительно — статьи, дающие теорет[ические] и фактич[еские] сведения. Вот почему больше всего понравился «Очерк междун[ародного] Общ[ества] раб[очих]». Действительно, и содержание и тон автора прелестны: здесь и комар носа не подточит. — Но, довольно о литературе. Павел, сообщи, каковы последние успехи геноссов? Имеют ли они уже последователей среди сельского населения? Много ли у них органов, изданий, какие именно и где? Думает ли Фридрих Карл[ович] когда-нибудь издать третий том и полное собрание сочинение Маркса? Почему бы вам не перевести «Zur Kritik» или хоть бы извлечение из него? Надеюсь, что ты, Марфа, соберешься прислать мне, наконец, французский роман [2]). Я с нетерпением жду его с каждой почтой. Может быть, с выходом Дмитра ты вполне поймешь, как мне было бы приятно иметь книги для упражнения во французском языке. Мне много лет еще впереди (около 6—7), и я надеюсь выучить иностранные языки, которых не знаю. — О материальных наших условиях могу сказать, что они не блестящи, хотя жить можно и подчас даже недурно. Пишу немного о нашей обстановке, п[отому] ч[то] несколько раз уже сообщал вам об этом, к тому же от Дм[итра] можете узнать о том, что вам остается неизвестным. Я надеюсь, что вы с ним будете аккуратно переписываться. — Ну, будьте же все здоровы и, насколько это возможно, счастливы. От всей души, конечно, желаю вам, дорогие, всякого успеха в ваших занятиях. Очень хотелось бы, конечно, мне, чтобы и до меня достигал слух об этом. Буду надеяться, что судьба, наконец, будет милостива ко мне и нам удастся когда-ни-

[1]) В этом письме я делился своими впечатлениями по поводу сборника «Соц.-дем.», полученного мною конспиративным способом.

[2]) Во франц. романе между неразрезанными страницами я просил ее написать мне обстоятельное письмо химическими чернилами. Это она и сделала, но, помню, не все ею написанное можно было прочесть ввиду слабого раствора, все же таким образом проникало к нам не мало интересного.

будь снова свидеться и быть вместе. Как бы мне хотелось этого, вы и представить себе не можете, не поживши в моих условиях. Но, что говорить об этом? Не забывайте же меня.

Ваш Л[ев].

Приписка на этом письме принадлежит Стефановичу, находившемуся в это время в вольной команде, которому я из тюрьмы отправил это письмо, а он должен был переслать его за границу.

«Говорят, не раньше мая двинусь в путь [1]. Как только узнаю, где водворен буду,—напишу. Предстоит дорога длинная. Туда, куда ворон костей не заносил. Полгода, если не больше, проведу в путешествии. Теперь живу верстах в двух от Ж. [2]. Часто хожу на сопку, чтобы оттуда видеть его, но ни разу не заставал его на дворе. Глаза у меня сохранились, мог бы распознать, да он все сидит, по обыкновению, в комнате. Все, что он пишет насчет твоих занятий и относительно вашей мастерской и ее изделий, сказал бы и я. Хотел бы тоже иметь эти изделия, но об этом — со временем. Ты мне сообщишь, нужен ли для вашего производства в теперешнем моем положении [3]. Судя по тому, что мы видели, кажется, надобности нет. Научись, пожалуйста, вразумительно справляться с юриспруденцией [4], пригодится. Будь же здорова прежде всего, Лизе не показывай моих фотографий: это ей за то, что она мне своей не прислала. Желал бы знать адрес Марьи Апполосовны [5]. Жоржа целую и благодарю. Павла тоже, только не за то, за что Жоржа, а за деньги. Сергей молодчина, если это он изобличает начальство севера [6]. Ж. сейчас беседовал со мною: «весь день, говорит, после твоего ухода как-то странно

[1] Т.-е. на поселение в Якутскую область.

[2] Ж. означает Женя или Женька, — уменьшительное от моего революционного имени Евгений.

[3] Этим Стефанович хотел сказать, что он не прочь сотрудничать в «Соц.-Дем.».

[4] Т.-е. научиться прочитывать написанное химическими чернилами (в книжках «Юридич. Вестн.»).

[5] Мария Апполосовна Тургенева, жена Чубарова, наша старая приятельница.

[6] Кравчинский вел в Англии агитацию против русского правительства.

себя чувствовал.., но пока не могу сказать, чтобы меня уже разобрала тоска. Может, это об'ясняется тем, что сегодня после получения писем от тебя [1]) и Мани—некоторое возбуждение, разговоры по поводу твоего выхода... Встречаясь со мной, тот или другой обыкновенно спрашивает, «что, осиротели?». Ваничка со мною очень ласков. (Это мой любимец, Ив. Старынкевич, но он ссорился с Ж.: я ему наказал жить с Ж. в мире.) До свиданья, целую твою руку.

Твой старый *Дмитрий*».

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ [2]).

Сентябрь 1890 г. Карийск.

Дорогая сестра! В моей жизни произошла относительно большая перемена к лучшему: 11 сентября меня и многих моих товарищей (24 чел.) выпустили в вольную команду. Ты, быть может, не знаешь, что это значит. Поэтому изложу, в чем состоит эта «Вольная команда». Живем в деревне, мало напоминающей наши русские, так как большинство населения — отбывшие срок «исправления» уголовные каторжане, [далее] батальон пеших казаков, держащих караул в тюрьмах, [а также] всякого рода начальство, военное и гражданское. Деревня эта раскинута в долине, на обширном пространстве, вдоль ничтожной речки Кара, летом почти вполне пересыхающей. Внешний вид этого поселка скорее напоминает плохие наши уездные города, чем село; кроме тюрьмы, казарм, есть лавки и почто-телеграфная станция. Жить мы можем или в собственных хатах, которые можно купить рублей за 50—75—100 maximum каждую, или в предоставленных начальством в наше распоряжение довольно сносных домиках. Пока я вместе с Дмитром, который на-днях уходит, и одновременно со мной выпущенными Лешерн, Фоминым и Мирским нанимаем квартиру, за которую платим 6 руб. в месяц (без отопления и освещения, конечно). Пищу готовим сами группами [или компаниями] и исполняем всякие хозяйственные работы, как рубка дров в лесу, косьба сена для наших двух лошадей, уход за коровами (6-ю) летом

[1]) Т.-е. он получил от меня по конспиративной почте письмо.

[2]) Уже из «вольной команды» через цензуру начальства.

и пр. Работ вообще много и довольно тяжелых, зато, так сказать, живем «на лоне природы» и пользуемся, конечно, бо́льшим разнообразием, чем в тюрьме. — Материальные средства почти те же, что и в тюрьме, т.-е. казенный «паек» (3 ф. ржаного хлеба и 40 зол. мяса) и присылки от родных. Но если в тюрьме эти средства были очень скудны, то на воле они еще скуднее. Все же жить кое-как можно. Посторонние заработки очень трудно иметь: если есть здесь спрос, то только на ремесла, да и то крайне ограниченный. Заниматься всякого рода науками возможно, но много времени отнимают разные хозяйственные работы и хлопоты. Всех нас здесь вольнокомандцев 34 человека, из них 4 женщины (Лешерн, Корба, Ивановская и Добрускина), не считая 4 вольных жен (Люри, Рехневской, Сухомлиной и Медведевой). Как видишь, колония наша довольно большая, и скучать не приходится, да и некогда почти. Газеты и журналы мы можем получать, как русские, так и иностранные, — были бы только средства на выписку их, раз родственники сами не высылают их. Я бы очень хотел получать какую-нибудь немецкую или французскую газету или журнал. Прошу Павла позаботиться об этом, пусть он пересылает, напр., «Neue Züricher Zeitung» или другую по прочтении (можете высылать под бандеролью раз в неделю несколько №№); то же и ты делай с французскими, напр., «Journal de Géneve». Вероятно, нетрудно, — если он сам не получает никакой, — доставать у кого-нибудь из знакомых уже прочитанные газеты или журналы. Письма, газеты и все прочее нужно высылать по следующему адресу: Карийск (Восточная Сибирь, Забайкальская обл.), г-ну помощнику начальника Акатуевской тюрьмы (для такого-то). Теперь мы перешли из жандармского ведомства в общеуголовное, тюремное, и вообще жандармы не заведуют более государственными преступниками. Оставшиеся еще в тюрьме (13 чел., в том числе Зунделевич) переведены в новую тюрьму, — в Акатуй, где они состоят на общеуголовном положении; помещаются вместе с уголовными в одних камерах, работают в рудниках и проч. Положение их незавидное, вероятно, но зато теперь, с переходом в обще-тюремное ведомство, будут выпускать в вольную команду тотчас по окончании срока, между тем как до сих пор, при жандармском заведывании, некоторые

по нескольку лет дожидались очереди выпуска, а иные так и уходили на поселение, все время просидев в тюрьме. Я также целый год имел уже право на выпуск и только на-днях выпущен, благодаря упомянутой реформе — замене администрации жандармской обще-тюремной. Всего, как знаешь, со времени ареста (25 февр./9 марта), я пробыл в тюрьме $6\frac{1}{2}$ лет, а на Каре без малого 5 лет. Теперь до выхода на поселение еще остается $5\frac{1}{2}$ лет и, если ничего экстраординарного не случится в моей жизни, то надеюсь не без пользы провести эти годы. Я, как знаешь, и в тюрьме довольно занимался, надеюсь и здесь не терять время напрасно. — Многое пришлось пережить за эти годы, особенно за последний, все же я вышел здоровым и бодрым из тюрьмы, хотя знакомые находят, что я сильно постарел. Впрочем, Дмитро пришлет тебе мою карточку, тогда сама увидишь, но я нахожу, что на ней я лучше, чем в действительности, — красивее и моложе. Пока еще не совсем устроился и осмотрелся в новых условиях, но, благодаря перемене в жизни, новизне обстановки и совместной жизни с товарищами, чувствую себя хорошо. Ощущения, аналогичные тем, какие, бывало, испытывал по окончании экзаменов на каникулах. Но, вероятно, скоро надоест все же однообразная жизнь, отсутствие занятий и серьезных интересов, как это бывает в провинциальной глуши, вдали от цивилизованного света. Все же, вспоминая еще бо́льшее однообразие тюремной жизни, буду находить утешение в настоящей. Об одном прошу тебя, дорогая, пиши как можно подробнее и чаще. Теперь и я могу тебе отвечать в закрытых письмах, каково настоящее (конечно, с просмотром ближайшего администратора — помощника начальника Акатуевской тюрьмы). Сообщи, как тебе живется, что поделываешь сама и близкие — Жорж, Павел, Роза, Аня, Лиза и др.? В последнем письме, полученном мною с месяц тому назад, ты сообщала, что статью Жоржа о Николае Гав[риловиче] [Чернышевском] перевели на немецкий яз. Это известие меня очень обрадовало; мне очень интересно и самому ее поскорее прочитать, о чем, надеюсь, ты позаботишься. Пусть Павел вышлет мне (по вышеуказанному адресу) одну-две книжки, «Neue Zeit» за настоящий год, — я надеюсь получить теперь и раньше высланные №№, вместе и «Jahrbücher

für Socialwissenschaft», за которые, помнишь, мне здесь пришлось уплатить 10 руб. Сообщение твое о геноссах, о раздорах в их среде [1]), об излишней осторожности стариков — очень интересны, но не утешительны. Пиши, чем окончились [эти] разногласия? Меня, ты знаешь, ужасно интересует все, происходящее в их среде, да и вообще среди родственников. Я надеюсь, что теперь, с выходом в команду, буду получать от тебя более обстоятельные письма. Книги также высылай такие, которые могут меня интересовать. Передай мои приветы и пожелания всем нашим близким и знакомым. Павлу напишу в следующий раз, а пока перешли ему это письмо. — Ну, будь здорова и, насколько возможно, счастлива, дорогая сестра. Не грусти, не тоскуй, надейся на лучшие времена. Теперь мы все же можем рассчитывать на перемену к лучшему, да и настоящая жизнь довольно сносна, — ты приблизительно верно себе ее представишь, вспомнив свою жизнь в Архангельской губ., во многих отношениях она, вероятно, лучше. Пиши же, родная, отвечай поскорее на это письмо. Крепко целую тебя и всех близких.

Твой брат Лев.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ [2])

Карийск. 16 декабря 1890 г.

Дорогая, хорошая сестра моя. Из предыдущего моего письма, посланного недели три назад на адрес Павла, ты уже знаешь о важной перемене в моей жизни — о выпуске меня и многих моих товарищей в вольную команду в прошлом месяце. Тогда же я сообщил в кратких чертах об условиях нашей общей жизни в новой обстановке. Живо представляю себе, как тебя и других близких обрадовали эти известия. Несмотря на шестилетнее пребывание в тюрьме, я — да и все другие — вышел на волю вполне здоровым и бодрым, — только значительно постаревшим, в чем, отчасти, сможешь убедиться из прилагаемой карточки. Одновременно посылаю также карточки Якова и Софии [1]). Нельзя сказать, чтобы карточки эти были особенно удачны и верны, но сходство большое есть. Снимались мы здесь у заезжего фотографа, путешествующего по всей Сибири. Неверно, собственно, выражение физиономий; Софья, напр., выглядит злою старушкою, хотя в действительности у нее вовсе не такое выражение. Как бы то ни было, думаю, ты будешь рада этим карточкам. Я уже много раз из тюрьмы писал и просил тебя и других близких прислать мне свои карточки, — но тщетно. Вообще, не могу сказать, чтобы вы исполняли мои просьбы и поручения аккуратно: ты, напр., в письмах жалуешься, что никак не можешь подобрать подходящего для меня французского романа, между тем это очень нетрудное, по-моему, дело, и я решительно не могу понять, почему оно тебе не удается, так как почти всякая книга годится и будет мне интересна: французских книг у меня крайне мало. Ты также обещаешь выслать сочинения Бентама, но не определяешь, скоро ли, а я их жду с большим нетерпением. Мойше [2]) не присылай более, так как он ушел в Акатуй и неизвестно, дозволят ли им получать. Посылай все книги мне так же, как и письма, на адрес: г. помощнику начальника Акатуевской тюрьмы, Карийск (Восточн. Сибирь, такому-то). Недели две назад получил здесь от тебя довольно большое письмо (в 2 л.), в котором ты опровергаешь взгляды брата Жени на литературу левых гегелианцев. Со многим из высказываемого тобою я вполне согласен. Конечно, подделываться под взгляды Павиных и Ив[ана] Ива[новича] не следует, но думаю, что ты несколько преувеличиваешь значение литературы вообще и лево-гегелианской — в особенности. По-моему, создать «умственного течения», как ты пишешь, она сама по себе, без соответствующих фактических условий, которых пока еще нет, не в силах, даже явись проповедником ее такой гений, как Маркс. Я высоко ценю способности и таланты Жоржа, все же думаю, что ему много вредят его приемы полемики. Впрочем, ты сообщаешь, что в последнем его произведении о Ник[олае] Гавр[иловиче] он очень сдержан и осторожен. Меня ужасно обрадовало

[1]) Т.-е. о германских соц.-демократах, среди которых как раз в 1890 г. возникла фракция «молодых».

[2]) Из вольной команды.

[1]) Лешерн.

[2]) Мойше — революционная кличка Аарона Зунделевича.

известие, что это его произведение переведено на немецкий яз. и что Каутский и др. хвалят его. Надеюсь и вполне допускаю, что иностранцы вернее оценят его, чем русские, и что он со временем займет одно из виднейших мест среди выдающихся литераторов, а тогда и наши «самобытники» его начнут хвалить и даже, пожалуй, гордиться, что вот, мол, какие у нас таланты: «по всем Европам хвалят». От всей души желаю, чтобы мои ожидания сбылись. Хорошо было бы, если бы он вообще писал цельные, самостоятельные сочинения и давал бы их переводить на иностр[анные] яз[ыки], а не одни лишь журнальные статьи. Прошу тебя в сотый раз сообщить насколько можно подробнее о ваших литературных и материальных делах и условиях: я о них имею очень смутное представление. Теперь, с выходом в вольные команды, когда нам дозволено посылать закрытые письма, буду, конечно, писать тебе подробнее, а потому и ты не скупись, сообщай о всем, могущем меня интересовать. Ты, напр., ни слова не упомянула о процессе Мендельсона, и я лишь из газет узнал о нем. Но мне неясно, неужели все дело заварил ажан-провокатор или это только уловка со стороны подсудимых. Сведения в газетах о геноссах также не очень подробны: из них ясно только, что между ними происходят споры и несогласия и что Бебель и Либкнехт тянут в сторону умеренности и аккуратности, а Шиппель — в крайности, но в чем суть — неизвестно. Особенно интересует меня Шиппель, я читал его немецкую брошюру «Staats-Lohnregulirung» и вынес из нее заключение, что автор — родбертианец, и вдруг — он в крайние попал! Чем об'ясняют эту его метаморфозу? Вообще, очевидно, на Западе теперь происходят интересные явления, и очень жаль, что Павел не делится со мною сведениями. Мне интересно также, как Фридрих Карл[ович], Лафарг и Гэд поживают, как они относятся к распре между немцев, чью сторону они держали в вопросе о 1-м мая и пр.? В таких случаях Павел прежде бывал довольно обстоятелен, но вот уже год, как он совсем почти не пишет; последнее его письмо (после поездки в прошлом году в Париж и в Лондон) [было] при посылке денег для Якова. Я уже писал тебе в прошлом письме, что был бы очень рад, если бы ты и Павел пересылали мне какую-нибудь франц. и немецкую

газету из больших и хороших. Можете присылать их по прочтении и раз в неделю под бандеролью; то же, если бы вы могли устроить насчет иностранных журналов, было бы очень мило с вашей стороны. О себе, о своем настроении, состоянии, занятиях ты пишешь очень мало, если не сказать ничего... Неужели ты не чувствуешь большой тоски, живя в одиночестве, в Морнэ, вдали от людей? Я не знаю также, каковы ваши материальные условия, откуда вы достаете средства на жизнь и издания? Пиши, дорогая сестра, обо всем, касающемся тебя, близких и старых знакомых: о последних ты вовсе не упоминаешь. Я не знаю, где и что поделывают Анка, Дрезденский юноша [1]), Лиза и др. На Аню я немного сержусь, что за шесть лет не получил от нее ни слова. Жоржу тоже негрешно было бы хоть изредка писать. Ну, да бог с ними: если им трудно написать, пусть не пишут. Теперь надеюсь, после многих лет односторонней и неправильной переписки, восстановить с тобою аккуратные сношения: твоя будет вина, если это не осуществится, так как ты знаешь, я готов писать тебе и уверен, сколь ни бедна моя жизнь впечатлениями, всегда найду достаточно материала для переписки с тобою. Пока еще не пишу о своем житье-бытье, так [как] оно еще не определилось, не устроилось сколько-нибудь прочно. Отчасти тому причиной отсутствие заработка, приобрести который я стараюсь и надеюсь; отчасти [же —] сборы Якова на поселение, что состоится не раньше конца ноября или начала декабря, так как теперь у нас распутица, и даже почта неаккуратно ходит. Большую часть осени мы проводим в лесу — рубим и пилим дрова, запасаем топливо на зиму. Как я уже тебе писал, обо всем приходится заботиться самому, что, конечно, отнимает массу времени. Но зато эти заботы сопряжены с физическими упражнениями в разных обстановках, что очень полезно для здоровья. Особенно приятны, хотя и тяжелы, работы в лесу. Здесь осенью почти всегда стоит хорошая погода: чистое, ясное небо, довольно теплый воздух днем, а кругом бесконечная тайга (лес). В этом не мало поэзии. Но приходится целый день до сумерек быть на сухоядении, при очень интенсивном труде, что сильно утомляет. —До-

[1]) Слободской.

машняя обстановка, сравнительно, довольно удобная: в одной комнате — Софья, в другой, большой с диваном,—мы с Яковом. Обедаем в общей нашей столовой, где сами по очереди дежурим и готовим, отчасти из отпускающихся нам казенных продуктов, отчасти — из собственных покупок. Чаепития, как всегда, занимают много времени. Любовь к маленькому домашнему комфорту и удобствам, после многих лет заключения в тюрьме, во мне теперь еще бо́льшая, чем бывало на воле, но пока, за отсутствием средств, не успел еще ничем обзавестись. Как бы то ни было, но чувствую себя пока хорошо и, конечно, буду стараться не без пользы проводить время на воле. У меня еще нет никаких планов занятий: читаю, да и то немного, — лишь газеты и журналы. На этом закончу письмо. Когда получу от тебя ответ на предыдущее и это письма, надеюсь, наберется материал для нового письма [тебе]... Смотри же, не скупись на письма. (Пиши погуще, не так разгонисто.) Обнимаю всех близких, особенно Жоржа, Павла и Розу, будьте все здоровы.

Ваш Лев.

Передай прилагаемое письмецо Галине [Чернявской-Бохановской].

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Карийск, 1 (13) ноября 1890 г.

Дорогая моя сестра! Недели две тому назад получил твое письмо, но до сих пор никак не мог ответить: мы с раннего утра до вечера занимались рубкой и пилкой дров в лесу. Работа эта довольно тяжелая, к тому же приходилось ежедневно делать 5—6 верст туда и столько же обратно, по скверной, изрытой буграми дороге. Домой приходишь до того уставшим, что ничего не хочешь и не можешь делать. Пока мы закончили заготовку дров в лесу, — напилили и сложили в кучи сажен 150 — 200. Не знаю, хватит ли на весь год, так как впервые приходится запасать на 25 топок. Теперь предстоит возка их домой, пилка и рубка на месте, что продлится несколько недель. Кроме этой работы, еще приходится возить сено верст за восемь — десять для наших рабочих лошадей (тройки), привозить с речки

кадку воды, раз в две недели для кухни, дежурить по кухне понедельно раз в 7 — 8 недель. Если к этим общехозяйственным работам присоединить наши личные, домашние — топку печей, ставление самоваров и пр., то поймешь, что все время почти, особенно зимою, будет занято физическим трудом, так что о «душе» некогда и подумать. Вот уж скоро два месяца, как я вышел из тюрьмы, а до сих пор не только не прочитал ни одной интересующей меня книги, но даже журналов и газет почти не читал; впрочем, от других знаю, что в них нет ничего интересного. Такой образ жизни, хотя и полезный в физическом отношении, меня не только не привлекает, но даже угнетает: не видишь смысла и цели в вечных хлопотах и заботах о заготовке пищи и тепла, что отнимает значительную часть твоего времени. А между тем, не имея стороннего заработка, нельзя освободиться от этих работ. Заработка же, как я писал тебе, здесь почти нельзя найти, хотя я еще не теряю надежды. Но довольно о себе и своей жизни. В своем последнем письме ты сообщаешь о выходе 2-го № вашего сборника [1]) и о своей статье по поводу либерального народничества. Меня несказанно радует, что ты, повидимому, стала заправским литератором и у тебя является тема за темою. С каким бы я наслаждением прочитал твои произведения, дорогая сестра! Я заранее уверен, что в общем они мне очень понравились бы: тон и манера писания у тебя крайне симпатичная, — простота и задушевность, затрагивающие, заставляющие почувствовать что-то теплое, скорбящее о других. Я сказал «в общем», потому что с отдельными мыслями я, б[ыть] м[ожет], и не согласился бы. Вот, напр., в последнем письме ты, сравнительно, подробно касаешься часто затрагиваемого журналами вопроса о «безнравственности» деревенской молодежи, побывавшей в городе. По этому поводу ты приводишь рассуждения Гегеля об афинянах, казнивших Сократа, и находишь вполне подходящим эти рассуждения к данному вопросу. Мне кажется, что ты или ошибаешься, или в письме не вполне определенно и ясно выражаешься. Ты говоришь, что «Сократ проповедывал ту же бытовую нравственность, какая была у

[1]) [«Социал-Демократ»].

греков, но очищенную, проведенную через «сознание» и далее, что «для деревенской молодежи роль Сократа играют просто другие нравы, условия, которые они видели в городе». По-моему, параллель эта не вполне удачна и верна. Сократ, если верно, что он проповедывал ту же бытовую мораль, какая вообще была у греков, а не высшую, — являлся носителем, как ты выражаешься, «выясненной, проведенной через сознание нравственности». Но этой роли «очищения» и «выяснения» не играет вовсе город для являющейся туда деревенской молодежи на первых порах. Припомни, что выносят они оттуда: фабричные песни, любовь к щегольству и кутежу, «деликатное» обращение с женским полом и т. п. Вот против этого влияния и восстают либеральные народники. Но можно ли сказать, что в усвоении этой никому не нужной «нравственности» город играет прогрессивную роль для деревенской молодежи, что усваиваемые ею трактирные замашки, взгляды и жаргон являются лишь «очищенной, проведенной через сознание, бытовой нравственностью»? По-моему, нет. Я вполне согласен, что деревенская мораль «тверда лишь пока люди придерживаются ее, не думая», не приходя в столкновение с внешним миром. Но не могу из-за этого считать высшей или более мне симпатичной трактирную мораль, усваиваемую деревенской молодежью в городах. Ты, конечно, знаешь, что «условия», «нравы» города не однообразны, каковы, наоборот, деревенские: город, как все признают, представляет соединение крайних противоположностей и противоречий. Далеко не все в городе является отрадным и прогрессивным, как и вообще в цивилизации, но, само собой разумеется, что я вовсе не против того или другого. По-моему, нельзя только считать чем-то высшим, «очищенным», «проведенным через сознание» то, что неизбежно приобретает и не может не приобресть деревенский парень, являясь в город. Здесь он заводит знакомство с трактирными завсегдатаями, с Lumpenproletariat'ом, и я не думаю, чтобы эти «условия», эти новые «нравы» очищали его бытовую мораль. Я согласен, что этот шаг, этот путь пока неизбежен, как неизбежно также, что дикарь, при столкновении с «цивилизацией», первым делом усваивает привычку к спиртным напиткам, ко всевозможного рода «добродетелям» и страстям. Но неужели эти новые для него

«условия» и «нравы» являются лишь «выясненной, проведенной через сознание его же бытовой нравственностью»? Как дикарь, приходя в столкновение с носителями «цивилизации», на первых порах усваивает только худшие ее атрибуты, так и деревенская молодежь, побывавшая в городах. Поэтому правы сетующие на развращающее влияние «цивилизации» по отношению к дикарям и города—по отношению к деревенской молодежи. Но они правы, лишь поскольку рассуждают о *данном моменте*, о данной среде дикарей или деревенской молодежи. Пройдут годы, поколения погибнут, развратятся сотни и тысячи, а затем, «как и на Западе», выработается действительно «высшая, выясненная мораль». Но при чем тут Сократ? Он так или иначе проповедывал «очищенную» мораль, а для деревенской молодежи все же город является источником сифилиса, легких нравов, трактирных замашек. Защищать так, как ты это пытаешься делать, город от нападок, мне кажется неудобным: это значит во что бы то ни стало обелить черное, не видеть пятен на солнце, пускаться в софистику. Город, даже и при всех его темных сторонах, имеет много преимуществ перед деревней, а потому совершенно излишно отрицать печальные, но неизбежные его атрибуты. Но довольно, уже 12-й час, а я привык рано ложиться, так как рано встаю, обыкновенно в 6 — 7 часов. В одном из предыдущих писем ты обещала мне выслать книгу Бентама [1]), но я до сих пор все ее не получаю, я же писал тебе, чтобы ты все присылала прямо мне, на адрес: Карийск, г-ну помощ. начальн. Акатуевск. тюрьмы. Яков [2]) до сих пор еще здесь. Он все оттягивал свой уход на поселение то вследствие болезни (у него сильнейшие бывают мигрени), то — в ожидании моего выхода в вольную команду. Теперь он, наконец, собирается уйти с 1-й партией, отправляющейся по зимнему пути. Он тебе скоро сам напишет. От Мани [3]) я опять около года не имею известий. Зато славная твоя Сашенька [4])

---

[1]) В этой книге я ожидал найти написанное ею химическими чернилами подробное письмо.

[2]) Яков Васильевич Стефанович находился в вольной команде в ожидании ухода по зимнему пути на поселение.

[3]) Моя сестра.

[4]) Александра Ивановна Успенская.

не забывает меня: время от времени пишет и посылает то деньги, то вещи. Большое ей за то спасибо, особенно за последнее. Кстати о вещах: если у тебя будут деньги, то купи и пришли с оказией в Рос. для пересылки мне часы, а то без них, как без очков близорукому. Здесь же купить, во-первых, не на что, во-вторых — часы стоят втрое дороже, чем в России, не говоря уже о Швейцарии. Можешь, пожалуй, даже занять у кого для этого или взять у Павида в долг (Иван знает его) и прислать: я со временем выплачу. Вообще, ты бы недурно сделала, воспользовавшись оказией для присылки вещей Сашеньке или Мане, с тем, чтобы они присылали сюда; здесь все страшно дорого и скверно, а у нас денег — чорт ма. Яков и другие близкие целуют тебя. Обнимаю тебя крепко, крепко, милая сестра.

Твой Лев.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Карийск, 19 января 1891 г.

Наконец-то, дорогая, с последней почтой получил я, спустя 4 с чем-то месяца, твой ответ на первое мое письмо из вольной команды, которого я ждал с большим нетерпением. Признаться, оно далеко не удовлетворило меня: я мечтал, что ты в команду напишешь мне более обстоятельное, подробное письмо о себе и близких. Ведь я, в сущности, за все эти 6 с лишком лет разлуки с тобою не получил от тебя ни одного обстоятельного письма: то нельзя было, то — письма пропадали. Я надеялся, что теперь, узнав об изменившихся условиях моей жизни, о том, что нам разрешена переписка, ты начнешь писать подробнее, так как вполне понимаю, что трудно было прежде поддерживать переписку, когда она была односторонней, когда в ответ на свои письма ты получала лаконические сообщения: «здоров, получил твое письмо» и т. п. Но, видно, у тебя хроническая или органическая неохота писать обстоятельно. Ну, и бог с тобою. — Ты ошибаешься, думая, что зимой в вольной команде немногим лучше, чем в тюрьме. Я до выхода сюда был такого же мнения. Но теперь, на личном опыте, убедился, что это неверно. Несмотря на массу неудобств, хлопот и мелких забот, которых в тюрьме не было, все же здесь значительно лучше. Одно то, что можешь в квартирном

отношении устроиться более или менее по собственному вкусу и желанию, стоит всех хлопот и забот. А затем возможность куда хочешь пойти погулять, покататься на санях, что я ужасно люблю, достать нужную тебе вещь и пр. и пр. также услаждает жизнь. На-днях (15 числа) я перебрался на отдельную квартиру. Живу теперь один в совершенно изолированном домике-кухоньке, при которой имеются чуланчик и сенцы. Избушка эта казенная, и платить мне за нее не придется, что, при моем безденежьи, немаловажно. Расположена она великолепно — окнами на юг, что, несмотря на здешние жестокие и продолжительные зимние месяцы, имеет большое значение: днем окна оттаивают; избушка моя у подножья небольшой горки (сопки, как здесь называется), рядом с здешним кладбищем. Надеюсь, что здешние мертвецы не имеют привычки навещать своих живых соседей, а то близость кладбища нельзя будет считать одним из ее удобств расположения моей избушки. Зато летом вид со всех сторон великолепный, — все сопки покрыты, хотя и жалким, но все же лесом. Внутренностью хатки я также доволен: уютна, чиста, не холодна. Словом, пока я доволен. Главное — я сам себе господин и хозяин, — когда хочу и что хочу могу теперь делать у себя. Правда, никаких особенных наклонностей и стремлений у меня нет; все же после многих лет совместной жизни в тюрьме, когда из-за мелочей, бывало, раздражался, приятно теперь сознавать, что могу у себя устроиться по своему вкусу, не буду всегда на людях и пр. Ты ведь знаешь, что я всегда любил отдельную квартиру; теперь эта склонность еще сильнее. И ради этого я охотно мирюсь с большим количеством мелких забот и хлопот (по части топки печи, носки воды, ставления самовара и пр.), чем это было бы, если бы жил с кем-нибудь из товарищей. Ты по себе можешь представить, как мне теперь приятно бывает, когда остаюсь по вечерам большею частью один за книгой, при лампочке со стоящей рядом чашкой чаю. Но, довольно об своей «обстановочке», как острят в таких случаях товарищи, а то я, пожалуй, и надоем тебе. — Одновременно с твоим получил также письмо от Сашеньки (с 50 рубл.), а также карточку Вити [1]).

[1]) Сын А. И. Успенской, умер в 1919 г.

Какой, если бы ты видела, он уже большой и красивый юноша. Очень симпатичен он на карточке. Сашенька хвалит его и как человека. По ее письму оказывается, что и Никифоровы [1]) живут там же, в Твери. Ты напрасно не поехала в Италию, раз деньги уже были собраны: все равно они расползутся, а, меж тем, спустя некоторое время снова, вероятно, расхвораешься. Лучше бы ты полечилась, развлеклась бы, поживши в нравившейся тебе Италии. Напрасно ты также собираешься выслать мне часть собранных для тебя денег: мне они «без надобности», в сущности. Если мне что нужно, так кое-что из вещей, которых здесь достать затруднительно или чересчур дорого, напр., часы, о чем я уже писал тебе. Да и то могу обойтись без них. Я очень рад, что ты начала столоваться у хозяйки и так[им] обр[азом] регулярно питаешься. Но надолго ли это? Вероятно, скоро начнешь ты опять, по старому, жить одним кофе. Ты совсем не упоминаешь в последнее время о Жорже и о его семье. Как идут его занятия, что он пишет, чем занимается? Что поделывает Роза и дети? Каковы материальные их условия и пр.? Непременно напиши обо всем этом. Вероятно, скоро уже ты получишь от Дм[итра] «Юр[идический] В[естник]» [2]), там есть много интересных статей. От тебя я давно уже не получал никаких книг. Впрочем, как я уже писал тебе, здесь не больно много читается: еле-еле новые журналы и газеты, в которых, к слову сказать, ужасная пустота. Ты расхваливаешь главный орган геноссов [3]). И мне было бы очень интересно читать его, но, конечно, сюда его не пропустят. Если бы не твоя органическая нелюбовь к писанию больших писем, я просил бы, время от времени, излагать, или переводить небольшие интересные выдержки. Но на тебя мало надежды. Польские газеты расхваливают недавно вышедшую книгу некоего Барта «Die Geschichte der Philosophie von Hegel bis Marx». Не слыхала ли ты что об этой книге? Вообще ты бы хоть упоминала о наиболее выдающихся вновь вышедших сочинениях, — может, я когда собрался бы их выписать. Ужасно досадно, что нельзя мне следить за рабочим движением, за деятельностью геноссов! Ну, да что поделаешь. О своих делах, о заведении Рольника ты также вовсе не упоминаешь. Ты лишь вскользь упомянула о выходе № 3 «Сборника». Ты бы хоть перечислила содержание каждой книжки. — Надеюсь со временем устроиться так, чтобы можно было побольше читать, пока же много времени отнимают хозяйственные и общие работы. Вот, напр., завтра мне предстоит возить сено. Это довольно утомительная работа: приходится встать часа в 4 утра, запрягать лошадей. При здешних жестоких морозах это и днем не легко, а ночью одно мученье; затем накладка сена, завязывание возов и беготня от воза к возу на 15-верстном обратном пути, когда лошади то отстают, то сворачивают на бок воз, — далеко не приятная вещь. А там через день в лес верст за 6 по дрова, пилка и колка их дома. Так почти еженедельно дня 2 уходит на эти общие работы. Ну, да, впрочем, скоро весна, а с ней освобождение от хозяйственных забот и хлопот.—Однако пора и кончать письмо. Пиши же, дорогая, побольше. Крепко целую тебя и всех близких.

Любящий тебя брат *Лев.*

[1]) Лев Павл. Никифоров привлекался по Нечаевскому делу, был женат на сестре Веры Ивановны — Екатерине; впоследствии стал ярым толстовцем, в Москве приобрел значительную известность. Умер в Москве.

[2]) Намек на то, что в этой книге, которую «Дмитро», т.-е. Стефанович, должен был переслать за границу, с пути его на поселение, много написано мною химией.

[3]) Т.-е. центр. орган германской соц.-демократ. партии.

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ

Из вольн. ком.
25 февраля (2 марта) 1891 г. Карийск.

Недели две тому назад получил твое письмо, дорогая сестра, в котором ты поздравляешь с новым годом и подробно об'ясняешь, вернее оправдываешься, почему не пишешь мне больших, обстоятельных писем. Вот эти-то оправдания твои были отчасти причиной, что я не скоро собрался тебе ответить. Мне грустно и досадно становилось на себя, зачем я все эти годы приставал к тебе с просьбами о присылке обстоятельного письма, зачем я обвинял тебя в небрежном отношении к моим просьбам, когда, как теперь оказывается, твое болезненное состояние всему причиной. Но, вместе с тем, в твоих оправдательных аргументах есть

фразы, которые вызывают некоторые другие чувства, иные соображения. Я не буду на них останавливаться, не буду «копаться». Ты спрашиваешь, понятно ли (мне), что при таких условиях (каковы твои) может быть в самом деле трудно написать большое письмо? Конечно, мне это понятно, но... не буду останавливаться на этом, не то много пришлось бы сказать, быть может, невпопад.

Напрасно только, приведши подробное об'яснение, «оправдание», ты заявляешь что «в глубине души все-таки чувствуешь себя виноватой». Я более был бы доволен, если бы ты заявляла, что не чувствуешь себя виноватой, что по тем же причинам и впредь не будешь писать обстоятельных писем. Тогда для меня было бы определенно, и я примирился бы с мыслью, что «грустно, но что же делать»? Ну, да оставим это. — Далее, в твоем письме довольно обстоятельная полемика не со мной, хотя и по поводу моего письма, а с русскими самобытниками. Я высказал, что «отсутствие соответствующих фактических условий» мешает созданию у нас умственного течения новогегелианского характера. Ты же по поводу этой фразы приводишь воззрения Гейнцена, возмущавшегося «списыванием всего у Франции и Англии» и доказывавшего, что «в Германии совсем другие условия». Воззрения Гейнценов, или, как ты их называешь, германских Павиных [1]) 40-х лет, мне отчасти известны, с того времени, как, помнишь, я изучал историю движений среди германской молодежи. Другой твой аргумент в опровержение моей мнимой самобытности, — ссылка на русские журналы—«Р. М.» и «Сев[ерный] В[естник]», в которых можно почерпать доказательства быстрого разложения деревни, — также не по адресу и также мне известен. Ты, очевидно, совсем не поняла моей мысли, хотя, кажется, я очень ясно изложил ее. Я писал и теперь того же мнения, что ты «преувеличиваешь значение новогегелианской [2]) литературы и что умственное течение ей создать не удастся». Так как, кроме многого прочего, у нас нет для этого соответствующих фактических условий. В ответ на это ты спрашиваешь:

[1]) Так на нашем условном языке мы ради конспирации называли народовольцев.

[2]) Под этим словом я подразумевал *марксистскую* литературу и, конечно, оказался плохим пророком.

«А каковы были фактические условия Германии 40 лет тому назад?» Насколько мне известно, и там 40 лет тому назад не удалось создать сильного умственного течения новогегелианского характера, несмотря на то, что проповедниками его являлись такие лица, как Маркс, Энгельс и др.; и там литература, издававшаяся за границей (напр., «Deutsch-französische Jahrbücher») интересовала ограниченный кружок читателей, влачила жалкое существование, прекращалась с выходом двух-трех книжек и пр. Лишь лет 20 спустя, после изменения «фактических условий» и появления такой гениальной личности, как Лассаль, который, несомненно, отчасти подготовил почву, начинают в конце 60-х г.г. приобретать успех новогегелианские идеи. Мне кажется, что твоя ссылка на Германию 40-х годов говорит именно за меня. Ты, сама того не подозревая, косвенным образом подтверждаешь мой скептицизм по поводу значения новогегелианского направления, сообщая, что весной, с выходом 4-й кн. «Сборника», остановится или даже прекратится его существование. По этому случаю я, в свою очередь, могу тоже задать вопрос: как ты думаешь, если бы это направление имело очень большое значение в данное время в жизни читателей (как можно заключить из твоих сообщений, что «эти произведения поднимают целую бурю споров, заставляют думать и пр.»), — неужели оно влачило бы жалкое существование и прекратилось бы с выходом 4—5 кн.? Мне припомнились слова Герцена, что если данное издание не окупается, значит оно не имеет почвы. Я вовсе не сомневаюсь, что новогегелианское направление заставляет думать, спорить, проверять свои взгляды, но я уверен, что — только крайне ограниченный круг читателей и что «бурные споры» не более, как буря в стакане воды. Из всего того, что я высказываю, вовсе не следует, что я отрицаю всякое значение за новогегелианским направлением, что я против него, а за «самобытность», и что я сомневаюсь в возможности наступления «фактических условий», при которых только это направление действительно имело бы широкое значение. Нет, я только против твоих преувеличений, против чрезмерного оптимизма, который, признаться, мне странно видеть у тебя. От всей души желаю, чтобы мой скептицизм был блистательно опровергнут и чтобы, наоборот, оправда-

лись твои радужные надежды. Поживем, и если не увидим, то, быть может, услышим. Меня, как знаешь, очень интересует все, касающееся нашей семьи, а, между тем, ты почти ничего не сообщаешь о ней. Ты, напр., ничего не упоминаешь о Жорже, — как его здоровье, болеет ли он еще временами. Теперь, с открытием Коха, быть может, ему и тебе совсем удастся вылечиться? Судя по твоим сообщениям, ты исполняешь непосильную работу, чересчур утомляешься, крайне напрягаешь свои нервы. Это сообщение, между прочим, показывает, что вы бедны литературными силами, что предприятие ваше держится на 2 — 3 лицах, семья [1]) не увеличивается; что, в свою очередь, подтверждает мой скептицизм. — Сегодня как раз минуло 7 лет со времени моего ареста, и грустно слышать, что с тех пор вы все в том же числе... Спасибо большое за высылаемую немецкую газету «Frankfurter Zeitung». В ней много интересного; сравнительно с нашими русскими газетами, много сведений о геноссах, заграничных делах, парламентской жизни. Я просматриваю их довольно аккуратно. Второй экз. Бентама [2]), кроме посланного Зунду, о высылке которого мне ты сообщаешь, я до сих пор не получил и, повидимому, не получу, что очень печально. Решительно не везет мне с книгами! О себе, о своей жизни на этот раз нечего почти сообщать. В общем живется недурно, хотя довольно пусто, бессодержательно. К тому же с от'ездом Якова чувствую одиночество: хотя и много товарищей, но нет очень близких. Я уже сообщал тебе, что живу в отдельном домике-избе и хотя в ней нет удобств и комфорта заграничных квартир, но я чувствую себя в ней словно в великолепно меблированном помещении. Я уверен, что тебе очень понравилась бы моя кухонька, да и вообще здешняя жизнь. По временам, но редко, чувствуешь какое-то жизнерадостное настроение, какого, пожалуй, до пребывания в тюрьме не приходилось испытывать. Тогда

[1]) Т.-е. число членов группы «Освоб. Труда».

[2]) В нем должно было иметься химическими чернилами написанное большое письмо, но вследствие того, что ради конспирации эта книга была адресована Верой Ивановной на имя Зунделевича, ушедшего в это время с Кары в Акатуй, вышло затруднение в его получении мною.

пробуждаются те стремления к деловитости, к предприимчивости, которые, помнишь, особенно пробудились [у меня] перед арестом. К сожалению, при здешних условиях, сколько я ни ломаю головы, ничего не могу придумать, не за что ухватиться. Ты находишь, что я (судя по карточке) или не похож, или сильно изменился. И то и другое. Говорят, черты лица верны на ней, но выражение иное. К тому же я и изменился очень, — постарел, оброс сильно волосами и вообще подурнел, так что теперь ваша сестра решительно не имеет склонности плакать на [моем] плече, как ты выражалась. Ну, пора и покончить. Не напрягайся, не заставляй себя насильно писать большие письма мне, раз не пишется или обстоятельства не благоприятствуют, — лучше не пиши. Всем близким мои наилучшие пожелания и приветствия. Кто из старых знакомых жив или умер, уехал куда? и пр.? Ну, крепко тебя целую,

твой брат.

ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ

(из вольной команды, конспиративное)

1891 г. Карийск.

Дорогая сестра! В последнем письме ты сообщаешь, что усердно работаешь в заведении Рольника и что эта работа не отражается вредно на твоем здоровьи. Я, признаться, мало этому верю: не может быть, чтобы эта работа не отражалась вредно, и меня вовсе не радует, что ты доказала скептикам, сомневавшимся в возможности исполнить начатое, что твоим единоличным трудом совершена задуманная работа. Что толку в том, что появится еще одна работа, могущая, при наилучших условиях, принести некоторую пользу нескольким лицам, когда, вместе с этой незначительной пользой, ты окончательно подорвешь свое и без того плохое здоровье? Впрочем, мои доводы и соображения тебе заранее известны, к тому же запоздали, так как ты теперь, конечно, уже покончила с этой работой. Обрадовало меня твое сообщение (в этом же письме) о том, что Жорж сотрудничает в «Neue Zeit»: это было одним из наиболее горячих моих желаний, о чем, помнится, я давно тебе

писал. Жаль, ужасно жаль, что я не могу прочитать его статьи о «Гегеле», но надеюсь со временем их прочитать, конечно, при вашем старании [1]). Я много раз писал и просил тебя и Павла, чтобы вы, пользуясь оказией от вас, переслали Мане для меня коллекцию интересующих меня, между прочим, иностранных произведений, — неужели это так трудно сделать? Мне решительно не верится, — просто вы забываете или пропускаете оказии. Понимаю, что вам часто не до того, чтобы заботиться об исполнении моих просьб, но войдите и в мое положение: ведь мне не к кому, кроме вас, обратиться с просьбами о присылках интересующих меня книг, ведь только об этом прошу я вас! Раньше я просил тебя еще о присылке франц[узских] романов, о писании больших писем, но вот уже более года, как я, на основании твоих ответов, убедился в тщетности этих просьб и примирился с невозможным. Остается еще одна единственная просьба — присылать интересующие меня иностранные произведения левых гегелианцев, и это, мне кажется, вполне выполнимо, при некотором старании.

Я не буду описывать, какое громадное значение могут иметь такие произведения для меня (и некоторых других), при условиях нашей жизни, какой интерес возбуждают малейшие сообщения, заметки о вопросах из этой области, попадающиеся в нашей прессе. То, что вам кажется избитым, давно известным, а, следовательно, мало или вовсе неинтересным, здесь читается, комментируется и дебатируется на все лады, конечно, не всеми — многие потеряли всякий интерес к теоретич[еским] вопросам, да и к практической постановке вопроса на Западе. Но я без малейшего самохвальства могу сказать, что не чувствую никакого изменения ни в моих отношениях к теоретич[еским] вопросам лево-гегелианской философии ни в моем практическом настроении, если можно так выразиться. Нельзя сказать, чтобы я за все эти годы не изменился в этих отношениях. Но мне кажется, что происшедшая во мне перемена — в лучшую сторону, в сторону бо́льшего понимания, зрелости, опытности. Я не чувствую себя нисколько надломленным, разочарованным, пессимистически настроенным, что

[1]) Т.-е., если они позаботятся о конспиративной ее пересылке.

так распространено в последнее время. Между тем как многие ничего не ждут для себя впереди, ударяются в мелочи повседневной жизни, заводятся своим домком, — мне, как помнишь, в последние годы при тебе, хочется практического дела, совмещающего возможность и теоретических занятий. Невозможность осуществить это желание повергает меня иногда в тоску, от которой я подчас не нахожу себе места. Часто мне кажется при таких настроениях, что звезда моя закатилась, что скрытые и чувствуемые мною внутри себя способности так и не найдут сферы для их проявления, так и останутся в неразвившемся, зачаточном состоянии. Иногда же, наоборот, я как бы явственно ощущаю, что проживу еще много - много лет, что дождусь таки лучшего периода и осуществлю затаенные мечты. Последнее, т.-е. бодрое настроение, конечно, об'ясняется в значительной мере, кроме некоторого теоретического развития и понимания, физическим моим состоянием, здоровьем и крепостью. Раньше, живя на воле, я не обращал на это внимания, не придавал значения здоровью. Теперь, благодаря годам, проведенным в здешних условиях, где очень часто нужна физическая сила, я оценил эту сторону своего организма. Правда, я к физическому труду не имею ни малейшей склонности; я и не способен к нему, а лишь к некоторым родам интеллектуально-практическим. Но я не склонен ни к каким болезням, очень вынослив и довольно силен, — в этом отношении могу благодарить судьбу...

Вчера не докончил этого письма, сегодня днем был на похоронах сестры Ивана Николаевича [1]), которая умерла от чахотки. Муж ее — ты его, вероятно, помнишь: он приезжал вместе с Иван. Никол. — проживал здесь около года, но застал ее уже неизлечимо больной. Теперь он вместе с сынком, 11-летним мальчиком, возвращается домой. В последнем отношении я ему очень завидую: страшно надоела мне здешняя страна, и я охотно уехал бы отсюда. К сожалению, не вижу конца моему пребыванию здесь. Правда, при благоприятных условиях, о которых я писал тебе в одном из предыдущих писем, я могу вскоре очутиться вместе с

[1]) Софья Богомолец, сестра Ив. Ник. Присецкого, судилась по д. Южно-рус. рабочего Союза (Щедрина, Ковальской и др.).

Дмитром, но ты знаешь, что там хуже, чем у нас, почти во всех отношениях. Унывать, конечно, нечего. Но грустно, что «годы уходят, все лучшие годы...». Впрочем, в общем, беря относительно, мне грешно жаловаться на свою судьбу и положение: во-первых, могло быть и гораздо хуже, во-вторых, сравнительно со многими, живущими со мной, мои условия куда лучше и в материальном, и в интеллектуальном, и пр[очих] отношен[иях]. Живу я, как товарищи острят, «Kleinbürger'ом» [мелким буржуем] или «эпикурейцем», имею относительно сносную обстановку, небольшой заработок (в 15 р.), могу заниматься и пр. Но неудовлетворенность тем сильнее во мне сказывается, чем легче мне удается улаживать мелочные улучшения в моей обстановке. Я охотно согласился бы жить полнейшим ригористом и иметь целиком поглощающее меня дело, чем при благоприятной обстановке прозябать, жить изо-дня в день, без общей цели. Но я начинаю вдаваться в изображение своего «я», — довольно о себе. Пиши, ответь мне подробно на это письмо... Ты меня не балуешь большими письмами. Ну, исполни же мою просьбу об иностранных книгах и напиши о себе поподробнее. От Сашеньки давно-давно не имею никаких известий; часов также не получал, но недавно, после $1\frac{1}{2}$ лет молчания, Маня, наконец, разрешилась письмом, в котором свое продолжительное молчание об'ясняет массой занятий и просит быть к ней снисходительным. От Дм[итра] также получил огромное письмо, чрезвычайно интересное и обстоятельное. Если переписываешься с ним, передай ему за это письмо большущее спасибо. Напрасно не сообщаешь мне своего непосредственного адреса. Целую крепко тебя и всех близких. Хоть в нескольких словах сообщай мне постоянно о них что-нибудь.

Твой Лев.

Передай Павлу мою настоятельнейшую просьбу, чтобы он снова высылал Frankf. Zeitung по следующему адресу: Давиду Ивановичу Чхотуа, город и губерния те же, что и прежде, без всяких передач. Он может (или ты) выслать и другую или отдельные наиболее интересные №№ и других газет.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

(из вольной команды)

Карийск, 22 июня (3 июля) 1891 г.

Хорошая сестра моя! Наконец-то я получил от тебя, после 4-х месяцев, сразу два письма. Я уже отчаивался, получу ли когда от тебя что-нибудь; уже строил всевозможные тревожные предположения... И вдруг, получаю твои письма (от апреля мес.), к тому же такие хорошие, интересные и сравнительно большие. Я сам отчасти виноват перед тобою, — я также все эти 4 месяца не писал тебе, и ты, поди, теперь беспокоишься за меня. Но вина моя смягчается многими «независящими» обстоятельствами. Во-первых, я с недели на неделю ждал, что вот получу от тебя письмо и тебе отвечу; а во-вторых, — и это главное — неопределенность нашего положения. Дело в том, что, как ты, конечно, читала в газетах, по поводу путешествия наследника по Сибири издан манифест, по которому все осужденные и находящиеся в Сибири получают сравнительно большие скидки со сроков. В какой мере и когда к нам применят этот манифест, нам еще не об'являли. Но, судя по тому, что, как ты знаешь, нас почти во всем сравнили с уголовными, можно думать, что и нам сделают те же скидки со сроков, какие им сделают. Тогда я могу выйти на поселение через год. Но не подумай, дорогая, что эта перспектива особенно меня радует. Если пошлют в Якутку, куда всех наших ссылают, то, пожалуй, во многих отношениях будет хуже, чем здесь. Как ни как, здесь все же живешь среди людей, можешь сравнительно скоро (через $1-1\frac{1}{2}$ мес.) узнавать о близких и о том, что делается на белом свете, можешь найти себе даже заработок и не испытывать нужды не только в предметах первой необходимости, но даже в некоторых предметах комфорта. Там, в Якутске, как знаешь, часто нуждаются в хлебе, которого негде достать, не говоря уже о чае, табаке и т. п., но было бы неправдой, если бы я сказал, что буду огорчен или даже равнодушен, ввиду предстоящего ухода на поселение. Якутка, конечно, скверная перспектива, но не

век же меня там будут держать,—может, со временем, переведут в лучшее место, припишут в «крестьяне», дадут право раз'ездов. Словом, с уходом на поселение открываются «перспективы», — можешь льстить себя надеждой «в более или менее отдаленном будущем» возвратиться в «первобытное состояние», если еще и еще будут манифесты.

Вот, пока не выяснилось наше положение, пока не узнаешь, уйдешь ли на поселение и когда, — чувствуешь себя не по себе и ни за что определенное не можешь взяться, даже и за писание письма. Такое состояние длится у нас уже около двух месяцев, и мы не знаем, сколь долго оно еще продлится. Ты, я уверен, поймешь это состояние и не строго меня осудишь, зачем долго не писал тебе. Теперь к твоим письмам. — В одном из них ты описываешь, очень мило, свою матоидальность и, начитавшись остолопа Ломброзо [1]), готова, кажется, поверить, что и в самом деле ты — матоид. Насколько я себе по письмам представляю твое положение и состояние, в нем нет ничего странного и ненормального, — конечно, с нашей, а не ломброзовской точки зрения. «Забвение о своем существовании» — неизбежное состояние у каждого, кто сильно увлекается каким-нибудь приятным ему занятием, которое он сам себе выбрал или случайно на него наткнулся и почувствовал, что не безрезультатны его усилия. Даже при вполне удавшейся личной жизни, которой у тебя нет, мне понятен интерес к «совершенно не касающимся данного лица вещам», — не только к «Гегелю или к какому-нибудь XVIII или XVI в.в.», но даже, напр., к третичной формации, ископаемым и т. п. мертвечине. Даже когда данное лицо не видит никаких результатов от своего интереса, я вполне понимаю его состояние, тем более оно понятно, когда оно видит, что не зря занимается тем или другим предметом, что, кроме собственного выяснения, обогащения себя знаниями, оно может — и на самом деле это делает — делиться с другими. Не верю, дорогая, что ты волнуешься «совершенно бескорыстно», «ничего определенного не ищешь». Я не сомневаюсь, что ты действительно так думаешь, но на самом деле, ввиду своих литературных работ, существует неясная для тебя, не формулированная тобою связь между твоими «волнениями по поводу XVIII и XVI в.в.» и действительно занимающими тебя вопросами. Для иллюстрации приведу пример из собственной жизни. В тюрьме, прочитывая, напр., в геологии, какое влияние на колебание почвы производят крупповские заводы или что-нибудь в этом роде, ничего, кажется, общего не имеющее ни с моей жизнью, ни с моими воззрениями, — я с таким увлечением начинал излагать и развивать данный факт, что Дмитро меня всегда в таких случаях называл «матоидом». Но я себя нисколько таковым не считаю, и если на несколько минут остановлюсь мыслью на связи интереса к этому факту с общими моими убеждениями, то несомненно всегда найду ее и смогу ее показать. Меня, напр., очень интересуют первобытные учреждения, и я приходил часто, как ты говоришь «в волнение», когда связывал в уме два явления, которые прежде торчали в нем порознь. Живи я, как ты, совершенно особняком, не имей я никого, кому бы мог передать свои мысли (что, впрочем, иногда случалось), я, вероятно, мог бы также, «по 2 часа проходить взад и вперед». И уж, конечно, я был бы более в праве сказать, что «ничего не ищу, волнуюсь бескорыстно», так как нигде не печатаюсь и не задаюсь никакими теоретическими темами. Но, во-первых, есть много общего в нашем положении, во-вторых, тем-то и хорош марксизм, что он является путеводной нитью, как бы канвой, на которой вышиваются самые затейливые узоры. Чем бы ты ни занимался, что бы ни наблюдал, — все даст тебе материал для пополнения, расширения и дальнейшего разукрашивания узора.

Мне теперь пришла в голову мысль: а вдруг ты, прочитавши все это, скажешь: «не то, не то, — ни при чем здесь марксизм и мои литературные занятия!». Ну, тогда извини, — я, значит, тебя не понял. Но сомневаюсь: мне так ясно представляется твое «волнение», твой «бескорыстный интерес», что трудно поверить, что я ошибаюсь. Во всяком случае, я рад, что ты испытываешь описанное тобою состояние, что тебе оно нравится и что ты ему рада. Боюсь

[1]) Известный итальянский ученый, настаивавший на существовании наследственной преступности и проповедывавший аналогичный вздор. Им же, если не ошибаюсь, введен был термин «матоид» для обозначения человека, одержимого в сильной степени какой-нибудь идеей, влечением, — родственно маниакальности.

только, как бы чрезмерное увлечение занятиями, при ненормальном твоем образе жизни, не отразились на твоем здоровьи. Я часто думаю о нем, и, признаться, сильно тревожат меня такие мысли: а вдруг разболеешься, как Лиза?..

Обрадовало меня известие, что у тебя теперь «собственные, рассобственные 100 франков в месяц». Откуда ты их возьмешь? А часов я все еще не получил и много терплю из-за них, много теряю времени. Я уже жалею, зачем надумал о них писать тебе, так как тогда сам купил бы здесь или выписал бы. Не получая долго от тебя писем, уже решил выписать из Питера (магазина) и даже сдал уже письмо, когда получил твои 2, в одном из которых ты опять пишешь, что поручила Вите мне выслать, и я взял назад свое письмо. Ты советуешь мне за всем мне нужным обращаться к Сашеньке: но, во-первых, нам запрещено переписываться не с родственниками, а я уже месяца 3—4 не получаю ни от нее, ни от Дмитра ни строчки; о нем я не знаю даже, где он теперь и что с ним? Не знаешь ли ты чего? Во-вторых, я давно написал Сашеньке, что мне нужны одеяло, простыни и некоторые другие вещи; но она вместо вещей почему-то прислала в ответ 150 р. Деньги, конечно, пошли на жизнь, а этих вещей у меня все же нет. Но ты не вздумай, чего доброго, прислать их. А вот о чем попрошу тебя. На случай, если меня вскоре отправят на поселение, особенно в Якутскую область, недурно было бы, если бы ты имела для меня наготове рублей 75, а то и 100[1]). Если сама не можешь их раздобыть, то обратись от моего имени к близким, помнящим меня (Ане, Павлу, Сергею). Когда их раздобудешь, — чем больше, тем, конечно, лучше, — то сообщи мне об этом; я же со временем напишу тебе, когда и куда мне их выслать. Путь отсюда в Якутку более тяжел и утомителен, чем тот, по которому нам пришлось итти из России сюда. — Ну, спешу закончить это письмо, чтобы оно ушло с ближайшей почтой. Скоро еще напишу о своем впечатлении относительно немецкого сочинения Каутского «Neue Zeit» (в 4 т.т.)[2]), которое мне прислал

[1]) Я просил о присылке денег, имея в виду побег, если бы к этому представилась возможность в пути из Кары в Якутскую область.

[2]) Ради конспирации, ввиду незнания немецкого языка нашими цензорами, я таким способом уведомлял своих друзей о получении за-

Павел. Пока скажу, что произведение о героях[1]) из буржуазной среды мне и др. наиболее всего понравилось, затем о геноссах[2]), о Парижском конгрессе. Произведения же о Чернышевском—моим сослуживцам не особенно: слишком расплывчато, много повторений, размазывания, — таково их впечатление. Павлу передай, чтобы он не присылал более Frankf. Zeitung, так как нам запрещено получать газеты и журналы. Но пусть пришлет следующие томы «Сборника». Самый сердечный привет и наилучшие пожелания Жоржу, Павлу, Лизе, Ане, а тебя крепко обнимаю.

Твой Лев.

ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ

(из вольной команды)

Сентябрь 1891 г.

Дорогая сестра, уже несколько месяцев, как не получаю от тебя писем. Последние два письма получил одновременно в июне, и я тотчас же ответил.

Начинаю уже беспокоиться, хотя в последний год, со времени моего выхода в вольную команду, такие беспокойства уже случались, и я утешаю себя мыслью, что и на этот раз твое молчание об'ясняется не каким-либо несчастьем, а, в сущности, незначительным обстоятельством. Последние два твои письма произвели на меня самое приятное впечатление, и мне очень грустно было бы, если бы вслед за ними что-нибудь прискорбное помрачило твое состояние. Я, в свою очередь, не писал отчасти потому, что ожидал твоего письма, а главное, — вследствие всяких мелких причин, забот, хлопот, ожиданий и пр. Почта теперь отходит у нас раз в 10 дней, и вот, если почему-нибудь не удалось написать к данной отправке, то приходится ждать следующей почты, а там, смотришь, что-нибудь снова помешало; иногда приготовишь заранее письмо, а к дню отхода почты находишь его уже несоответствующим настроению,

деланными в переплетах издаваемых тогда в Женеве моими друзьями Сборников «Социал-Демократ».

[1]) Статья Веры Ивановны «Революционеры из буржуазной среды».

[2]) Статья П. Б. Аксельрода о германской социал-демократии.

не отсылаешь его и не можешь собраться написать новое. В настоящее, напр., время пишу при самых несоответственных писанию условиях, о которых долго пришлось бы рассказывать, если бы пожелал тебя познакомить с ними. Ничего особенно неприятного, нехорошего нет в этих условиях, но и приятного мало. Главное в них — хозяйственные заботы, о которых ты, живущая в культурной стране, не можешь составить себе ясного представления. Теперь, с наступлением осени, приходится заняться ремонтом своего жилища: мазать, белить, конопатить, поправлять заваленку, обивать дверь, вставлять двойные рамы и пр. Но самое главное и сложное — это заготовка дров на зиму, о чем я уже писал. Вот уже 3-я неделя пошла, как мы, в количестве 12 человек, рубим, пилим, колем и складываем дрова в лесу, отстоящем от нашего поселка на расстоянии 5 — 6 верст.

Сентябрь здесь вообще довольно сухой и сравнительно еще теплый месяц, что, однако, не мешает по утрам воде замерзать, а иногда дождям промачивать нас изрядно; тем не менее, довольно сносно работать и жить при этих условиях, а главное — очень здорово. Поэзии также очень много в работе, — в рубке леса (припомни Некрасовскую Сашу: «Лес зазвенел, застонал, затрещал»). Только чересчур уж долго приходится наслаждаться этой поэзией и совершенно не прикасаться к печатному материалу, а это не особенно приятно. Правда, раз в неделю мы устраиваем себе «дневку» — отдых и возвращаемся домой, но не до чтения в такие дни: приходится исполнять всякие мелкие поручения и делишки. А подчас очень тоскливо без книги. Да, много неудобств в некультурной стране. Хотя, конечно, при средствах и здесь можно устроиться более или менее сносно. Но довольно о буднях нашей жизни. Бывают у нас и «праздники» по случаю какого-нибудь «события», напр., именин, крестин, приезда или от'езда кого-нибудь из товарищей, свадьбы и пр. Отчасти наши условия и образ жизни не благоприятствуют тому, чтобы следить за процессом, происходящим в среде европейских народов, в частности в среде геноссов. Тем не менее, из тех отрывочных сведений, которые до нас долетают, можно заключить, что особенного там ничего не происходит, что и там «будни», разнообразящиеся незначительными торжествами. Впрочем, может быть, это лишь так издали кажется. Хотелось бы верить, что в действительности веселее, разнообразнее на Западе, чем мне представляется. Смутное у меня представление о выработанной геноссами новой программе, об интернациональном конгрессе и пр. Павел совсем замолк после того, как еще в марте прислал мне письмо и 4 немецкие книги с интересными статьями, о которых я уже много раз излагал свое и других мнение. Он прежде имел похвальную привычку делиться со мной сведениями о жизни геноссов. Я также тщетно жду и не дождусь, должно быть, продолжения полученных мною статей. Между прочим, в последнем письме к нему я просил его прислать мне две книжки Вейзенгрина, о котором в «Р. М.» и «Юр. В.» были интересные рецензии и отзывы как о стороннике материалистических взглядов Маркса. Прошу и тебя позаботиться о присылке этих книжек и, вообще, аналогичных, конечно, в том лишь случае, если твои материальные условия благоприятны, о чем ты упоминаешь в 2-х последних письмах. Но с тех пор прошло много времени, и многое могло измениться. Ты тогда писала, что можешь даже прислать деньги сестре Сашеньке, чтобы она исполняла мои поручения. Но я скептически отношусь к этому благому намерению, т.-е. ни у нее, ни у тебя не будет свободных для этого средств. От Дмитра решительно никаких известий с февр. месяца. Не знаю даже, где он, доехал ли он до Якутки! О применении к нам манифеста также ничего неизвестно, когда и что? — Ну, спешу закончить: сегодня возвращаюсь в лес не с особенной охотой, потому что утро было очень холодное, окна сильно замерзли. Пиши же как о себе, так и о близких. Кланяйся от меня. Шлю им всем самые теплые и сердечные пожелания...

Твой Лев.

ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ

23 октября (5 ноября) 1891 г.

Дорогая сестра, недели три тому назад я получил твое письмо из Цюриха, и, признаюсь, оно произвело на меня самое грустное впечатление: ты сообщаешь, что приехала

отдохнуть от долгов, бед и хлопот и лишь вскользь упоминаешь о своей болезни. Последняя меня ужасно беспокоит. Чувствую, что здоровье твое совсем расстроилось, хотя ты и заявляешь, что «прокашляешь до 100 лет». К тому же и настроение у тебя скверное. Да и сообщения твои о материальных твоих условиях неутешительны: — «в заведении Рольника произошел кризис», и его уже «раз описывали». Понятно, что все эти известия произвели на меня самое удручающее впечатление, а тут, спустя несколько дней, со мной случилось несколько неприятное происшествие. В предыдущем письме я сообщил тебе, что мы заготовляли дрова в лесу на зиму себе, и вот, во время пилки один товарищ нечаянно топором задел один мой палец так, что часть сустава (кости) отскочила: пришлось подвергнуться операции, — отрезали первый сустав указательного пальца на правой руке. Более двух недель уже прошло с тех пор, теперь уже заживает, но пока еще побаливает. Особых мучений при этом не испытывал, и все обошлось благополучно. Пишу, как видишь, попрежнему. Неприятно только, что это как раз случилось теперь, в холодное время, когда масса работы по дому, — топить, возить воду, дрова и пр. Само собой разумеется, товарищи за мной ухаживали, когда я возился с пальцем и теперь освобождают меня от непосильной работы. В этом отношении нельзя пожаловаться: внимания и забот проявляли мне больше, чем следовало, так что приходилось даже отказываться от услуг, просить оставить меня в покое. Все вместе — грустные известия, происшествие с пальцем и некоторые местные условия, о которых долго было бы распространяться, повлияли неблагоприятно на мое настроение. Быть может, под влиянием его я в последнее время испытываю сильные головные боли, а может быть, они об'ясняются угарами от русской печки. Но, вообще, я вполне здоров, крепок и силен, по крайней мере, чувствую себя сильнее, чем был на воле; да и вообще живется недурно мне и в последнее время даже читать удается больше, благодаря тому, что вследствие пальца я освобожден от тяжелых работ (до полного заживления, конечно); таким образом, как видишь, «нет худа без добра»; и я действительно могу сказать, что проживу до 70—80 лет, если не случится со мною непредвиденного обстоятельства.

А в моих условиях всякая неожиданность возможна. Впрочем, с кем не может случиться неожиданности?.. Поэтому нечего и думать о ней. Другое дело — твое положение: состояние твоего здоровья да и вообще твои условия. Ужасно тяжело и грустно становится, когда представляю себе твое положение. Сознаешь, что бессилен предпринять что-нибудь, не знаешь, каково тебе в данное время: ведь так много времени проходит с момента отправки до получения письма, и чего не может случиться в этот период?.. А ты еще так редко пишешь, частенько приходится тревожиться. Два дня не писал тебе по причине больного пальца: разбередил его всякой мелкой работой. Хотя товарищи устраняют меня от работы, но очень скучно за всякой мелочью обращаться к ним или дожидаться, пока кто зайдет и, поэтому, то самовар поставишь, то печку вытопишь, то снег отгребешь кругом избы, а на пальце все это отзывается. Вот и теперь даже при писании он побаливает, хотя я не им держу перо. Но через неделю — maximum две, надеюсь, совсем пройдет всякая боль, тогда наступит тяжелая работа — возка дров за 5—6 верст раз в 8—9 дней. Нехорошо жить одному без близкого человека. Но довольно о себе. Ту статью в «Рус. М.», о которой ты упоминаешь («Новая гипотеза» и т. д.), я читал и вынес о ней такое же впечатление, какое и ты. Автор не твердо усвоил диалектический материализм и, мне кажется, главным образом потому, что он подошел к нему не с надлежащей стороны, т.-е. не с политико-экономической, а с социологической, в чем, по-моему, ошибка также Михайловского, Липперта и других, которые, казалось, могли бы уразуметь марксизм; между тем, путаются и впадают в эклектизм. Не знаю, вполне ли ясно я тебе изложил, в чем, по-моему, причина непонимания многими Маркса. Но и некоторых твоих замечаний по поводу возражений противников я или не понимаю, или с ними не согласен. Ты возмущаешься тем, что «каждому историческому явлению пришпиливают определенную какую-нибудь экономическую причину» и, как доказательство нелогичности такого взгляда, приводишь, в числе других примеров, следующий: «а какую экономическую причину видите вы в магометанстве?»... Мне кажется, что такие крупные исторические явления, как магометанство и «раз-

рушение Рима», имеют в своем основании главным образом экономические причины.

2 (14) ноября.

Как видишь, не писал тебе более недели: никак не мог,— большую часть времени проводил у одних знакомых из местных обывателей [1]), где ухаживал за больным отцом семейства, утешал мать, у которой куча детей (6 душ мал-мала меньше). Скучное и пренеприятное занятие, но обстоятельства так сложились, что нельзя было отказаться. Ты не упоминаешь, чем же теперь вы заняты, раз заведение Рольника прекратило свое существование? Пишете ли вы с Жоржем что-нибудь? Неужели вы не можете пристроиться в каком-нибудь иностранном журнале? Особенно Жорж при его способностях и знаниях, — право, досадно даже, что он мало известен иностр. публике. Насчет денег, которые я просил (рубл. 75—100), не хлопочи особенно: будут — хорошо, нет — обойдемся. Но ни в каком случае не посылай их мне, пока сам не попрошу; то же сообщи и Сашеньке.

Постигший Россию голод отозвался и на наших финансах: получки стали очень скудны; приходится сокращаться в расходах. Я как-то не умею жить в границах получаемого и всегда в долгах, хотя, конечно, они ничтожны — в несколько рублей. Как на вашей жизни отзывается голод, существующий в России? Ну, всего тебе и др. наилучшего. Крепко целую тебя.

Твой брат.

ПИСЬМО СЕМНАДЦАТОЕ

(ВОЛЬНАЯ КОМАНДА. ОФИЦИАЛЬНОЕ)

16 февр. 1892 г.

Дорогая сестра! Вот уже около месяца, как получил твое письмо, а до сих пор не собрался тебе написать. Раньше со мной этого никогда не случалось: я всегда бывал аккуратен в переписке, всегда отвечал вскоре по по-

[1]) Это был уже описанный мною в очерке «Некрасов и семидесятники» мелкий золотопромышленник, П. Чистохин, двух старших мальчиков которого я обучал в течение 5 лет.

лучении письма. Никаких особых причин моего замедления в ответе, никаких происшествий не приключилось со мною,— просто неохота была взяться за перо, не мог никак собраться. И не то, чтобы я был особенно занят, тогда-то я и аккуратен, а когда тянешь лямку, не хочется писать. Отчасти, впрочем, и ты сама виновата: ты знаешь, или, по крайней мере, можешь себе представить, как монотонно однообразна наша жизнь, как мало дает она материала для бесед, а особенно для переписки; тем не менее, думаю, я находил бы темы для писем, если бы в тебе встретил отклик. Много всяческих попыток делал я, и все они оставались безрезультатны[ми]. Признайся, что меня нельзя попрекнуть в отсутствии старания, усердия в этом отношении. Но ты, в конце концов, обезоруживаешь меня: у меня опускаются руки. Не знаю, с какой стороны подступить, о чем писать? Не знаю даже, интересуют ли тебя те темы, которых я касался. А о чем же мне писать, как не о том, что меня окружает, что меня занимает? И естественно, из году в год сообщая об одном и том же, — что при однообразных условиях моей жизни неизбежно, — я поневоле должен повторяться, следовательно, и надоесть. Не думай, дорогая, что это мнительство, укоры и т. п. Я только об'ясняю, почему мне теперь трудно подолгу взяться за перо, чтобы тебе написать, чего со мной никогда раньше не случалось: ведь я, припомни... (на этом месте меня прервали гости, а там пошли всякие мелочи, и я три дня не мог взяться за перо). Не буду перечитывать написанного, не буду продолжать... Судя по всему, твои материальные условия очень скверны, да иначе и быть не может: свирепствующий в России голод, наверное, отражается и на ваших условиях, так же как на наших он отразился. Но мы все же живем не хуже, чем в прошлом году. Хлеб да и вообще с'естные припасы не дороги, и у многих, кроме казенного пособия и небольших получек из дому, есть кое-какие, хотя и ничтожные, заработки; к тому же и потребности у нас не очень велики. Я лично живу даже лучше, чем часто случалось, когда был с тобой. В этом, т.-е. в материальном отношении, мне везет, как никому пока. Но, «не единым хлебом сыт будешь», я не могу похвастать, что всегда в хорошем настроении. Впрочем, об этом ты и сама можешь догадаться,

и мне нечего много расписывать о причинах полной внутренней неудовлетворенности. Достаточно, если скажу, что часто вспоминаю слова поэта: «а годы уходят, все лучшие годы». Читать, кроме журналов и газет, удается мало, отчасти потому, что особенной охоты нет, «нет цели впереди», отчасти — обстановка, условия нашей жизни мешают, а главное — настроение: тоска, тоска! Это общераспространенное ощущение, — кого ни встретишь, с кем ни поговоришь,— все на нее, злодейку, жалуются! Да оно и понятно: кто обзавелся своим очагом и поглощен весь день всякими житейскими заботами и мелочами, не имеет досуга предаваться размышлениям о своем настоящем и, вероятно, не тоскует; остальные — холостяки, а их большинство, поневоле предаются анализу, и в результате — ощущение неудовлетворенности, бесцельности и пр. Все это избито, давно известно. Теперь у нас здесь масленица, — последний день (16/28 февр.); веселья, конечно, мало в этом глухом, безлюдном месте; проедет пьяный золотоискатель или офицер, и только; среди наших и того меньше, даже и ехать кататься не удается. А я ужасно люблю катанье в санях на хорошей лошади. Последнее, т.-е. приобретение саней и лошади — моя мечта, которая, вероятно, ею и останется, хотя при некотором старании мог бы ее осуществить даже теперь. Но есть более настоятельные потребности: не говоря уже о злополучных часах, которых у меня все же нет, я не имею пока даже одеяла и т. д., но опять-таки не потому, что невозможно мне приобрести всего этого, что нет средств, негде их достать, — достать-то я их мог бы, да отчасти мой безалаберный образ жизни мешает: деньги, как говорится, меж пальцев расползаются, и не то, чтобы я кутил или что другое в этом роде, а так, зря уходят, за то живу без больших лишений и забот.

До сих пор еще ничего неизвестно о применении к нам манифеста. Быть может, пройдет еще не один год. А я уже, признаться, предполагал, что в этом году уйду на поселение, хотя разницы большой нет, все же, может, разнообразие. Я никого из вас не забываю, часто вспоминаю, и тяжело становится, когда думаю, что больше не придется свидеться... Но, авось, когда-нибудь судьба сжалится...

Твой брат.

ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ

22 апреля (4 мая) 1892 г. Карийск.

Дорогая сестра, недель шесть прошло, как получил твое последнее письмо, в котором ты сообщаешь, что Жорж уехал в Париж на свидание с кем-то из родственников [1]) и что Павел у вас гостит. Ты возлагаешь какие-то особые надежды на эту поездку Жоржа для дел вашей семьи. Меня это, конечно, очень интересует. Но при чем здесь родственники Павиных и Тамары? [2]) Все это для меня загадки. Впрочем, надеюсь, что в следующем письме они раз'яснятся. Произведения Тамары, о которых ты вскользь упоминаешь, отчасти мне известны, т.-е. некоторые ее английские статьи в «Free Russia» и роман [3]). Правда, что она не прогрессирует [4]), но все же, вероятно, для английской публики полезны сообщаемые ею сведения. Очень обрадовало меня твое сообщение, что Жорж печатается в «Neue Zeit» и что его Фр[идрих] Кар[лович] [5]) высоко ценит. Бесспорно, он один из самых талантливых и образованных современных лево-гегелианцев. Ты, конечно, представляешь себе, как бы я хотел сам прочитать его статьи. Напрасно ты не стараешься, тем или другим способом, прислать их или в письмах познакомить меня хоть вкратце с содержанием его статей. Я предвидел и заранее беспокоился за твое здоровье, узнав, что ты очень усиленно занимаешься работой

---

[1]) Т.-е. на совещание с некоторыми народовольцами и др. о совместном издании журнала.

[2]) Павиными, как я уже сообщал, мы называли народовольцев, а Тамарой — С. Кравчинского.

[3]) «Свободная Россия» — ежемесячный журнал, предпринятый Кравчинским сообща с несколькими англичанами, образовавшими по его же инициативе «Об-во друзей России», для агитации против деспотического русского правительства. Под романом я имел в виду его «Андрея Кожухова», незадолго пред тем вышедшего по-английски.

[4]) Под «она» надо понимать «Тамару», т.-е. Кравчинского, а говоря, что она «не прогрессирует», я, вероятно, подразумевал, что Кравчинский, несмотря на близкое знакомство с Энгельсом, все же оставался романтиком, народовольцем, утопистом.

[5]) «Фридрихом Карловичем», конечно, был Энгельс.

в заведении Рольника[1]); надеюсь, что наученная горьким опытом, по крайней мере, впредь не будешь производить над собою таких экспериментов. Не знаю, огорчаться ли и жалеть ли, что ты, как сообщаешь, забросила давно чтение и поглощена перепиской со многими родственниками?[2]) Если результатом этой переписки ты сама довольна, то можно, конечно, на время и расстаться с чтением. Но очень сомневаюсь, чтобы ты была довольна: при твоей нелюбви к переписке, тебя, вероятно, удручает это занятие. Переписываешься ли с Дмитром? Что он тебе сообщает? Я от него получил за все время две книги, значит, знаю, что он жив, но у тебя, должно быть, есть подробные его письма... Недавно нам об'явили о применении к большинству из нас манифеста по случаю проезда наследника по Сибири. Я и еще человек 10 из'яты, но, повидимому, вследствие характера наших дел. В числе из'ятых из твоих знакомых также и Зунделевич и Фомин. Те, к которым не был применен манифест 1883 г. (коронационный), получили сбавку трети срока, а к которым уже тот был применен, получили скидку 1 года. Признаюсь откровенно, что я не ожидал из'ятия, но и не огорчен этим обстоятельством, так как перспектива поселения в Якутской обл. вовсе не заманчива. Правда, и там люди живут, и там есть свои относительно хорошие стороны, но я навряд ли удовлетворился бы ими. Здесь, по крайней мере, в смысле материальных, житейских удобств можно устроиться довольно сносно, а там мелкие лишения и нужда могут вогнать в отчаянную хандру. Терпеть не могу, когда приходится думать о мелочах жизни,—о том, где бы и как бы достать того или этого. И без того жизнь «такая пустая и глупая шутка», а тут еще заботься, придумывай, что и как достать и сделать! Но из этого ты не заключи, что я занят «высшими», «интеллектуальными» вопросами: и умственных интересов мало, если не сказать почти никаких. Знаю из повременных изданий, что делается на белом свете, говорю об этом с тем или другим товарищем, читаю более или менее устаревшие уже сочинения по социальным вопросам, — но все это так, для препровождения времени, как провинциальная барышня смотрит по целым дням в окно или читает забористые романы. Цели, смысла, системы нельзя при наших условиях вкладывать в занятия,— «лишь бы день прошел — и слава богу». Но и это будет неверно, если ты подумаешь, что дни тяготят, что они кажутся очень длинными, как это бывает, хотя со мной редко, в тюрьме. Нет, дни быстро проходят здесь — то в тех, то в других занятиях, и, говоря об'ективно, мне грешно на что-либо жаловаться; но что поделаешь с присущим каждому человеку чувством неудовлетворенности? Все же «чего-то нет, кого-то жаль», а отсюда — тоска, по временам сильная. Тебе, конечно, она знакома, если не в большей, то в меньшей степени, хотя ты и живешь при иных, лучших условиях. Но я, пожалуй, нагнал на тебя грусть? Признаюсь, я временами сержусь на тебя за то, что крайне лаконично пишешь о себе, а о близких совсем почти и не упоминаешь. Но, поразмыслив, понимаю, что ты совсем или мало в этом виновата. Я стараюсь сам мысленно дополнить картину вашей жизни. Однако, еще и еще прошу тебя, пиши мне насколько возможно подробнее и обстоятельнее. Знай, что меня все интересует: и прочитанная тобой интересная статья или книга, и встреча с новым человеком, и узнанный факт, и пр. Мне все же кажется, что при твоих условиях можно без особого напряжения раз в месяц насобирать факты и сведения для интересного и обстоятельного письма.

Тогда и у меня будет больше материала и охоты писать тебе, а то часто не берусь за перо просто потому, что неохота ввиду твоей лаконичности. А ведь таким образом ослабевает связь, отвыкаешь, и чем дальше, тем труднее становится взяться за перо. Прости, если я, не желая того, неумышленно огорчил тебя чем-нибудь в этом или в предыдущем письмах. Передай Жоржу мою радость по поводу его успеха и мои ему наилучшие пожелания на литературном поприще. Неужели Павел все не может пристроиться к литературе? Ну, всего, всего вам всем наилучшего. Крепко целую всех.

Твой брат Лев.

Только что получил письмо от Дмитра.

[1]) Под «занятием в заведении Рольника», повторяю, я подразумевал работу в качестве наборщицы в типографии группы «Освобожд. Труда».

[2]) Т.-е. сношениями с членами возникшего тогда «Союза русских соц.-дем.».

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

23 августа (5 сент.) 1892 г. Карийск.

Дорогая сестра! После двухмесячного перерыва получил твое относительно большое письмо (в два маленьких листика), от 1 июня. В конце его ты спрашиваешь, понравится ли оно мне? Да, мне понравилась твоя, как ты выражаешься, «болтовня от души». Видно, что ты не «высиживала» его и на этот раз больше сообщила о себе, о своем настроении и состоянии, чем во многих предыдущих письмах. Но вместе с этой обстоятельностью, содержание письма вызывает грусть: ты, попрежнему, стараешься уверить меня, что болезнь у тебя неважная, что с нею можешь видимо-невидимо лет прожить. Не буду касаться того, насколько верны эти заявления, — одно то уже, что тебе, повидимому, часто приходится лежать в постели, испытывая, очевидно, сильную боль, не может не вызывать грусти. К тому же я живо представляю себе, насколько тяжело и скверно болеть, не имея поблизости сколько-нибудь близкого человека. В этом отношении даже мое положение лучше: хоть и нет у меня очень близких, все же, в случае болезни, товарищи не только не оставят одного, но, как это было, когда я в прошлом году возился с отрубленным пальцем, даже чересчур будут ухаживать, почти не оставляя наедине, так что мне приходилось даже просить их не особенно усердствовать. Все же, несмотря на такую заботливость со стороны окружающих, отсутствие близкого человека особенно сильно чувствуется именно во время болезни. К сожалению, ты вовсе не упоминаешь, есть ли кто-нибудь возле тебя, или ты обходишься лишь с помощью квартирной хозяйки?

Этим отсутствием близких во время болезни я отчасти об'ясняю высказываемый тобой грустный взгляд на «цель жизни» твоей. Ты пишешь, что «лично для себя ничего не ждешь», что «много ли, мало ли проживешь, разница будет лишь в количестве прочитанных интересных книг и более или менее интересной статье, тобой написанной, да еще в том, что лишний раз выручишь семью» [1]). По-моему,

[1]) Т.-е. членов группы «Освобожд. Труда»; главным образом, если не сказать исключительно, Плехановых, для которых много сделала Вера Ивановна в эти годы.

это перечисление, при высказанном тобой взгляде, что «теперь все будет лучше и лучше, все расти и расти», — может, наоборот, казаться очень заманчивым и утешительным для очень многих людей, оно способно вызывать бодрость и жажду жить. Сколь многие из среды интеллигентных людей не имеют ни такой общей уверенности относительно лучшего будущего, ни личных склонностей, возможностей и способностей к интересным книгам и к писанию «небесполезных статей». Сколь многие позавидовали бы одной только возможности достать интересующие их книги. Только при большом требовании от жизни или при болезненном настроении и исключительно неблагоприятных условиях можно приходить к пессимистическому или равнодушному взгляду на жизнь. Знаю, что твой взгляд есть результат общего склада твоего характера, а отчасти и неблагоприятно сложившихся для тебя условий. Приятнее было бы, чтобы у тебя, наоборот, был жизнерадостный взгляд, бодрый, уверенный в себе, а не грустно-равнодушный. В этом отношении могу порекомендовать последнюю книгу Ренана «Feuilles détachées». Вот завидное самочувствие! Ему еще и и еще хотелось бы жить, — хоть до 500 лет, — чтобы увидеть, чем закончатся ныне намеченные социальные и научные вопросы, какие народятся новые и пр. По его мнению, «суб'ективный скептицизм и сомнения в своих способностях всегда происходят от бездействия ума». Он утверждает, что «кто жаждет реальных знаний, тот никогда не станет углубляться в себя». Это верно. Действительно, огромное наслаждение и утешение быть в состоянии наблюдать и сознавать, что впереди «будет все лучше и лучше». Но в этом отношении некоторые [находятся] вполне в зависимости от внешних условий; при всем их страстном и интенсивном желании знать и видеть, что происходит, они ничего не в силах наблюсти. Ты — другое дело: — у тебя и подготовка и благоприятная окружающая среда, ты вольна выбирать, что тебя интересует, и только болезнь или дурное настроение могут явиться тебе помехой. Но возьмем меня: положим, я интересуюсь экономическими условиями вообще и данной страны или местности, — в частности. Даже такая скромная цель, как изучение экономических условий, является почти недостижимой, более того — желание прочитать ту или дру-

гую интересующую тебя книгу, статью и пр. может быть лишь платоническим. Но довольно. Я вовсе не хочу сказать, что нахожу твой равнодушный взгляд на жизнь незаконным или непонятным для меня; говорю лишь, что многие (и я в том числе) иначе, бодрее относились бы к вопросу о продолжительности жизни при твоих условиях. Эта разница, конечно, обусловливается складом характера того или другого лица: иной не хандрит при самых ужасных обстоятельствах, другой, наоборот, при великолепных не может найти себе места. Ни ты, ни я не подходим ни к одному из этих типов: о тебе несправедливо было бы сказать, что не находишь себе места при самых великолепных условиях; обо мне также нельзя сказать, что я нигде не хандрю. Наоборот, в последнее время замечаю, что меня также трудно удовлетворить (конечно, относительно). Читая иногда в твоих или Павла письмах ссылки на то, что, будь я с вами, то мог бы то-то и то-то сделать,— я с грустью и сомнением думаю о таких занятиях, как возня с ребятишками [1]), кефирным или Рольниковским заведениями. Знаю, что ничего не дала бы другого, лучшего, действительность, все же мечтаешь о другом, большем.— Много чрезвычайно интересного теперь у вас происходит и намечается. Я имею в виду относительную победу Гладстона, предстоящую парламентскую сессию в Англии, требования рабочих 8-час. раб. дня, борьбу Бисмарка с Вильгельмом II, бельгийские дела и пр. Обо всем этом и многом другом мы узнаем лишь вкратце, и потому тем бо́льший интерес возбуждается в нас. Недавно, случайно прочитал рецензию на книгу дяди Пети [2]) «La conquête du pain» и изумлялся, до чего он наивен: очевидно, время ничему его не научило, и он несет ту же бессмыслицу, что 10—15 лет тому назад. Неужели и Реклю также «сохранился»? Неужели и он считает себя солидарным с равашольевскими безобразиями? [3]) Если же нет, то почему он печатно не об'явит о своем несогласии? А Мост, наконец, пристроился в Армии Спасения: самое подходящее для таких суб'ектов

[1]) Под «ребятишками» я подразумевал возню с юношами, молодежью.

[2]) Т.-е. Петра Кропоткина.

[3]) Известный в 90-х г.г. анархист, бросавший бомбы в Париже.

дело: там надлежащее место для всех сумасбродов.— Почему ты замолчала о дальнейшем ходе переговоров насчет примирения с тетушкой Сарой [1])? Непременно сообщи, о каких ты знаешь новых хороших книгах по общественному и рабочему вопросам. Меня очень интересует задуманное Бебелем сочинение о немецком движении, но навряд ли удастся его получить. Так же интересны, вероятно, произведения Вейзенгрина и Paul'я Bart'a. «Die Philosophie der Geschichte von Hegel bis Marx und Hartmann». Если будешь обстоятельно писать о книгах и вообще о происходящем в Европе, то доставишь большое удовольствие многим из нас.

Переписываешься ли с Дмитром? Передай ему все, что узнаешь обо мне. Ну, будь же бодра и неравнодушна к дальнейшей своей жизни. Целую. Мой сердечный привет Жоржу, Розе и всем близким.

Твой брат Лев.

ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ

18/30 ноября 1892 г. Карийск.

Получил, дорогая сестра, твое письмо от 1-го октября, в котором ты пишешь, что устно, или не на таком расстоянии, могла бы многое сообщить мне, поделиться волнующими тебя вопросами. Что за славное это письмо! Давно таких от тебя не получал. В сущности, ты ничего не сообщаешь в нем такого, чего бы я не знал или не мог мысленно дополнить. Но потому ли, что тон его особенно хорош, задушевен, или потому, что оно получилось при соответствующем у меня настроении, но я почувствовал, что понял многое несказанное, проник куда-то глубоко-глубоко, и так приятно, хорошо стало на душе. Сколько и я интересного и даже поучительного мог бы сообщить тебе! И у меня, несмотря на однообразие жизни, есть вопросы, которые волнуют и поглощают меня целиком. Но не подумай, что это вопросы чисто местного характера, происхождения.

[1]) Кажется, я уже сообщил, что на нашем конспиративном языке под «тетушкой Сарой» мы подразумевали Марию Николаевну Ошанину, а затем стали так называть каждого народовольца.

Нет, они — общего теоретического и практического свойства и почти не имеют никакого отношения к окружающей меня монотонной и серой действительности. Писать об этих вопросах мне так же трудно, как и тебе о волнующих тебя, но, повидимому, по другой причине: тебя останавливает сознание, что, пока твое письмо дойдет до русско-сибирской границы, эти вопросы так или иначе вырешатся. Значит, они непосредственного, скорого, преходящего характера. Мне же трудно делиться с тобой потому, что пришлось бы писать целые фолианты, задумай я дать тебе полное и верное представление о занимающих меня вопросах. Могу также повторить буквально твои слова: «чего, чего я не дал бы, чтобы иметь возможность делиться с тобою волнующими меня вопросами». И так же, как и ты, я часто беседую с тобою (иногда глубоко за полночь) о них, так же, как и тебе, мне не с кем здесь делиться целиком, хотя имею товарищей и приятелей. Но только тебе одной я мог бы обстоятельно изложить их, так как ты одна вполне могла бы понять их, уловила бы чутьем недосказанное и сделала бы, быть может, вытекающие из них выводы и практические применения. Мысленно беседуя с тобой об этих темах, я часто представляю себе оживленные и вместе удивленные глаза твои, приятное и даже радостное настроение, в которое ты, наверное, пришла бы, слушая устное мое изложение. Забегав по своей комнатке (в которой, к слову, конечно, страшный беспорядок), ты, подумав немного, не только вполне меня одобрила бы, но и сама стала бы ими заниматься и старалась бы делать из них необходимые практические выводы и применения. Но даже и теперь я надеюсь, что ты, не зная пока сущности интересующих меня вопросов, все же поддержишь меня, одобришь такое мое настроение и постараешься если не прямо, то хоть косвенно помогать мне — присылкой просимых мною книг и передачей известных тебе фактов. Для этого в немногих словах скажу, что теоретические вопросы, интересующие меня, относятся к первобытной культуре и философии истории, конечно, с материалистической точки зрения, но, к тому же в частности, к Mutterrecht'у и, как мне кажется правильным, считать вытекающим из последнего — Frauenfrage. Мне очень грустно, что не могу убедиться, насколько правильны мои воззрения по этим вопросам, ввиду неимения необходимых мне многочисленных и разнообразных источников, а также — отсутствия людей, интересующихся этими же вопросами. Все здесь имеющееся я уже почти перечитал или просмотрел, нигде не находя раз'яснения. А между тем я глубоко убежден, что вопросы эти имеют очень важное не только теоретическое, но и практическое значение. Пока прошу тебя не сообщать Жоржу и Павлу о моем увлечении Mutterrecht'ом и Frauenfrage [1]): они, да, вероятно, и ты тоже, не зная, в чем дело, решите, что я ломлюсь в открытую дверь, так как, мол, Морган, Энгельс, Липперт и др. все уже раз'яснили, а Бебель написал даже специально книжку о Frauenfrage (Кстати, настоятельно прошу тебя непременно постарайся мне ее прислать и, вообще, насколько возможно, присылай аналогичные произведения: о роли женщины у геноссов, отчеты по Frauenfrage на конгрессах, митингах, в ферейнах. Такого рода произведения могут дать мне указания, как другие смотрят на интересующие меня вопросы). Но «при чем в Frauenfrage первобытная культура и философия истории»? — быть может, подумаешь ты. Не зная всей связи моих мыслей, действительно, может показаться всем чем угодно, — и путаницей и преувеличением с моей стороны незначительного в сущности вопроса, — преувеличением, об'ясняющимся оторванностью от цивилизованного мира, незнанием уже давно решенного и пр. Но, как мне кажется, на самом деле, это у меня не так. Ужасно хотелось бы мне знать, нет ли у вас такого лица, которое, имея хорошую научную подготовку по первобытным учреждениям и придерживаясь материалистических воззрений, специально и сильно интересовалось бы Frauenfrage? Как бы мне хотелось с таким человеком обменяться взглядами! Но довольно об этом. Твои об'яснения относительно уступок родственникам [2]) все же не убедили меня. Хотя ты и пишешь, что вы все это проделали ради меньшего, подросшего поколения, чтобы оно

[1]) Матриархат — материнское право, господство женщин; Frauenfrage — женский вопрос.

[2]) Т.-е. соглашения с народовольцами. Такое примиренческое настроение вызвано было разразившимся в России в начале 90-х г.г. знаменитым голодом.

увидело, что не в вас корень распри,—но мне все же кажется бесполезной (а может быть, и вредной) ваша тактика. Уступки и авансы подчас можно и даже должно делать. Но вопрос: когда и где? Ответ подсказывается практическим чутьем. Мне оно подсказывает иную, чем ваша, тактику. Конечно, я не знаю всех обстоятельств, но, насколько я себе представляю общее положение домашних условий, я поступил бы так. Не вступая ни в какие переговоры ни с дедушкой, ни с тетушками и дяденьками [1]) там у вас, — так как на них можно махнуть рукой, — я отправился бы домой [2]) и повел бы дело самостоятельно, независимо. Уже один факт приезда, после долгой разлуки, произвел бы, особенно теперь, очень благоприятное впечатление на всех родственников, в особенности же на подросших и, как ты пишешь, «симпатичных детей» [3]). Там на месте, ведя процесс [4]), я проявлял бы миролюбие и готовность к уступчивости, если бы это требовалось по обстоятельствам дела, но первый не делал бы решительного шага к примирению, зная заранее, что успех дела рассеял бы всякие сомнения, всякие колебания. Ведя свою линию, я не был бы нисколько ни злопамятен, ни упрям, ни заносчив, а, наоборот, беспристрастен, об'ективен и умерен, а главное — деятелен. И дети, думаю, оценили бы мою тактику; они увидели бы тогда, в ком и в чем корень распри. Но если бы даже этого я не достиг бы, что мне трудно себе представить, — то беспристрастные судьи, незаинтересованные лица, адвокатура и увриеры [5]) склонились бы на мою сторону, и тогда уже дети, а за ними дяденьки и тетеньки, прибежали бы ко мне просить пардона; а если бы не просили, то и бог с ними: я все же выиграл бы тяжбу [6]), и на нашей улице был бы праздник, от нас пошел бы перелом

[1]) Понятно, что я имел в виду Лаврова, Марью Николаевну, Кравчинского и др. старых народовольцев, живших за границей.

[2]) Под «отправкой домой» подразумевалось, конечно, возвращение из-за границы в Россию.

[3]) «Подросшими симпатичными детьми» мы называли вновь народившуюся революционную молодежь.

[4]) Т.-е., занимаясь переговорами, в то же время организовывать, агитировать и т. д. среди рабочих и молодежи.

[5]) «Адвокаты и увриеры», т.-е. интеллигенция и рабочие.

[6]) Надо, конечно, понимать, что привлек бы их на свою сторону.

в семейной неурядице [1]). Ты, конечно, скажешь, что я много на себя беру, приписываю себе чересчур большое значение и влияние, но будешь неправа. По моему, раз семейная неурядица дома достигла известной степени, то достаточно незначительного, в сущности, но неожиданного и смелого приема, чтобы все положение изменилось. В таких случаях роль отдельного лица можно сравнить с искрой, брошенной в сухое сено. И я и каждый из вас в особенности мог бы явиться этой искрой в деле прекращения домашней неурядицы и распри. Конечно, я предварительно подготовил бы почву, обеспечил бы себя кой-какими связями и средствами, но за этим, думаю, остановки не было бы. Даже опасение заболеть [2]) не остановило бы меня теперь, так как, перенесши фрейбургскую болезнь [3]), я убедился, что она не так страшна и приносит большую пользу; особенно она легко переносится, если она не неожиданна, если к ней заранее приготовляешься. Конечно, при слабых легких наш суровый климат вреден, но опять же вопрос, не преувеличивают ли врачи? Словом, дорогая, как видишь, исходя из моей точки зрения, ваш прием примирения не может мне казаться удачным, практичным, вообще ваша жизнь мне представляется крайне безотрадною, мало-результатной и производительной: почти десять лет прошло со времени возникновения заведения Рольника [4]) и начала распрь и неурядиц [5]), а вы почти на одном и том же месте: все перебиваетесь из кулька в рогожку и тешитесь, кажется, микроскопическими успехами и улучшениями. Не подумай, что это скоропалительное мое мнение, явившееся у меня в последнее время. Нет, года два уже, как я все колеблюсь поделиться ими с тобою, а эти дни оно все не выходит у меня из головы. Ты давным-давно ничего не сообщаешь о здоровье Жоржа, о своем также редко упоминаешь. Помнишь, кажется из Одессы (осенью 84 г.), описывая тамошний суровый режим, я утешался оптимистическими взглядами д-ра Панглоса: «все к лучшему» и т. д. Представь:

[1]) Т.-е. марксистское направление одержало бы верх.

[2]) Т.-е. быть арестованным.

[3]) Понятно: арест во Фрейбурге.

[4]) Т.-е. группы «Освобожд. Труда».

[5]) Борьбы с народовольцами и народниками.

теперь я, действительно, допускаю, что, оставайся я с вами и проживи я так, как вы эти годы жили, я чувствовал бы себя, вероятно, не лучше, а то, быть может, и хуже, чем теперь, будучи здесь. Ты как думаешь? Впрочем, тебе трудно решить этот вопрос, так как, во-первых, ты не знаешь, как я себя теперь чувствую, а во-вторых, не знаешь, конечно, как бы я чувствовал себя, оставшись. Но я думаю, что там, в конце концов, мне было бы хуже, конечно, при некоторых условиях. Видишь, до каких странных взглядов и предположений я дошел. Но довольно. Не забывай же моей просьбы о присылке книг. Дюруи я еще не получил. Сохраняешь ли мои бумаги, письма, особенно Дмитра? Часть последних была у Лизы, — прибери их все в одно место. Крепко целую тебя, дорогая сестра.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

25 октября (5 ноября) 1893 г.

Последнее твое письмо, дорогая сестра, очень интересно и вызывает на серьезное размышление. Хотя оно и написано тотчас по приезде из Цюриха (15 сентября) и ты не делишься своими впечатлениями о тамошнем празднестве [1]), но я не жалею об этом, так как избранная тобою тема — ознакомление и раз'яснение мне положения дел семьи дома [2]) — очень интересна. Не скажу, чтобы твои сообщения были вполне новы для меня, — кое-что уже и раньше доходило до меня, — но самый тон и характер твоих суждений делают более рельефными, живыми мои представления о домашних условиях и обстоятельствах. Раз пять я перечитывал его и несколько дней находился — отчасти и теперь еще нахожусь — под его впечатлением, хотя мои личные обстоятельства в последние две недели не особенно благоприятствуют размышлениям о посторонних, отдаленных предметах: эти недели, по независящим от меня обстоятельствам, я должен был покинуть свою насиженную

[1]) Т. е. об Интернациональном Конгрессе, произошедшем, как известно, в том году в Цюрихе.

[2]) Под этим я подразумевал положение группы «Освобождение Труда».

и вполне отремонтированную на зиму хатенку и переехать в новую, которую опять нужно было белить, мазать (глиной), вставлять окна, обивать двери и пр. и пр. (зато, раз уже заговорил о квартире, сообщу здесь, что новая вполне напоминает городскую: состоит из большой, в три окна, очень высокой комнаты с сенями и кухней, с приличной, по здешним условиям, мебелью, — имеется даже диван, правда, некрашенный и необитый, письменный стол с мягким стулом, изящная этажерка для книг и две кадки с цветами); но квартира эта имеет и большие неудобства: во-первых, чересчур велика для одного, и приходится ежедневно топить две печки (покупными дровами, по 2 р. саж.), несмотря на это, все же, вероятно, будет прохладно в зимние стужи; во-вторых, она, сравнительно, вдали от всех товарищей, — на выселке, так что они ко мне и я к ним не часто сможем заявляться, что, впрочем, имеет и свои выгоды, в виду занятий. Но возвращусь к твоему письму. Указав на резко изменившийся характер поведения и образа жизни родственников на родине, ты так резюмируешь свои сообщения: «Специалистов [1]) нет больше. Если бы ты вник в это одно обстоятельство, то мог бы понять, отчего, несмотря на великолепные об'ективные условия и огромный, превосходящий всякие ожидания успех, — суб'ективно нам, старым специалистам, может все-таки приходиться плохо и заведение Рольника может по временам стоять».

Раньше ты опровергаешь меня, что и я «не мог бы быть на месте, как и вы». Я вполне согласен со всеми твоими раз'яснениями, сообщениями и рассуждениями. Повидимому, действительно, все радикально изменилось у нас дома и, будь семи даже пядей во лбу, ничего существенного, нового никто не сделал бы. Поэтому мне несколько неловко было читать твою последнюю фразу о себе, взятую из моего последнего письма; «будучи на месте, сделал бы то-то». От нее несет большим самомнением, «задавательством», как тут у нас говорят. Этими словами я совсем не хотел сказать, что, несмотря ни на какие обстоятельства, поехал бы домой к родным [2]). Я желал только сказать, что не остановился бы

[1]) Т.-е. «нелегальных», «профессиональных» революционеров.

[2]) Это означало: поехал бы из эмиграции нелегально работать в Россию, о чем писал в предыдущем письме.

ни перед чем и, вероятно, придумал бы что-нибудь, чтобы «при огромном, превосходящем всякие ожидания, успехе суб'ективно не приходилось плохо старым». Как добился бы я этого, отсюда сказать не берусь, но почти уверен, что надумал бы способ, — считай это задавательством или чем хочешь. Думаю, что Дмитро согласился бы со мной насчет этой моей самоуверенности, — ты все же не видела меня почти десять лет, а за это время я ведь не стоял на одном месте. Ну, да что об этом толковать, когда мы отделены необ'ятными пространствами и когда мои ответы на твои сообщения приходят тогда, когда обстоятельства у вас настолько изменились, что уже забыты те, под влиянием которых было написано прежнее письмо. Живя здесь, мне остается только радоваться или скорбеть, когда ты в своих письмах вызываешь те или другие ощущения, хотя, признаюсь, мне иногда в голову приходит и ехидная мысль поступать (по примеру Иванушки-дурачка) как раз наоборот, т.-е. скорбеть, когда твои сообщения отрадны, и радоваться, когда они печальны, — думаю, что такие мои ощущения вполне соответствовали бы положению дел в то время, когда я читаю твои, а ты мои письма.

Какими пустяками, мелочами заполняется наша жизнь здесь! Они подчас могут донять всякого. Относительно, я еще лучше многих поставлен, — занимаюсь, по возможности интересуюсь тем, что делается на белом свете. Все же это не может наполнить всего нутра, ввиду отсутствия живого практического дела; поэтому вместо серьезного хватаешься за суррогат, хотя всегда, в конце концов, жалеешь о потерянном времени. Книжка все же наиболее приятное развлечение. Но именно только «развлечение», так как цели вкладывать в чтение, ставить себе какие-нибудь теоретические задачи и вопросы здесь решительно не могу. К тому же прихожу к очень неутешительному заключению относительно современных теоретических произведений: ничто в них не кажется мне новым, особенно оригинальным, а следовательно, и интересным. На это заключение навели меня недавно прочитанные три книги: Schulze-Hevernitz'a «Der Grossbetrieb», Herrmann'a «Technische Fragen und Probleme» и Николая—она «Очерки русского пореформенного хозяйства». Кстати, о последней. Ты, быть может, не читала ее; она вышла недавно, летом наст. года, и в целом хуже, чем, помнишь, его 1-я статья под тем же заглавием, помещенная в «Слове» за 80-й год. Ссылаясь на экономические теории Маркса и будучи как будто знаком с современным положением дел в России, он, однако, не умеет найти выхода из последнего и сетует по поводу того, что не поддерживают общины и «пренебрегли», мол, завещанными нам от предков «устоями» и пр. Причина этой его неспособности разобраться, его противоречия — в том, что он не усвоил себе диалектического метода Маркса: «в худом он видит одно лишь худое», как говорили Маркс и Энгельс; все же, в общем, это не лишенное интереса экономическое сочинение. По-моему, он образованнее и интереснее В. В.

Своими впечатлениями о Цюрихе ты обещаешь поделиться в следующем письме: жаль, что ты не сделала этого тотчас по приезде. Но я понимаю, что тебя «тамошний шум мог утомить». Из русских газет, конечно, немногое я мог почерпнуть; все же наиболее существенное знаю (хотя, может быть, и это не все наиболее существенное): о принятых резолюциях, об изгнании анархистов, о шествии по городу, о почетном председательстве Энгельса — это почти все, что я вычитал. До получения ответа на это письмо, ты, вероятно, поделишься уже со мною своими впечатлениями. Они-то, впечатления твои, меня особенно интересуют: ты ведь в первый раз присутствовала на таком празднестве. Сообщи, с кем ты там познакомилась, кто из говоривших или так там присутствовавших тебе особенно понравился, говорилось ли что о наших родственниках и о родине? Воображаю, сколь мизерными кажемся мы в своих собственных глазах, когда сравниваем себя в таких случаях с геноссами! Каков старик Энгельс, — познакомилась ли ты с ним? Что поделывает Павел?

Поди, он в восторге от празднества? А Жорж? Говорил ли он? Были ли дедушка Петр и тетушка Сара? На эти и сотни подобных вопросов хотелось бы получить ответ. Но почти заранее уверен, что ты не удовлетворишь моего любопытства, будешь очень лаконична, пропустишь многое. Припоминая содержание некоторых моих писем, мне пришло в голову, что, благодаря кажущемуся полемическому характеру их, ты, может быть, делаешь ошибочное заключение

о моем настроении и отношении к некоторым вопросам. Ты, быть может, представляешь меня придирчивым, ворчливым и вечно полемизирующим инвалидом, впадающим в старость? Это неверно. Ни образ моих мыслей, ни окружающая действительность не располагают к придирчивости, полемике и пр. Я, наоборот, все более и более проникаюсь французской поговоркой: «Tout comprendre — tout pardonner». К этому взгляду располагает все окружающее. Здесь особенно легко наблюдать, насколько взгляды, настроения и поступки людей зависят от внешних условий: последние вялы, несложны, скучно-однообразны, и люди и все живущее таковы же. Откуда же могло бы взяться страстное, нетерпимое отношение к разногласиям и воззрениям и строгое осуждение неодобрительных, с моей, напр., точки зрения, поступков? Тем об'ективнее могу я относиться к тому, что узнаю из твоих писем о внешних, отдаленных от меня фактов. Не говоря уже про то, что, ввиду их отдаленности, они еще менее, чем вблизи происходящие, могут меня волновать, — я обязан относиться к ним, как почти вполне неизвестным. В этом отношении окружающие меня условия и отделяющие меня от мира огромные пространства действуют, как давно прошедшие исторические периоды: чувствуешь себя не современником данных событий и происшествий, а как бы живущим много лет после их совершения и смотрящим на них, как на давным-давно случившиеся.

Чересчур я разболтался, пора и кончить. Напомни Павлу, что я просил его выслать мне две вышедшие в Цюрихе немецкие диссертации о Марксе некоего поляка Вериго. Неужели ему там трудно их достать? Он обещал написать Braun'у, чтобы тот выслал мне Socialpolitisches Centralblatt, но я все не получаю его. Думаю, что и этот журнал ему нетрудно было бы доставать у кого-нибудь из выписывающих его и высылать мне, а без иностранного журнала здесь очень тоскливо. Позаботься, дорогая, об этом. Ну, будь бодра и, по возможности, счастлива. Целую тебя, также Жоржа, Павла и других близких. Виделась ли ты с Аней [1]) в Цюрихе? Что она поделывает?

Твой брат Лев.

* *

[1]) Неоднократно упоминающаяся в воспоминаниях и переписке Анна Марковна Макаревич-Розенштейн; она же Кулешова-Турати.

Как я уже сообщил в предисловии, остальных моих писем не оказалось в архиве Г. В. Плеханова; между тем, до самого своего побега из Сибири (весной 1901 г.) я не прекращал переписываться с Верой Ивановной и другими заграничными друзьями. Тем более досадно исчезновение позднейших моих писем, что, как известно, в середине 90-х гг. стало усиленно развиваться в России наше марксистское движение, о чем, хотя и лаконично, но все же сообщала мне В. И. Засулич и отчасти П. Б. Аксельрод, а из моих ответов им можно было бы получить некоторое представление о том, как она и другие члены группы «Освобожд. Труда» относились к ходу развития нашего направления за границей и в России.

Отсутствие остальных моих писем я об'ясняю происшедшим переездом В. И. Засулич в Лондон (в 1894 г.), по выезде из которого она, может быть, оставила на время у кого-нибудь из тамошних своих друзей имевшиеся у нее рукописи и письма; если же она привезла все с собою в Цюрих, то, отправившись, как известно, в конце того десятилетия, — конечно, нелегально, — в Россию, передала свои документы там кому-нибудь на хранение. Есть поэтому надежда, что, — подобно тому, как случилось с выше помещенным письмом к ней Маркса, — также со временем и мои к ней письма мало щепетильные редакторы какого-нибудь архива, найдя их там, опубликуют без необходимых комментариев и сокращений или со «своими» дополнениями и раз'яснениями, отчего в том и в другом случае и я и читатели не много выиграем.

ПЕРЕПИСКА Г. В. ПЛЕХАНОВА С ФР. ЭНГЕЛЬСОМ.

Письма Г. В. Плеханова к Энгельсу появились в № 11—12 «Под знаменем марксизма» за 1923 г.

Не могу не выразить по этому поводу сожаления, что редактор не снесся предварительно с нами для выработки совместно соглашения насчет напечатания этой переписки. Затем остановлюсь на предпосланном этой переписке предисловии Д. Б. Рязанова.

Стремясь опровергнуть сделанное Г. В. Плехановым в его письмах к Энгельсу сообщение о Грозовском, Кричевском и др. русских и польских эмигрантах 90-х г.г., Д. Б. Рязанов заявляет:

«В письме [1]) проскальзывает такое острое чувство озлобления против Розы Люксембург и Льва Иогихеса, всей своей жизнью и трагической смертью доказавших свою безграничную преданность делу пролетариата, что только с большим трудом побеждаешь неприятное чувство. Письмо представляет яркое свидетельство, до каких размеров может доходить фракционное озлобление и какой слепотой оно поражает даже проницательных людей» [2]).

Я, как известно, в описываемое время был в Сибири, но, очутившись после побега среди старых своих друзей, неоднократно слыхал от них рассказы о поведении с ними Иогихеса (Грозовского). Все они единогласно сообщали, что первоначально отнеслись к нему наилучшим образом, но вскоре затем он стал проявлять крайнее честолюбие, стремление забрать их в свои руки и т. п. Обладая значительными материальными средствами, он, напр., сделал членам группы «Освобожд. Труда» предложение предоставить ему больше голосов, чем они все вместе имеют, обещая в этом случае дать на их предприятия такую-то сумму. Особенно живо изображала это его предложение Вера Ивановна, ко-

---

[1]) 4-е письмо Плеханова к Энгельсу.

[2]) Предисл., стр 6.

торую, полагаю, никто не заподозрит ни во «фракционном озлоблении», ни в «слепоте».

Сделав вышеприведенное предложение, Грозовский, по ее сообщению, вынул из кармана плотную пачку кредитных билетов и, положив ее на стол, закрыл рукой.

— Видите, — сказал он, — здесь столько-то тысяч, так вы согласны?

Такое обращение со стороны юноши по отношению уже немолодых социалистов не могло не оскорбить их. Хотя прошло уже десять лет с тех пор, как происходили эти переговоры, тем не менее, вспоминая эту сцену, Вера Ивановна была очень взволнована, — голос у нее дрожал, на лице ее выступила краска.

Это вполне понятно: будучи сама бескорыстнейшим и самоотверженнейшим человеком, Засулич не могла примириться с мыслью, что молодой человек, об'являвший себя их приверженцем, вздумал воспользоваться хорошо ему известным крайне тяжелым материальным положением заслуженных социалистов для того, чтобы посредством оказавшихся в его руках денег занять в их среде преобладающее положение, руководясь при этом честолюбивыми стремлениями.

О том, как Георгий Валентинович на первых порах отнесся к Грозовскому, Розалия Марковна сообщила мне следующее в письме от 12 апреля текущего года:

«Крайне несправедливы нападки Д. Б. Рязанова на Жоржа. Уж кто-кто, а Ж. не грешил «фракционной злобой»... Ж. не любил интриг... Помню, с какими распростертыми об'ятиями Ж. при первом знакомстве с Грозовским отнесся к нему. Это было в 1892 г. Ж. познакомился с ним в Цюрихе. По возвращении в Женеву он сказал мне, что должен к нам приехать очень интересный, неглупый и, повидимому, очень способный молодой человек: «Если бы таких молодых людей было бы больше около нас, я мог бы на них положиться в практических делах и не был бы более вынужден отрываться от теоретических занятий».

Но эти надежды, возлагаемые Г. В. на молодого практика, не оправдались, как сообщает Розалия Марковна, по той же причине, которую приводила мне и Вера Ивановна. Об отношении последней к Грозовскому Розалия Марковна сообщает следующее:

«Никогда не забуду чувства удивления и обиды, которые выразились в словах Веры Ивановны, когда она говорила о поступке Грозовского. Как видите, Плеханов готов был отнестись к Грозовскому так, как он всегда относился к молодежи, приезжавшей из России, — с любовью и надеждой на их молодые силы. Но Грозовский, как и некоторые другие появлявшиеся в этот период времени мо-

лодые эмигранты, обнаружили потом какую-то бесконечную бестактность; можно было подумать, что эти молодые люди страдали болезнью непризнавания авторитетов и боязнью быть им в чем-нибудь обязанными. Плеханов говорил об этой молодежи: «Она со мною не говорит прямо, просто, а все старается примериться плечами». Это всегда его очень печалило».

Л. И. Аксельрод (Ортодокс), являющаяся, так сказать, сверстницей Иогихеса и отчасти его однокашницей, недавно рассказала мне, что она прекрасно помнит его приезд за границу, его выступления и сношения с членами группы «Освобождение Труда». Также и по ее словам он, являясь тогда способным и предприимчивым юношей, был в то же время мелочно честолюбивым, вследствие чего вел себя по отношению членов группы «Освобожд. Труда» не особенно благовидно.

Наконец, приводимое мною ниже письмо Плеханова к Грозовскому, а также ответ последнего членам группы «Освобожд. Труда» вполне подтверждает тот необычный в те времена коммерческий характер отношений, который Иогихес проявил в переговорах с Георгием Валентиновичем и его товарищами.

Обнаруженные Грозовским в юности несимпатичные свойства с летами совершенно исчезли и заменились другими, очень крупными; он изменился в положительную сторону. По меньшей мере странен поэтому употребленный Д. Рязановым прием в вышеприведенной первой его фразе: по ее конструкции выходит, будто Плеханов, писавший о Иогихесе и Р. Люксембург за 25 лет до их кончины, не принял во внимание постигшей их впоследствии трагической смерти. Знай Георгий Валентинович в начале 90-х г.г., что этих лиц со временем постигнет действительно ужасная участь, он, может быть, удержался бы от сообщения своего взгляда на Иогихеса и других лиц. Возможно, что отрицательное отношение Г. В. к ним вытекало из различия взгляда его на поляков и их деятельность.

Но правильно ли теперь упрекать Плеханова за то, что, вынужденный тогдашними обстоятельствами, он в частном письме к высоко чтимому им учителю счел нужным привести составившееся у него тогда мнение? Не в праве ли, наоборот, мы, близкие Плеханову лица, быть недовольными Д. Рязановым, зачем он опубликовал в настоящее время это частное письмо, заставляющее его «только с большим трудом побеждать неприятное чувство»? Ведь его никто к этому акту не принуждал. В самом деле, невозможно же претендовать на людей, что они не угадывают за много десятилетий раньше о могущих впоследствии произойти радикальных изменениях в характерах, поведении и обстоятельствах кончины их знакомых, о которых в данное время они невысокого мнения, и делятся своими взглядами о них в своей частной корреспонденции, не подлежащей опубликованию. Ввиду возможности таких перемен с некоторыми лицами, с одной стороны, и неуместное усердие посторонних людей, печатающих чужие письма, — с другой, пришлось бы вообще воздерживаться от отрицательных отзывов о ком бы то ни было. Хотя всем, знающим Д. Рязанова, известно, что он отличается большой осторожностью в выражениях, сдержанностью, уравновешенностью, короче — необыкновенным спокойствием и тактом, тем не менее, полагаю a priori можно допустить, что даже ему случалось отзываться неблаговидно о ком-нибудь из знакомых, не задумываясь о том, что, спустя десяток-другой лет, это лицо совершенно изменится, а какой-нибудь услужливый человек опубликует его отзыв. Мне даже вспоминается случай, когда он публично громил такого человека, к которому по прошествии 12—15 лет стал относиться диаметрально противоположным образом. Чтобы освежить в его памяти этот случай, предлагаю ему вспомнить сделанный им летом 1904 г. в Берне доклад о «втором сво́зе», как назвал он Лондонский с'езд 1903 г., на котором произошло разделение на большевиков и меньшевиков и куда, по настоянию Ленина, Д. Рязанов не был допущен, против чего лишь я единственный из тесной группы «Искры» решительно восстал.

Укажу еще на другое не менее странное рассуждение Д. Рязанова. Сообщив о своем первом знакомстве с Грозовским, он далее замечает: «Он только что бежал из России, не потому, что хотел «уклониться от неприятностей военной службы», как пишет Плеханов, забывший, что его ближайший друг Лев Дейч тоже был военным дезертиром».

Хотя, по моему мнению, не было позорно стать дезертиром при царском режиме, в особенности евреям, лишенным тогда всяких гражданских прав, тем не менее, в интересах истины, я должен указать на крайнюю неосновательность приведенного рассуждения Д. Рязанова.

Прежде всего, из чего следует, что Плеханов забыл про аналогичное положение «ближайшего друга Льва Дейча»? Он мог прекрасно помнить об этом, но не считать уместным в данном случае указывать на последнего. Но если бы он вспомнил, как, очевидно, находит обязательным Д. Рязанов, о том, что и я также будто бы «уклонился от неприятностей военной службы»,—следует ли из этого, что Георгий Валентинович в своем письме к Энгельсу назвал Иогихеса «дезертиром»? А так как Плеханов этого термина не употребил, то почему же требует от него Д. Рязанов не забывать, что и я «тоже был дезертиром»? Каждый беспристрастный человек, полагаю, согласится, что, по крайней

мере в данном случае, Д. Рязанов рассуждает неправильно. Но далее: мог ли Д. Рязанов назвать меня «дезертиром», т.-е. человеком, уклонившимся от воинской повинности, как это сделал Иогихес, который, по его признанию, «при поступлении на военную службу... был бы несомненно послан в Среднюю Азию с особым «волчьим паспортом», чему он «предпочел уехать за границу»?

Не знаю теперь, как бы я поступил, если бы мне угрожала такая же перспектива, но в действительности со мной произошло обратное тому, что с Иогихесом: я не только не уклонился «от неприятностей военной службы», но, как известно, добровольно избрал за год до времени вынутия жребия военную службу, поступив на нее в качестве вольноопределяющегося. Правда, два с половиной месяца спустя я бежал, но *из-под суда* и не затем, чтобы эмигрировать, а чтобы, оставшись в России в качестве нелегального, принять участие в заговоре среди чигиринских крестьян. Есть ли малейшая аналогия между положением Иогихеса и моим? Почему же, надеюсь, в праве мы спросить, вздумалось Д. Рязанову нагородить столько несуразностей, противоречий и пр.? Потому, полагаю, что, как я уже сказал, он отличается общепризнанной чрезвычайной осторожностью и тактом.

Л. Д.

* * *

ПИСЬМО Г. В. ПЛЕХАНОВА ГРОЗОВСКОМУ-ИОГИХЕСУ [1]

[Без даты, но приблизительно весной 1892 г.]

Г. Грозовский, в вашу бытность в Морнэ, вы выразили желание относительно того, чтобы в конце брошюры о Фейербахе было напечатано о том, что все расходы по ее печатанию (в количестве стольких-то франков) были уплачены таким-то лицом. Но, с другой стороны, я сказал вам, что примечания разрослись и имеют бо́льшой об'ем, чем мы рассчитывали первоначально. Вы согласились покрыть вытекающие отсюда издержки. Как велики они будут, пока неизвестно. Но пока это неизвестно, не приходится печатать, что все расходы *уже* уплачены названным вами лицом. Как же быть? Нельзя ли напечатать так: все расходы *частью* (столько-то фр.) уже уплачены, частью *должны быть* уплачены таким-то? Жду от вас немедленного ответа, а пока задержу печатание обертки. А то, если хотите, мы напечатаем о пожертвовании в пользу брошюры о Фейербахе в конце нового издания «Научного социализма». Тогда будет все улажено. Кстати, прошу вас непременно справиться в своей записной книжке, *сколько* именно вы уже дали на брошюру. Нежелательно было бы, чтобы у нас вышло разногласие хоть на один франк. *Справку эту пришлите мне непременно.* Посылаю вам корректуру того примечания, о котором идет речь. Прошу Вас возвратить ее немедленно, а письмо это сохраните, впрочем, я, вероятно, успею записать его копию в деловую книжку. Дело ваше с Селитр[енным] принимает неприятный оборот. *Г. П.*

[1]) Письмо это может, между прочим, служить образчиком того, на какие мелкие технические дела приходилось в те времена Г. В. Плеханову тратить свое время. К письму приложен договор с Грозовским. Документы эти написаны рукой Плеханова. *Л. Д.*

За издание брошюры Фридриха Энгельса «Л. Фейербах» г. Грозовский должен заплатить группе «Освобождение Труда»:

1) Расходы по печатанию (набор, бумага и проч.):

В этой брошюре $7^1/_2$ листов (IV стр. предисловия + 105 стр. текста + 2 обертки (белая и серая), faux-titre и пр.

По расчету — 70 фр. за лист — следовало бы:

70.7 = 490 + 35 (за $^1/_2$ листа) = 525 фр.

Но г. Грозовский может принять в соображение, что на страницах последней категории меньше набора, чем на других и сделать соответствующий вычет. Обозначим этот вычет через x (предоставив определить его арифметическую величину г. Грозовскому по соглашению с П. Б. Аксельродом). Тогда будем иметь:

Расходы по печатанию 525 — x фр.

2) Гонорар: а) 72 страницы текста и приложений + 2 стр. перевода предисловия Энгельса. По расчету 3 фр. за страницу следовало: 222 фр., но принимая во внимание, что между текстом и предисловием есть одна неполная страница, а в тексте, как и в приложениях, есть неполные страницы, г. Грозовский может сделать вычет (справедливо было бы, если бы он не превышал 2 страниц), имеем:

222—6=216 фр.

b) Примечания, по расчету 96 фр. за лист или 6 фр. за страницу:

198 франков.

c) 2 стр. предисловия 12

Итого:	Расходы по печатанию	525—x
	Перевод	222—6
	Примечания	198
	Предисловие	12
		967—x - 6 фр.

Получено вперед от г. Грозовского:

в марте 1892 г.		200 фр.
в мае, по словам Грозовского		550 »
» » по словам Плеханова		520 »
в июне наборщику		40 »

ПИСЬМО М. ГРОЗОВСКОГО ГРУППЕ «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА».

18 августа 1892 г.

К сожалению, я в настоящее время настолько занят, что не могу ответить на ваше письмо от 16 сего месяца с той полнотой, какую считаю нужной. Ограничусь немногим и самым существенным для дальнейшего ведения общего дела изданий, имея в виду в ближайшем будущем, как только время позволит, подробно выяснить факты, которые доказывают, что группа ваша игнорировала наш договор. Замечу, что для меня дело идет не об изменении нашего договора, а о том, чтобы группа его неуклонно выполняла, как это делаю я. Но пока, чтобы дело не стало, перехожу к практическим делам данной минуты. Закончить расчет по изданию брошюры о Фейербахе я готов, но думаю, что для избежания недоразумений и ошибок нужно сделать расчет сообща. Что касается ошибки — невольные возможны, что доказывает опубликование полученного от меня взноса на ту же брошюру. Мною было дано на ее издание 790 франк. (200 фр. в марте, 550 фр. в мае и 40 фр. для наборщика в конце июня — всего 790 фр.), а опубликовано получение 760 фр. Итак, прошу вас сделать расчет. При окончательном расчете по брошюре прошу вас передать мне 332 экземпляра ее, которые приходятся мне согласно нашему условию. Они мне давно очень нужны. Затем прошу вас условиться со мною о сроке выхода ближайших изданий; потом — какие выпустить раньше, а главным образом, о скоре выхода брошюры «О капитализме», которая должна составить 1-й выпуск II серии «Раб. Библ.». Рукопись этой брошюры, по условию нашему, должна была быть готова к первому августа, и тогда же начаться ее печатание.

Ввиду письма, полученного мною от Плеханова, в котором он просит денег вперед на другую брошюру Энгельса, я должен заявить группе, что подобные требования произвольны до крайней степени, что выполнять их я не могу, да и не желаю, и что предлагаю еще раз группе держаться неуклонно нашего договора. Аванс, сделанный мною на брошюру о Фейербахе и «О капитализме», был исключительно личной услугой Плеханову и отчасти группе. Этот исключительный характер аванса был тогда же признан и

установлен, а, следовательно, характер его и то, что прецедентом он ни в каком случае служить не может. Это пока все, что имею вам изложить для удаления препятствий к ведению дела в данный момент.

О других обстоятельствах, имеющих отношение к нашему делу — в другой раз. Тогда же и о «традициях» русского революционного движения, быть хранительницей которых группа, судя по вашему письму, имеет претензию. Пробуду здесь еще пять дней приблизительно, поэтому прошу вас поспешить с ответом на это письмо. *М. Грозовский.*

Цюрих.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Дорогой и глубокоуважаемый учитель.

Вот адрес, который вы у меня просите: M-me Bograde-Plékhanoff, 5, rue des Allemands, Genève. Я очень счастлив сообщить его и быть, следовательно, в праве ждать от вас письма. Не писал я вам первый только потому, что не хотел вас беспокоить и отнимать у вас время. Моя мечта в настоящую минуту — поездка в Лондон, где я смогу с вами увидеться и поговорить о положении в России и о моих теоретических работах. Но я еще не знаю, когда осуществится эта мечта. Дни, проведенные в Лондоне в вашем обществе, будут счастливейшими минутами моей жизни. Я теперь готовлю ряд статей (для «Neue Zeit») о Гольбахе, Гельвеции и Марксе; и чем больше выясняются мои мысли о французском материализме XVIII века, тем более я восхищаюсь написанными вами страницами по этому вопросу в вашей работе «Людвиг Фейербах» и т. д. Эта брошюра может дать внимательному читателю больше, чем сотни томов, написанных официальными философами, философами ex professio. Мне передавали, что вы написали несколько благожелательных слов обо мне по поводу моей статьи о Гегеле. Если это верно, я не хочу других похвал. Все, чего я желал бы, это быть учеником, достойным таких учителей, как Маркс и вы. Мой привет гражданке Элеоноре Маркс-Эвелинг и ее мужу. В[ера] З[асулич] шлет вам сердечный привет. Примите, дорогой учитель, уверение в моей искренней преданности.

Г. Плеханов.

P. S. Уже больше трех месяцев, как я вернулся в Женеву, благодаря молодой рабочей партии [1]). Но дело еще не совсем решено. Очень возможно, что я должен буду вернуться во Францию, где я жил (в департ. Верхней Савойи) последние три года.

Г. П.

Женева
25 марта 1893 г.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Мой дорогой учитель.

Податель этого письма — *Алексей Воден*, молодой русский студент из наших друзей, очень работящий и очень способный. Его единственное несчастье, что он слишком много работал, работал до болезни: он стал очень нервным. Отправляясь в Лондон, он просил рекомендовать его вам. Я это делаю тем охотнее, что убежден, что вам интересно увидеть одного из лучших представителей нашей русской молодежи. Он отличный малый, и я уверен, что он хорошо воспользуется вашим знакомством. Это не «человек дела», «ein Mann der That», как говорят немцы, но он несомненно одарен для теоретической работы, а вы хорошо знаете, что люди этого закала иногда очень полезны для движения. В[ера] З[асулич] вам кланяется и со своей стороны просит вас хорошо принять нашего молодого друга. Поездка в Лондон и ваши разговоры будут эпохой в его жизни.

Примите, дорогой учитель, уверение в моей совершенной преданности. Мой привет M-me Луизе Каутской. Я имел удовольствие познакомиться с ней в Цюрихе.

Г. Плеханов.

Женева, 5, Rue des Allemands.
2 апреля 1893 г.

---

[1]) Г. В. имел здесь в виду молодых членов швейцарской социал-демокр. партии, которым удалось добиться разрешения Плеханову, изгнанному из Женевы, вновь туда вернуться.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.

Дорогой учитель.

Гражданка Элеонора Маркс-Эвелинг просила меня написать несколько слов для митинга 7-го числа. Посылаю вам эти несколько слов, подписанные В[ерой] З[асулич] и мной. Но у меня нет здесь, в Морнэ, адреса гражданки, так как я оставил в Женеве ее письмо. Поэтому я позволяю себе просить вас передать ей прилагаемый листок, с моими и В. З. лучшими пожеланиями. Искреннейший привет также гражданину Эвелингу.

Один из наших русских друзей, Алексей Воден, поехал в Лондон приблизительно месяц тому назад. Я дал ему письмо к вам. Зашел ли он к вам? Он нам ничего не пишет. Если вы его видаете, кланяйтесь от нас. Я послал вам самый верный мой адрес для Западной Европы: 5, rue des Allemands, Madame Bograde-Plékhanoff, доктор медицины. Пишу его еще раз, потому что мое письмо могло затеряться в дороге.

Простите, дорогой учитель, что беспокою вас.

Преданный вам *Г. Плеханов.*

В. З. сердечно вам кланяется.

Морнэ,
4 мая, 1893 г.

Демонстрация первого мая в Женеве удалась великолепно. Второго Гэд сделал доклад в огромной зале избирательного дворца. Он имел чрезвычайный успех. Этот доклад значительно подвинет женевское рабочее движение. Гэд был восхитителен.

Г. П.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

[Нет начала. *Ред.*]

[Без числа, вероятно, летом 1894 г.].

Мне не хватает почтовой бумаги, простите меня; единственная лавка в деревне, где я нахожусь (Морнэ), далека от меня, а идет ливень. Я продолжаю:

Вы видите, что, если во времена Маркса наши русские революционеры могли черпать известную энергию в той мысли, что Россия не пройдет капиталистического периода, то в наше время та же мысль становится очень опасной утопией. Теперь крайне необходимо с ней бороться.

Кстати. Английские консулы печатают от времени до времени отчеты о положении промышленности в разных странах. Выходят ли эти отчеты отдельными книгами, или их печатают в каких-нибудь официальных периодических изданиях? Вы чрезвычайно обяжете меня, если дадите мне сведения по этому вопросу.

Несколько лет тому назад много комментировали книгу одного англичанина о русской промышленности. Имя этого англичанина писали по-русски так: *Эджеворт*, — не знаю английской орфографии. Знаете ли вы такую книгу? Вообще, знаете ли вы английские книги, касающиеся этого вопроса? Что говорят английские газеты о русских товарах на выставке в Чикаго? Сообщите мне об этом в нескольких словах.

Я говорил вам о полемике Михайловского против вас и против Маркса. Он цитирует то, что вы пишете в «Людвиге Фейербахе» об одной из ваших *рукописей*, писанных 50 лет тому назад: «Она мне показала, как неполны были наши экономические познания в то время».

«Вы видите, — восклицает г-н Михайловский, — их познания были в то время недостаточны, а между тем, их исторический материализм ведет свое начало именно с того времени. Следовательно, это — тоже недостаточная теория».

Разве это не весьма остроумно? И этот господин — самый интеллигентный из всех господ, искателей верного экономического пути для святой Руси! Это тот самый Михайловский, против которого было направлено письмо Маркса. Мне кажется, что Маркс предполагал направить его издателю «*Вестника Европы*», а не Михайловскому? Этот господин до смешного гордится этим письмом. Он следующим образом излагает весь этот инцидент: до прочтения его статьи «Карл Маркс перед судом Жуковского», Маркс думал, что Россия должна пройти через капитализм; но, прочитав эту замечательную статью, он изменил мнение. «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно», — как говорит наш Лермонтов.

Пишите мне, если Вам захочется, по адресу моей жены: Bograde-Plékhanoff, 5, rue des Allemands, Genève. Меня опять изгнали из Женевы; возможно, что меня изгонят и из Франции.

Если вы увидите Бернштейна, спросите его, как обстоит дело с моей работой об *анархистах;* кончил ли он перевод?

Привет от всех нас.

Преданный вам *Г. Плеханов.*

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Мой дорогой учитель.

Группа Кричевского, Игнатьева и комп. — совсем особая группа, которая заслуживает подробной характеристики.

Кричевский за границей с 1887 г. Он совсем не принимал активного участия в русском движении. Он жил, не помню, в каком провинциальном городе, где принадлежал к одному из тех кружков молодых людей, которые занимаются чтением революционных брошюр и раздают их, если представится случай. Как ни невинно было подобное занятие, этого было достаточно, чтобы скомпрометировать Кричевского. Он оставил Россию. В то время запас его социалистических идей был очень легковесен, а, главное, очень малоценен: русский народник, т.-е. полу-демократ и полу-анархист. Но этот человек не лишен известной доли интеллигентности. Он читал и учился за границей. Он понял, что его «социализм» не имел ничего общего с современным социализмом. Он стал *социал-демократом*. Некоторое время он был с нами. Мало активный, по своему темпераменту, он, к тому же, не мог сделать ничего заметного в силу своего положения эмигранта, *абсолютно неизвестного в России*.

Он учился, делал переводы для социалистических газет Германии (он перевел почти все, что я писал в «N. Z.»; он же переводчик моего Чернышевского); он написал для «N. Z.» статью под заглавием: «Русское революционное движение в прошлом и настоящем» (1890). Если вы читали эту статью, она должна была произвести на вас не особенно приятное впечатление: слишком много доктринерства, и слишком мало

понимания революционной стороны нашего движения. Крич[евский] принадлежит к тому типу талмудистов социализма, которым удается схватить его *букву*, но никогда не *дух* его. Он представляет тот род «истинного» социалиста, который возмущается всяким движением, сколько-нибудь противоречащим формулам, запечатленным в его памяти. Но, так как он никогда не был влиятельным, то с ним, так или иначе, можно было бы столковаться, не встреть он некоего *Иогихеса*, — его злого гения, его теперешнего вдохновителя.

Теперь о г-не Иогихесе (его псевдонимы: 1. Грозовский. 2. Левка; под последним именем он известен Мендельсону и его друзьям). Он оставил Россию, чтобы избежать неприятностей *военной службы*. Но раньше, до совершения этого акта практического антимилитаризма, он принадлежал к одной революционной группе в Вильне. Ему, повидимому, удалось ввезти в Россию несколько кило революционных книг; он был в сношениях с пограничными евреями — контрабандистами. Его молодые друзья (большею частью гимназисты) провозгласили его крупным конспиратором. Он охотно разделял это их мнение о нем. Возможно, что при других условиях он приобрел бы некоторый талант конспирации. Но его несчастье — безграничное его *тщеславие* и неразборчивость в *средствах*. Его идеал практического человека — Нечаев, приемы которого вам известны. Но, при всей своей ограниченности, у Нечаева не было недостатка в энергии, и он сумел заплатить собственной жизнью. Миниатюрное издание Нечаева — Иогихес находит энергию только для интриг за границей. На этом поприще он неутомим, неисчерпаем, а главное — беспристрастен. Происходя из Вильны, он владеет польским языком и пользуется этим, чтобы интриговать среди поляков и русских. Мендельсон вам расскажет, что он сделал, чтобы повредить польскому движению; я же вас познакомлю с его делами и образом действий касательно русского движения.

Пока Иогихес был в России, он назывался *народовольцем*. Но уже тогда он понял, что течение больше не было за Народную Волю. Прибыв за границу, он об'явил себя *социал-демократом*. Он стремился сблизиться с нами. У нас не было никакого желания его отталкивать. Он спрашивал у нас совета относительно своей будущей деятельности. Мы ему ответили, что, раз он думает, что обладает талантом организатора, то нужно *ехать в Россию*. — Но у меня нет паспорта.—Найдется.—Когда все трудности были преодолены и нужно было уезжать, Иогихес об'явил, что он получил от одного из своих друзей *15 тысяч рублей* «для дела» и что он считает себя обязанным остаться *за границей*, чтобы хорошо употребить эти деньги; я думаю, что он их уже имел во время своих переговоров с нами (говорят, что его мать очень богата). Как бы то ни было, г-н Иогихес предложил нам новые условия: 1. Он остается за границей. 2. Он употребляет *проценты* с капитала на нужды движения. 3. Во всяком предприятии *он один имеет столько голосов, как мы все*; все наши сношения с товарищами в России он отныне будет вести один; мы должны передать ему все наши адреса, все наши знакомства (это последнее условие делало его для нас подозрительным). Мы поняли, что этот человек был только революционным карьеристом, это — Streber [1]), как говорят немцы. Наши отношения стали очень холодны. Он, однако, дал несколько денег для наших изданий, но в то же время вел против нас глухую кампанию везде, где только мог. Он искал случаев составить нам оппозицию.

Первым из этих случаев был русский голод. Мы говорили в наших брошюрах и письмах, посылавшихся в Россию, что наши товарищи должны использовать положение, чтобы вести *конституционную агитацию*. Г-н Иогихес третировал нас, как изменников социализму: «для истинного социалиста конституционная агитация не имеет смысла». Вам из этого видна глубина его идей. Но он еще не боролся с нами открыто; он только угрожал нам, что перейдет на сторону Лаврова. — Это нас нисколько не волновало, тем более, что Иогихес, по нашему мнению, был достаточно умен, чтобы понять, что Лавров все больше и больше остается изолированным, одиноким. И, действительно, Иогихес не совершил этой ошибки. Но ему удалось привлечь к себе *Кричевского*, и он предпринял с ним издание *Социал-демократической библиотеки*. И Кричевский вдруг стал нашим от'явленным врагом.

---

[1]) Пролаза.

Тем временем наступил Цюрихский конгресс. Иогихес, как я уже сказал, беспристрастно интриговал как среди поляков, так и среди нас; *за 15 дней перед Конгрессом* он основал польский социалистический журнал «Sprawa Robotnicza» (Рабочее дело), который за время Конгресса вышел только *в одном номере*. Не важно. Он послал некую Люксембург, как делегатку, от журнала. Делегатка Иогихеса, в компании с другим «товарищем», представила лживый и иезуитский доклад о движении в *Польше*. Вся остальная польская делегация оттолкнула ее с негодованием. Она обратилась ко *мне*, говоря что она не хочет быть *с поляками*, но *с русскими*, так как она родилась в русской Польше и все ее друзья работают там. Несмотря на протесты польской делегации, бюро приняло M-lle Люксембург. Поляки апеллировали к *Конгрессу*. Голосовали по национальностям: постановление бюро было аннулировано. Я голосовал с польской делегацией против допущения M-lle Люксембург. Я не мог сделать иначе, потому что, поддерживая предложение уничтожить польскую делегацию, т.-е. приглашая делегатов русской Польши войти в русскую делегацию, делегатов австрийской Польши войти в австрийскую и т. д., я требовал бы нового раздела Польши, другими словами — я совершил бы из ряда вон выходящую глупость. Г-н Иогихес воспользовался этим вторым случаем, чтобы третировать меня, — на этот раз открыто, — как изменника социализму и союзника буржуазных патриотов (эти буржуа — Мендельсон и его друзья), г-н Кричевский кричал еще громче, и разрыв совершился.

Впрочем, гражданка Элеонора Marx-Aveling знает перипетии этой борьбы конгрессистов за и против прекрасной M-lle Люксембург (она на Конгрессе была под другим именем).

По случаю столетия польской революции 1794 г. Иогихес с компанией гремел против меня, когда узнал, что комитет праздника пригласил меня произнести речь.

Кстати, именно интриги этих господ и польских друзей M-lle Люксембург побудили меня спросить, через Бернштейна, вашего мнения об этом деле. Я думал, что Мендельсон уже сообщил вам о том, что происходит в Цюрихе.

Праздник состоялся *14 мая*. Приехав в Цюрих, я узнал, что в недрах комитета (Polska nie rządem stoi) произошло несколько революций и что в этом случае взяли верх чистые патриоты (с более или менее *католической* окраской). Я посоветовался с несколькими польскими социалистами из Цюриха. Они мне сказали, что тем не менее пойдут на торжество и меня *просили* пойти говорить. Я не отказался. В первой половине своей речи я цитировал ваше и Маркса мнение о польском вопросе; во второй я сказал, что как *русский* я всей душой за независимость Польши, потому что, чем больше царствует порядок в *Варшаве*, тем больше вешают в *Петербурге*. «Чистые» и «истинные» во вкусе г-на Иогихеса не замедлили напасть на меня *после* моей речи, как они это делали до нее. Но я считаю свою позицию неприступной.

Однако вернемся к нашему вопросу.

Все предприятия Кричевского и Игнатьева (я не знаю этого господина; думаю, что это новый псевдоним Иогихеса, который хотел бы испытать себя на литературном поприще) *направлены против нас непосредственно и против поляков через посредство M-lle Люксембург*. Назначение их — только создание пьедестала г-ну Иогихесу. «Нам недостает популярности», — наивно сказал Кричевский одному из моих друзей. Чтобы приобрести популярность, переводят Маркса, просят у вас предисловий. Популярность этих господ страшно повредит как русскому, так и польскому движению. Я уверен, что вы не захотите поощрять такое негодное дело.

Вы удивляетесь, что упомянутая компания сделала новый перевод «Наемного труда и капитала». *Больше* того. С самого появления вашей брошюры «Internationales» и т. д. Вера Засулич сделала перевод вашего ответа Ткачеву и Nachtrag'а. Я предупреждал Кричевского, что мы издадим этот перевод. Он сделал другой, который он теперь издает и для которого он просит у вас предисловие. Они хотят организовать анархию, подобно царствующей у народовольцев, где каждый делает, что хочет.

Десять лет тому назад Засулич, сделавши перевод «Entwicklung des Socialismus», спросила у вас разрешения издавать по-русски ваши труды и Маркса. Вы не отказали

нам в этом разрешении. Засулич полагала, что действует согласно этому разрешению, переводя Sociales aus Russland. Но два единовременных издания не имеют никакого смысла. Незачем вам говорить, что мы с радостью издадим *предисловие*, если вам угодно будет нам его дать.

Я теперь думаю, что уже давно должен был написать обо всем этом. Но вы понимаете, как это тяжело. Это пахло бы интригой, а я ненавижу интриги.

Я прочел мое письмо Аксельроду. Он вполне с ним согласен. Засулич могла бы еще дополнить характеристику Иогихеса, внушающего ей глубокое отвращение.

Аресты в России, к несчастью, очень многочисленны. Много интеллигентов («intelligentia») и рабочих в заключении. Но этот удар не непоправим.

Шлю вам привет, дорогой учитель, и прошу кланяться *Бернштейну*. Я благодарю его за его истинно дружеское письмо. Я узнаю из «N[eue] Z[eit]», что мой Чернышевский должен появиться на немецком. Я позволю себе послать вам экземпляр.

Я ничего не сказал в моем письме о польских делах. Скажу одно: возможно, что Мендельсон там совершил ошибки; но не Иогихес и комп. спасут положение.

Аксельрод мне говорит, что, во избежание недоразумений, нужно прибавить, что мы предложили Иогихесу отправиться в Россию только после его неоднократно выраженного желания сделать эту поездку. Иогихес всегда выражал полное презрение к революционерам, которые остаются за границей без безусловной необходимости. Привет от всех нас. Преданный вам

Г. Плеханов.

Так как я еще некоторое время останусь в Цюрихе, то прошу вас адресовать ваш ответ — если будет ответ, — а мы его будем ждать с нетерпением — Аксельроду, 33 Mühlegasse, Zurich.

16 мая 1894 г.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Лондон, 21 мая 1894 г.

Дорогой Плеханов!

Сначала — избавьте меня, пожалуйста, от maître'а [1]) — я называюсь просто Энгельс.

Потом — спасибо за ваши сообщения. Я написал заказным письмом г. Кричевскому, что введение к «Наемному труду и кап[италу]», так же как и статья о России в «Internationales aus dem Volkstaat», являются моей литературной собственностью на основании Бернской Конвенции и что всякий перевод требует моего разрешения, что я вынужден в интересах дела осуществить мои права, чтобы воспрепятствовать переводам лицами неспособными или так или иначе некомпетентными (unbefugt) и что, следовательно, его прямым долгом было спросить моего предварительного согласия, чего он не сделал. Поэтому *я заявил, что решительно протестую против такого образа действий и поддерживаю все мои права.* Что касается статей о России, я протестовал тем более, что я уже связан, предоставивши право на русский перевод этих и других работ г-же Вере Засулич.

Теперь, если он будет продолжать издание этих вещей, мы увидим. Во всяком случае, будьте добры известить меня, появляются ли они, и пришлите мне экземпляр. Так как он возвещает также о переводе «Эрфуртской программы» Каутского, я счел необходимым предупредить последнего о тех приемах, которые были употреблены относительно меня. Я ему ничего не сообщил о том, что вы мне писали, но я ему сказал, что тут нечисто и что ему нужно обратиться к вам, чтобы узнать об этом больше.

Я надеялся повидать вчера вечером Мендельсона [2]), но узнал, что его жена больна. Если смогу, пойду к нему на этой неделе.

Заранее благодарю за экземпляр вашего Чернышевского. Я его жду с нетерпением.

---

[1]) [Учитель».]

[2]) Известный член польской социалистической организации «Рувность», за тем «Пшедсвит». О нем и жене его — Яблоновской Марии см. в моей брош. «Наша политич. эмигр.» и т. д. *Л. Д.*

Здесь дело подвигается, хотя медленно и зигзагами. Возьмите, напр., Мардслея, главу текстильных рабочих Ланкашира. Он — тори, консерватор в политике и набожно верующий в религии. Три года назад эти люди были ожесточены против 8 часов, теперь они их требуют очень решительно. Мардслей, который год тому назад был жестоким противником всякой независимой политики рабочего класса, теперь в своем недавнем манифесте заявляет, что текстильные рабочие Ланкашира располагают двенадцатью местами в парламенте от одного этого графства. Вы видите: это тред-юнион войдет в парламент, это не класс, а отрасль производства, которая требует представительства. Но это, во всяком случае, шаг вперед.

Сначала разобьем полную преданность двум большим буржуазным партиям; пусть у нас будут в парламенте текстильные рабочие, как у нас есть уже рудокопы. Как только там будет представлено с дюжину промышленных отраслей, сознание класса прорвется само собой. В довершение комизма в этом самом манифесте Мардслей требует биметаллизма, чтобы поддержать господство английских бумажных тканей на индийском рынке.

Эти английские рабочие — прямо приводящие в отчаяние народ: — они проникнуты чувством воображаемого национального превосходства и совершенно буржуазными идеями и взглядами; они узко «практичны», и их лидеры сильно заражены парламентской испорченностью. Все же дело двигается, только «практичные» англичане придут последними. Но когда они дойдут, то положат на чашу весов очень солидный вес.

Дружеский привет Аксельроду и его семье.

Ваш *Ф. Энгельс.*

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Лондон, 22 мая 1894 г.
122, Regent's Park Road.
N. W.

Дорогой Плеханов!

Вчера, вскоре после отправки моего письма к вам, пришли ко мне Бернштейн и Каутский. Это неизбежно должно было изменить мои планы: я поэтому счел необходимым прочесть им ваше письмо, не дожидаясь особого вашего разрешения, чтобы дать им возможность самим судить о приемах Кричевского. Произведенное на них впечатление, надеюсь, будет вполне соответствовать тому, что вы можете желать. В самом деле, даже при самом искреннем желании сохранить нейтралитет в делах и интимных ссорах русской эмиграции, нельзя извинить поведения Кр[ичевского] в деле перевода «Sociales aus Russland» после предупреждения, что перевод предпринят В[ерой] З[асулич]. Сверх того эти господа получили согласие К. К[аутского] на перевод его «Эрфуртской программы», при чем он предполагал, что это будет напечатано в России, и во всяком случае ему и в голову не приходило, что это будет издано в Швейцарии.

Каутский мне сказал, что Игнатьев — псевдоним Гельфанта (или подобное имя), он находится в Штуттгарте, вы должны его знать, но так как К[аутский] не уполномочил меня воспользоваться этим сообщением, то я прошу вас относиться к нему, как к строго конфиденциальному. Судя по тому, что К[аутский] и Б[ернштейн] мне говорят, Г[ельфант], повидимому, честный малый, который попался в ловушку, расставленную ему Иогихесом, скорее по нечаянности, чем по злой воле.

Ваш *Ф. Э.*

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Мой дорогой гражданин Энгельс!

Тороплюсь Вам ответить, но позвольте мне начать с самого интересного вопроса: *Н.—она* и его книги.

Вы говорите, что он боялся последствий нашествия капитализма в России, и это очень понятно. Но, с другой стороны, в чем и как русская земельная община помогла бы нам избегнуть тех зол, которых он боялся? Каково настоящее положение этой общины?

Уже в 1879 г. знаменитый Орлов (основатель статистики русских земств) сказал в своей книге: «*Формы землевладения в Московской губернии*», что для беднейших членов общины (а они многочисленны) община стала *вредным учреждением* («для беднейшей части крестьянства община стала *тормо-*

зом, бичом». Бич—fléau). Не имея больше необходимых средств для возделывания их земель, эти члены общины платят, однако, подати, как если бы они извлекали выгоды из своих «*наделов*». Эти подати (а они очень значительны) правительство взимает с них из их заработной платы фабричных рабочих. При этих условиях распадение общины было бы очень чувствительным облегчением для этих людей. А для правительства одним предлогом меньше заставлять платить тех, кто имеет что-нибудь, за тех, кто ничего не имеет: с распадением общины пала бы *круговая порука*. Ослепление наших народников и даже наших либералов по отношению к общине заходит так далеко, что они сами говорят правительству: кто же будет платить подати, если община будет уничтожена? Согласитесь, что это значит позволять себе очень много наивности, если не глупости. Они повторяют здесь то, что уже сказал наш Торквемадо-Победоносцев, который в очень интересной статье в реакционном «*Русском Вестнике*» провозгласил: «*Именно земельная община спасет нас от рабочего движения и социализма*». Действительно, старый общинник (член общины) был так мало революционен, что царизм мог бы существовать еще тысячелетия, если бы экономическое движение не изменило условий его существования, а затем — его образа мыслей. Без всякого преувеличения теперь можно сказать, что чем больше разрушается наш старый экономический строй, который так мил Н. — ону, тем больше мы приближаемся к революции.

Н.—он так ставит вопрос о капитализме, как будто он еще не существует в России. В действительности мы *уже* страдаем от капитализма и *еще* страдаем от того, что капитализм не достаточно развит. Страдание на страдание, это— учетверяет наши экономические бедствия, не говоря о нашем политическом положении, которое превосходит все, что можно было бы сказать скверного на его счет.

Но предположим, что община — наш якорь спасения. Кто произведет реформы, предполагаемые Н.—оном? Царское правительство? Лучше чума, чем реформы, исходящие от подобных реформаторов! Можно ли себе представить что-либо более химерическое, чем социализм, насажденный *исправниками?*

К тому же правительство делает все от него зависящее, чтобы разрушить общину.

После последних арестов в России попало в заключение около 2.000 человек. Значительная часть арестованных уже освобождена.

Перейдем теперь к Кричевскому.

Судя по отрывку письма, которое вы цитируете, он сам признает, что знал о нашем намерении издать вашу брошюру: «Tage vor dem 10 Mai» («Дни перед 10-м мая»). Он только говорит, что знал это aus dritter Hand (из третьих рук). Но эти «Hand» (руки), через которые он это узнал, был *наборщик* их собственной типографии. Принимая во внимание демократические нравы русских революционеров, наборщик типографии это — почти член редакции. Этому же наборщику я сообщил о нашем намерении *именно для того, чтобы он передал это Кр[ичевскому]*. Он мне ответил через одного нашего общего друга, болгарина, что он осведомил редакцию *Библ. социал-демокр.* относительно наших намерений, но что редакция настаивает и безусловно хочет, чтобы он начал набирать брошюру.

Г. Кричевский претендует, что нашим долгом было возвестить через печать о нашем намерении относительно упомянутой брошюры. Это, быть может, было бы полезно, но не с точки зрения психологии г. Кричевского, который твердо решил издать брошюру во всяком случае. Говоря правду, я не сделал об'явления, чтобы избавить читателей от удивления, которое вызвало бы это *двойное* издание социал-демократами одной и той же брошюры, в одно и то же время. Я знал, что будет много пересудов, и чтобы избежать этого, я был готов написать вам, чтобы просить совета, но воздержался по соображениям, о которых писал в своем письме из Цюриха.

Но я очень хорошо помню, что наборщик Кр[ичевского] и К-о несколько раз говорил нашему посреднику: «Плеханов лучше сделает, если напишет лично Иогихесу. Я рассудил, что такой шаг бесполезен, так как знал г. Иогихеса. Теперь я предполагаю, что редакция соц.-дем. Библ. написала своему наборщику, что она не желает рассматривать свое письмо как *официальное*. Она уже с тех пор была расположена говорить о своем письме, как о новости, дошедшей

зом, бичом». Бич—fléau). Не имея больше необходимых средств для возделывания их земель, эти члены общины платят, однако, подати, как если бы они извлекали выгоды из своих «*наделов*». Эти подати (а они очень значительны) правительство взимает с них из их заработной платы фабричных рабочих. При этих условиях распадение общины было бы очень чувствительным облегчением для этих людей. А для правительства одним предлогом меньше заставлять платить тех, кто имеет что-нибудь, за тех, кто ничего не имеет: с распадением общины пала бы *круговая порука*. Ослепление наших народников и даже наших либералов по отношению к общине заходит так далеко, что они сами говорят правительству: кто же будет платить подати, если община будет уничтожена? Согласитесь, что это значит позволять себе очень много наивности, если не глупости. Они повторяют здесь то, что уже сказал наш Торквемадо-Победоносцев, который в очень интересной статье в реакционном «*Русском Вестнике*» провозгласил: «*Именно земельная община спасет нас от рабочего движения и социализма*». Действительно, старый общинник (член общины) был так мало революционен, что царизм мог бы существовать еще тысячелетия, если бы экономическое движение не изменило условий его существования, а затем — его образа мыслей. Без всякого преувеличения теперь можно сказать, что чем больше разрушается наш старый экономический строй, который так мил Н. — ону, тем больше мы приближаемся к революции.

Н.—он так ставит вопрос о капитализме, как будто он еще не существует в России. В действительности мы *уже* страдаем от капитализма и *еще* страдаем от того, что капитализм не достаточно развит. Страдание на страдание, это—учетверяет наши экономические бедствия, не говоря о нашем политическом положении, которое превосходит все, что можно было бы сказать скверного на его счет.

Но предположим, что община — наш якорь спасения. Кто произведет реформы, предполагаемые Н.—оном? Царское правительство? Лучше чума, чем реформы, исходящие от подобных реформаторов! Можно ли себе представить что-либо более химерическое, чем социализм, насажденный *исправниками*?

К тому же правительство делает все от него зависящее, чтобы разрушить общину.

После последних арестов в России попало в заключение около 2.000 человек. Значительная часть арестованных уже освобождена.

Перейдем теперь к Кричевскому.

Судя по отрывку письма, которое вы цитируете, он сам признает, что знал о нашем намерении издать вашу брошюру: «Tage vor dem 10 Mai» («Дни перед 10-м мая»). Он только говорит, что знал это aus dritter Hand (из третьих рук). Но эти «Hand» (руки), через которые он это узнал, был *наборщик* их собственной типографии. Принимая во внимание демократические нравы русских революционеров, наборщик типографии это — почти член редакции. Этому же наборщику я сообщил о нашем намерении *именно для того, чтобы он передал это Кр*[*ичевскому*]. Он мне ответил через одного нашего общего друга, болгарина, что он осведомил редакцию *Библ. социал-демокр.* относительно наших намерений, но что редакция настаивает и безусловно хочет, чтобы он начал набирать брошюру.

Г. Кричевский претендует, что нашим долгом было возвестить через печать о нашем намерении относительно упомянутой брошюры. Это, быть может, было бы полезно, но не с точки зрения психологии г. Кричевского, который твердо решил издать брошюру во всяком случае. Говоря правду, я не сделал об'явления, чтобы избавить читателей от удивления, которое вызвало бы это *двойное* издание социал-демократами одной и той же брошюры, в одно и то же время. Я знал, что будет много пересудов, и чтобы избежать этого, я был готов написать вам, чтобы просить совета, но воздержался по соображениям, о которых писал в своем письме из Цюриха.

Но я очень хорошо помню, что наборщик Кр[ичевского] и К-о несколько раз говорил нашему посреднику: «Плеханов лучше сделает, если напишет лично Иогихесу. Я рассудил, что такой шаг бесполезен, так как знал г. Иогихеса. Теперь я предполагаю, что редакция соц.-дем. Библ. написала своему наборщику, что она не желает рассматривать свое письмо как *официальное*. Она уже с тех пор была расположена говорить о своем письме, как о новости, дошедшей

«из третьих рук», так как наборщик, несмотря на работу у них, хорошо расположен к нам (лучше, чем к ним), он хотел бы своим советом помочь мне расстроить проект Иогихеса. Достаточно, — эти господа были должным образом предупреждены.

Само собой разумеется, что, указывая им на этот факт, Вы не назовете имени *Иогихеса:* меня обвинят в раскрытии псевдонима. Имя наборщика — *Блюменфельд*.

Наглость Крич[евского] меня вообще не удивляет: наглость — его сущность. Но, если он окажется наглым и относительно Вас, это меня удивит даже с его стороны.

Со дня на день я и Вера (которая остается здесь под псевдонимом) ждем, что нас изгонят: Казимир Перье не долго нас будет щадить. Жандармы и шпионы непрерывно бродят вокруг нашей квартиры.

Следовательно, мы увидимся, вероятно, в скором времени. Привет вам, Бернштейну, Эвелингам и М-ме Луизе Каутской. В. З. кланяется всем вам.

Очень преданный вам *Г. Плеханов.*

Морнэ, 1 июля 1894 г.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Мой дорогой генерал!

Несколько раз я приходил к вам, когда вы меня меньше всего ожидали. Вы, вероятно, были удивлены этими несвоевременными визитами. Я вам разгадаю загадку.

Вы имеете несколько редких книг (например, Neue Rheinische Zeitung, газету и журнал), перелистать которые меня берет нетерпение, если нет возможности их прочесть. Поэтому я приходил к вам, чтобы спросить разрешения рассмотреть их у вас. Но у меня каждый раз не хватало мужества, потому что я думал, что это вам помешает. Нужно, однако, разрешить этот вопрос, и я очень прошу вас написать мне, осуществимо ли это и когда мое появление будет вам менее всего неприятно.

Я считаю задачей всей моей жизни пропаганду ваших и Маркса идей. Мне нужно, значит, хорошо их знать. Вот смягчающее обстоятельство, которое вы, надеюсь, примете во внимание.

Преданный вам *Г. Плеханов.*

30 окт. 1894 г.
95, St.-Stephens Avenue, 95
Shepherd's Buch, W.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

41, Regent's Park. Road N. W.
Ноябрь 1, 1894 г.

Дорогой Плеханов!

Само собой разумеется, что я, сколько возможно, облегчу вам рассмотрение Neue Rh[einische] Zeitung, и я положительно не вижу, почему вам нужно было стесняться сказать мне об этом откровенно. В настоящую минуту мои книги еще не приведены в порядок, эта работа была прервана множеством других дел, которые надо было закончить, — поездками в город, консультациями с адвокатами и другими неприятностями, причиненными легальными формальностями и материальными затруднениями, без которых невозможно нанять дом в Англии и в особенности в Лондоне. Это еще не кончено...

Пока я не разложил моих книг, нет никакой возможности начать, и поэтому я вас прошу еще немного потерпеть. Но будьте уверены, что вы получите все книги, журналы и т. д., которые я смогу найти по интересующей вас специальной литературе. Мы об этом поговорим, как только я буду иметь удовольствие с вами увидеться.

Ваш *Ф. Энгельс.*

В настоящую минуту я узнаю, что собираются поставить новую плиту в нашей кухне и что это помешает нам варить до после воскресенья. Поэтому мы не сможем принять вас в воскресенье вечером, так как не сможем дать вам ничего поесть. Тем не менее, если вы хотите зайти сюда в какой угодно вечер после восьми часов, мы поговорим с вами о книгах.

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

Мой генерал! [Женева, 1894 г.]

Неделю тому назад я послал вам через Веру русскую книгу [1]), о которой мне очень интересно узнать ваше мнение. Но очень возможно, что вы еще не получили книги, потому что Вера, повидимому, *очень больна*. Именно о ее болезни я хочу с вами поговорить.

Еще со своего пребывания в Швейцарии Вера так мало заботилась о себе, что только по нашим настояниям соглашалась принять какое-нибудь лекарство. Теперь она далеко от нас, и я уверен, что она совершенно освободилась от медицины. Ее нужно заставить лечиться. Доктор Фрейбергер окажет нам огромную услугу, если навестит и выслушает Веру.

Не пишу прямо ему, предполагая, что он, быть может, очень занят и что, следовательно, моя просьба была бы ему неприятна. Если это не так — а вам лучше всех известно, как обстоит дело, — поговорите с ним о Вере и попросите его написать мне несколько слов о нашей упрямой больной. Привет от меня ему и M-me Фрейбергер.

Вы, конечно, читали в газетах, что Николай II об'явил, что он намерен следовать по стопам своего «незабвенного» папеньки. Это придаст нашему «обществу» либерального духу, в котором оно очень нуждается. Не мы, конечно, на это пожалуемся.

Надеюсь, что вы здоровы, несмотря на русские холода, которые стоят в Лондоне.

Я, моя жена и Аксельрод, который сейчас в Женеве, шлем вам сердечный привет.

Преданный вам *Г. Плеханов.*

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Лондон, 8 февраля 1895 г.

Ф[рейбергер] [2]) с удовольствием произведет оскультацию В[еры], но каким образом заставить ее согласиться на это? Разумеется Ф. не может явиться к ней, говоря: «Г. П[леханов] поручил мне произвести вам оскультацию». Это вы должны подойти к ней с этим и убедить ее согласиться на это, и в таком случае пусть она мне об этом скажет, и я беру на себя остальное. Или, если она предпочитает, пусть поговорит с Луизой Ф., и Луиза устроит дело. Вот что я предложил бы вам, но, если вы думаете найти другой путь для достижения желанной цели, сообщите это мне, и мы примем меры.

В[ера] мне дала вашу книгу [1]), за которую я вас очень благодарю; я начал ее читать, но это потребует много времени. Во всяком случае это большой успех, что удалось ее издать в *самой стране*. Это одним этапом больше; и, если даже мы не сможем удержать новой позиции, которую мы выиграли, это все же прецедент, — лед разбит. Запрещение «Русской Жизни», повидимому, уже знаменует начало реакции. Николай, очевидно, хочет приготовить своих мужиков к свободе насильственным воспитанием, так что только следующее поколение созреет для конституции; это еще новая формула для старого — après nous le déluge. Но потоп (le déluge) подобен дьяволу Фауста:

> den Teufel spürt das Völkchen nie,
> und wenn er sie beim Kragen hätte... [2])

И уж если кого дьявол революции держит за шиворот, так это — Николая II. (Последняя фраза в подлиннике по-немецки. *Ред.*)

Что касается моего здоровья, то оно лучше, чем было уже с давних пор. Пищеварение хорошо, дыхательные пути в полном порядке, сплю мои семь часов в ночь, работаю с удовольствием, счастлив, что могу, наконец, начать снова мои работы, после перерыва почти на целый год: корректуры 3-го тома, корреспонденция, переезд, болезнь кишечника и т. д.

Привет M-me Плехановой и Аксельроду от меня и также от Людвига и Луизы Фрейбергер. Ваш *Ф. Энгельс.*

Вы не даете мне особого адреса, поэтому я пользуюсь старым.

---

[1]) Речь идет о «Монистическом взгляде на историю» *Л. Д.*

[2]) Д-р Фрейбергер, муж Луизы, бывшей жены Каутского. *Р. П.*

[1]) Энгельс имеет в виду «Развитие монистического взгляда».

[2]) Дьявола людишки никогда не чуют,
Хотя б он их держал за шиворот.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Женева, 20 февр. 1895 г.

Мой генерал!

Если я не ответил вам сразу, то потому только, что понял, как трудно уладить дело, о котором идет речь. Очевидно, что Фрейбергеру неудобно явиться в качестве врача, не будучи приглашенным Верой. С другой стороны, если бы Вера решилась говорить о своей болезни Бернштейну или Элеоноре Маркс-Эвелинг, это было бы уже началом благоразумия, которое, при ее характере, представляется мне совершенно невозможным. Из этого положения есть только один выход: это напасть на Веру, когда она придет к Вам. Увидя, что вы на моей стороне, она сложит оружие без сопротивления.

Я послал Вере январский номер «Русского Богатства»: там есть критика вашей книги «Происхождение семьи, собственности» и т. д. некоего Зака. Господин этот совсем неизвестен в нашей литературе, и, судя по его дебюту, он не обещает ничего хорошего. Его критика нелепа, как все нападки, направленные этим журналом против вас и Маркса. Меня удивляет, что г-н Даниельсон продолжает сотрудничать в журнале, характер которого теперь уже вполне выявился. Впрочем, и сам Даниельсон в статье, направленной против Струве, говорит о правительстве Николая II, как о правительстве, которое может взять на себя заботу об «организации производства» в нашей стране. Уже по одному этому он уже является революционером и утопистом в одно и то же время.

Меня совсем не удивляет, когда подобные глупости идут со стороны Михайловского. Уже во времена Лорис-Меликова, он ясно изложил свою «программу», в которой царское правительство фигурирует, как *миротворец и организатор*. Но переводчик «Капитала» должен бы обладать бо́льшим политическим тактом. Даниельсон нанесет большой вред нашему революционному движению. Не могли ли бы вы высказаться по этому вопросу, например, в «Neue Zeit»? Он так важен, что, конечно, заслуживает несколько страниц. А ваш голос живо положит конец всем «превратным толкованиям» этого господина.

Если наши wahre Socialisten [истинные социалисты] порядочные реакционеры, зато наши земства оживились. Вам, конечно, известна петиция Тверского земства. Петиция Черниговского земства еще более выразительна. Молодой идиот Зимнего дворца своей речью оказал большую услугу революционной партии.

Пожалуйста, поклонитесь хорошенько от меня Фрейбергерам и Эвелингам.

Преданный вам *Г. Плеханов.*

Читали ли вы доклад Жореса об идеализме и материализме? Странный «философ» этот господин Жорес. Мой адрес теперь: 6, rue Candolle, Genève.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Лондон, 26 февраля 1895 г.

Дорогой Плеханов!

Уже восемь дней, как все устроено. Вера мне написала что будет охотно пользоваться лечением Фрейб[ергера]. Вчера была неделя, как он пошел к ней и с тех пор был еще два раза. Он нашел у нее сильный бронхит и прописал ей необходимые лекарства. Но он говорит, что ей больше всего нужна другая система питания. Нужно, чтобы она ела мясо вместо всяких фруктовых варений и другой растительной пищи. Ф. сейчас вышел, и я вернусь к ее здоровью в конце этого письма.

Теперь, когда вы мне так или иначе поручили заботу о ее здоровьи, вы должны мне сказать, нуждается ли она в деньгах? В таком случае я вас попрошу разрешить мне предложить вам немного, по крайней мере, в течение ее болезни. Я вам пошлю, скажем, сначала пять фунтов, которые вы ей пошлете *от себя* так, чтобы я в это совсем не был вмешан. Вы ей скажете, что посылаете ей эти деньги, чтобы она не имела никакого предлога отказываться от перемены режима и что Фр. считает такую перемену ее режима необходимой.

У меня не будет времени прочесть критику «Русского Богатства» относительно моей книги. Я уже достаточно видел по этому поводу в январском номере 1894 г. Что касается Даниельсона, то боюсь, что с ним ничего не поделаешь. Я ему послал в письме русские дела в «Internationales» («Интернационале») из «Volksstaat'а» и особенно приложение 1894 г., которое было написано частью непосредственно по его адресу. Он его прочел, но, как видите, — это бесполезно. Нет возможности полемизировать с этим поколением русских, неизменно верящих в спонтанейно-коммунистическую миссию, отличающую Россию, настоящую «Святую Русь» [1]), от других неверных народов.

И, наконец, в такой стране, как ваша, где крупная современная промышленность привита к примитивной крестьянской общине и где одновременно представлены все промежуточные ступени цивилизации, — в стране, которая сверх того окружена более или менее действительно интеллектуальной китайской стеной, воздвигнутой деспотизмом, нельзя удивляться, если происходят самые странные, самые невероятные сочетания идей. Возьмите этого бедного малого Флеровского, который вообразил, что столы и кровати думают, но не имеют памяти. Это ступень, через которую страна должна пройти. Мало-по-малу, с ростом городов, отрезанность талантливых людей исчезнет, а вместе с тем и эти заблуждения ума (aberrations mentales), вызванные одиночеством, беспорядочностью случайных знаний этих забавных мыслителей. А у народников [по-русски] это вызывается отчасти отчаянием при виде крушения их надежд. Действительно народник [по-русски] — ex-террорист очень естественно может кончить царистом [2]).

Чтобы мне впутаться в эту полемику, нужно было бы прочесть целую литературу и потом следить за ней и отвечать; но [тогда] это поглотило бы все мое время в течение года, и единственным полезным результатом, вероятно, было бы, что я знал бы русский язык гораздо лучше, чем теперь.

---

1) «Святая Русь» в подлиннике по-русски.

2) Энгельс имеет здесь в виду такое заявление Плеханова по поводу превращения Тихомирова в защитника самодержавия. *Ред.*

Но от меня требуют того же самого для Италии, по поводу знаменитого Лориа, — но я уже подавлен работой.

Жорес на хорошем пути: он изучает *марксизм*, — но не нужно его слишком торопить; он уже сделал довольно большие успехи, — гораздо больше, чем я предполагал. И потом, не будем требовать слишком много ортодоксии: партия слишком велика, и теория Маркса слишком распространена, чтобы путаники (confusionnaires), более или менее изолированные, могли много повредить на Западе. У вас — другое дело, подобно тому как [было] у нас в 1845 — 59 г.г.

Что касается Николая, я согласен с вашим мнением: Земский Собор [по-русски] явится вопреки этому маленькому человечку.

Вернувшийся Ф[рейбергер] говорит мне, чт В[ере] гораздо лучше и что его оскультация до сих пор не обнаруживает решительно ничего, кроме застарелого и запущенного катарра бронх.

Ваш *Ф. Э.*

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

3 марта 1895 г.

Мой генерал!

Прежде всего напишу вам о Вере. Благодарю вас за ваше великодушное предложение, которое я считаю трогательным доказательством вашего к нам дружеского отношения, но даю вам честное слово, что Вера *совсем не нуждается в деньгах*. Я надеюсь, что она еще долго не будет в них нуждаться. К несчастью, по отношению к ней главное затруднение не в том, чтобы послать ей денег, а в том, чтобы *заставить ее их истратить*. У нее свои собственные принципы: она себе не позволяет «*роскоши*», а то, что она называет *роскошью*, другие считают *необходимым*. Когда мы жили вместе в Морнэ, я заставлял ее иметь здоровую и разнообразную пищу, заказывал ее хозяйке готовить ей обеды ежедневно. В Лондоне, будучи в одиночестве, она пользуется своей свободой, чтобы совсем не обедать. Кусок жареного мяса, иногда две чашки чаю или кофе с несколькими булочками — вот ее обыкновенные трапезы. Я ее браню за это во всех моих письмах, но она не обращает на это внимания. Ничего не могу сделать при этих условиях.

У меня не будет времени прочесть критику «Русского Богатства» относительно моей книги. Я уже достаточно видел по этому поводу в январском номере 1894 г. Что касается Даниельсона, то боюсь, что с ним ничего не поделаешь. Я ему послал в письме русские дела в «Internationales» («Интернационале») из «Volksstaat'a» и особенно приложение 1894 г., которое было написано частью непосредственно по его адресу. Он его прочел, но, как видите, — это бесполезно. Нет возможности полемизировать с этим поколением русских, неизменно верящих в спонтанейно-коммунистическую миссию, отличающую Россию, настоящую «Святую Русь» [1]), от других неверных народов.

И, наконец, в такой стране, как ваша, где крупная современная промышленность привита к примитивной крестьянской общине и где одновременно представлены все промежуточные ступени цивилизации, — в стране, которая сверх того окружена более или менее действительно интеллектуальной китайской стеной, воздвигнутой деспотизмом, нельзя удивляться, если происходят самые странные, самые невероятные сочетания идей. Возьмите этого бедного малого Флеровского, который вообразил, что столы и кровати думают, но не имеют памяти. Это ступень, через которую страна должна пройти. Мало-по-малу, с ростом городов, отрезанность талантливых людей исчезнет, а вместе с тем и эти заблуждения ума (aberrations mentales), вызванные одиночеством, беспорядочностью случайных знаний этих забавных мыслителей. А у народников [по-русски] это вызывается отчасти отчаянием при виде крушения их надежд. Действительно народник [по-русски] — ex-террорист очень естественно может кончить царистом [2]).

Чтобы мне впутаться в эту полемику, нужно было бы прочесть целую литературу и потом следить за ней и отвечать; но [тогда] это поглотило бы все мое время в течение года, и единственным полезным результатом, вероятно, было бы, что я знал бы русский язык гораздо лучше, чем теперь.

---

[1]) «Святая Русь» в подлиннике по-русски.

[2]) Энгельс имеет здесь в виду такое заявление Плеханова по поводу превращения Тихомирова в защитника самодержавия. *Ред.*

Но от меня требуют того же самого для Италии, по поводу знаменитого Лориа, — но я уже подавлен работой.

Жорес на хорошем пути: он изучает *марксизм*, — но не нужно его слишком торопить; он уже сделал довольно большие успехи, — гораздо больше, чем я предполагал. И потом, не будем требовать слишком много ортодоксии: партия слишком велика, и теория Маркса слишком распространена, чтобы путаники (confusionnaires), более или менее изолированные, могли много повредить на Западе. У вас — другое дело, подобно тому как [было] у нас в 1845 — 59 г.г.

Что касается Николая, я согласен с вашим мнением: Земский Собор [по-русски] явится вопреки этому маленькому человечку.

Вернувшийся Ф[рейбергер] говорит мне, чт В[ере] гораздо лучше и что его оскультация до сих пор не обнаруживает решительно ничего, кроме застарелого и запущенного катарра бронх.

Ваш *Ф. Э.*

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

3 марта 1895 г.

Мой генерал!

Прежде всего напишу вам о Вере. Благодарю вас за ваше великодушное предложение, которое я считаю трогательным доказательством вашего к нам дружеского отношения, но даю вам честное слово, что Вера *совсем не нуждается в деньгах*. Я надеюсь, что она еще долго не будет в них нуждаться. К несчастью, по отношению к ней главное затруднение не в том, чтобы послать ей денег, а в том, чтобы *заставить ее их истратить*. У нее свои собственные принципы: она себе не позволяет «*роскоши*», а то, что она называет *роскошью*, другие считают *необходимым*. Когда мы жили вместе в Морнэ, я заставлял ее иметь здоровую и разнообразную пищу, заказывал ее хозяйке готовить ей обеды ежедневно. В Лондоне, будучи в одиночестве, она пользуется своей свободой, чтобы совсем не обедать. Кусок жареного мяса, иногда две чашки чаю или кофе с несколькими булочками — вот ее обыкновенные трапезы. Я ее браню за это во всех моих письмах, но она не обращает на это внимания. Ничего не могу сделать при этих условиях.

Это действительно непростительная растрата драгоценных для нашего движения сил. Побраните ее от себя, — вы нам этим окажете услугу.

Я хорошо понимаю, что чтение «Русского Богатства» не является привлекательной работой, — мы-то вынуждены это делать. Мне кажется, что вы не имеете точного представления о политическом кретинизме этих господ. Вот пример. В конце царствования Александра II, во время диктатуры Лорис-Меликова, этот самый г. Михайловский, с которым мы теперь полемизируем, писал в одной из своих статей, что в России *миссия разрешения социального вопроса принадлежит именно правительству*. На Западе — другое дело, говорил он, но мы совсем не западники. Эти слова писались в то время, как революционеры вели ожесточенную войну с русским правительством, и когда правительство ставило вопрос, не должно ли оно уступить! Из этого вы видите, как реакционен и вреден для нас этот вид утопического социализма, проповедуемого Михайловским. А в данный момент, когда так называемое общество становится на дыбы против Николая II, — Даниельсон, «друг Маркса», переводчик «Капитала» (мимоходом замечу — переводчик, принадлежащий к категории traditorri [1]), «истинный марксист» и т. д., и т. д., и т. д., снова начинает, поразительно кстати, нести тот же вздор. Если бы я был на месте Николая, я бы наградил Даниельсона орденом.

Положение у нас так ясно, что не нужно долгого его изучения, чтобы осудить Staats-Sozialismus [государственный социализм] Даниельсона. Несколько неодобрительных слов с вашей стороны сделали бы много, и именно о таком подкреплении русской революции я говорил в предыдущем письме. Раз вы очень заняты, я больше не говорю об этом. Но, если дело касается выбора между *Даниельсоном* и *Лориа*, я скажу, генерал, выберите Даниельсона, — это более основательно.

Прилагаю при сем ответ русских либералов на знаменитую речь Николая. Письмо было перепечатано в Лондоне, но оно подлинно; оно обошло Россию, раньше чем попасть

[1]) Непереводимая игра слов: traducteur по-французски — переводчик, traditorre по-итальянски — предатель. *Прим. ред.*

в Лондон. Вы увидите из письма, что мы можем надеяться на лучшие времена.

По моему, года через 4—5 в России возродится терроризм [1]). Будут ли этого хотеть, но это — неизбежно.

Кланяйтесь и поблагодарите Фрейбергера от меня.

Преданный вам *Г. Плеханов.*

6, Rue de Candolle.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ.

[Женева, 1895 г.]

Дорогой генерал!

Не писал вам уже целую вечность: мне мешали работа, усталость и постоянное нездоровье, — последствие переутомления и сидячей жизни, которую я веду; между тем, мне нужное многое сказать вам.

Вы уже знаете, что господин Николай младший оказался крайним реакционером. После нескольких легких либеральных уклонений он решил итти по тому же направлению, по которому следовал его дорогой папа. Дурново и другие актеры предыдущего царствования могут теперь себя поздравить. Чрезвычайно преследуют печать, не прекращаются аресты. В начале мая (старого стиля) была устроена в Москве облава, при чем было арестовано до 80 человек обоего пола. Этот разгром постиг *либералов* и *социал-демократов*. Среди арестованных много рабочих. Аресты в рабочем классе были следствием первого мая, которое праздновалось в Москве собранием, где присутствовало 126 делегатов от рабочих кружков. Этот праздник был в то же время чем-то вроде местного с'езда Москвы и ее окрестностей. Полиция, проведав о происшедшем, наносила удары наудачу, так как не знала ничего определенного. Однако она наложила руку на несколько лиц, действительно «виновных» с ее точки зрения. Что особенно подстрекало усердие полицейских, — это *ярославская стачка*, о которой вы, без сомнения, слышали. Как раз в начале мая (старого стиля) забастовало 8.000

[1]) Напомним, что это предсказание Г. В., как и масса других, осуществилось: через 6 лет Карпович убил мин. нар. просв. Боголепова 21 февр. (5 марта) 1901 г. *Ред.*

рабочих. Послали солдат. Была настоящая битва между войсками и стачечниками. Было убито *восемь* рабочих, 16 ранено. По дошедшим до меня известиям об этом деле—от 8 мая (т.-е. от 20 мая *н. ст.*), — стачка продолжалась. Я еще не знаю, как обстоит дело теперь. Известия из Петербурга нисколько не лучше. Вернее говоря, они хороши, по скольку это касается общего недовольства: революционное движение становится сильнее, чем оно было за последние десять лет, но правительство принимает оборонительное положение. В России становится жарко. Co to będzie, co to będzie. (Что-то будет, что-то будет).

Спасибо за «Klassenkampf». Кстати, позволите ли нам перевести книгу «Положение рабочего класса в Англии» и «Düring's Umwälzung»? *Это — для издания в России*. Только... там цензура, и она не особенно любезна в настоящий момент — наоборот.

Посылаю вам русскую брошюру. Прочтите конец этой брошюры, и вы увидите, что борьба наших народников «*против капитализма*» все более и более вырождается *в союз с царизмом*. Лучшая критика, какую можно было сделать на эту великолепную «программу», заключается в «Коммунистическом Манифесте» (об «истинном немецком социализме»). Sic transit gloria народников [так проходит слава]. И подумать, что Даниельсон в этой милой компании! Как вы себя чувствуете, дорогой генерал? Часто ли вы видаете Веру?

Привет от меня Бернштейну, Эвелингам, Фрейбергеру, Мендельсону и всем вам, лондонским друзьям.

Преданный вам *Г. Плеханов.*

Вы меня очень обяжете присылкой новой книги Лориа.

Е. Н. КОВАЛЬСКАЯ

ПО ПОВОДУ КНИГИ О. В. АПТЕКМАНА ОБ-ВО „ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ“ [1])

Книга О. В. Аптекмана заслуживает особого внимания, как мемуары близкого участника революционного движения на протяжении целого десятка лет. Название книги не совсем соответствует содержанию: «Землей и Волей» 70-х г.г. определенно называется общество, организовавшееся в 1876 г. и разделившееся в 1879 г. на две фракции: «Черный Передел» и «Народную Волю». Мемуары О. В. Аптекмана охватывают гораздо больший период; начиная с кружков в самом начале 70-х г.г., кружков самообразования и распространения легальных книг радикального направления, и кончая началом 80-х г.г., автор обстоятельно, ярко обрисовывает первые ручейки революционного движения, которые потом слились в бурный поток, унесший в народ целое поколение интеллигентной молодежи 70-х г.г. Начиная харьковскими кружками, он постепенно переходит к чайковцам, долгушинцам, «Земле и Воле» и оканчивает «Черным Переделом» и «Народной Волей».

Эта книга, написанная, по горячим следам, в 1883—1884 г., выгодно отличается от статьи того же автора, предпосланной им к литературе «Чер. Пер.», которая писалась в самое недавнее время (спустя 37 лет. *Е. К.*); в ней автор очень грешит против истины, описывая «Черный Передел».

Но при всех достоинствах этой книги имеются в ней места сомнительные. Так, о чайковцах автор говорит сле-

---

[1]) 2-е исправл. и знач. дополн. издание.

дующее: «Нечаев зовет молодежь поднять крестьян, которые-де в 70-х г.г. сами уже поднимутся, так как в этом году кончаются их временно-обязанные отношения к помещикам. У Нечаева много сторонников, бороться с ним Натансону становится все труднее и труднее. Противники его (Натансон с будущими чайковцами) прибегают к дипломатическому ходу: они предлагают предварительно сделать анкету, чтобы убедиться в том, что народ готов. Предложение принимается молодежью, и агитация завершается: Нечаев оставляет Петербург не солоно хлебавши. Натансон, передавая мне это, добавил: «А ведь Нечаев мне отомстил, — послал из-за границы какую-то мне посылку, меня арестовали. Ну, и я его не пощадил: я показал, что все это он сделал из-за мести мне за то, что я обличал его злостную, вредную агитацию... *Вот эта-то агитация Нечаева в Петербурге и дала непосредственный толчок к сплочению его противников в тесный кружок* (курсив мой. *Е. К.*). Кружок этот стал известен под именем кружка чайковцев. Тень Нечаева носилась еще над молодежью, и появление его во плоти могло оказаться роковым. Надо сплотиться и действовать согласно. Так организовался кружок чайковцев».

Странное об'яснение причины зарождения чайковцев, странное поведение Натансона! Как ни было велико влияние личности Нечаева на молодежь, трудно допустить, чтобы кружок чайковцев *организовался для противодействия этому влиянию*, тем более что выступление Нечаева было мимолетно, а с от'ездом его за границу распускавшиеся слухи о его аморальности отпугнули от него молодежь. Лично я помню из разговоров с чайковцами, что этот кружок в начале имел целью распространение легальных книг радикально-социального направления, позднее — печатание нелегальных и занятия с рабочими. При чем мне никогда не приходилось слышать о борьбе с Нечаевым, *как о цели кружка* [1]).

Изумительна наивность автора, серьезно передающего апокрифические сказания, вроде сказания о всемогуществе

[1]) Да и самой борьбы Натансона с Нечаевым вовсе не было, по крайней мере, об этом, кроме него, решительно никто другой никогда не упомянул. *Л. Д.*

Перовской, якобы распоряжавшейся в III Отделении, как у себя дома, сумевшей выводить на улицу сидевших в заключении товарищей для свидания с товарищими на воле. «Сколько доверия надо было иметь к 18-летней девушке, чтобы поручить ей такое рискованное дело», — восклицает автор. «Сколько наивности надо иметь, чтобы верить такой сказке», — скажем мы. Имея возможность выводить товарищей на улицу, Перовская не догадалась освободить их, зная, что их ждет казнь или медленная смерть.

Описывая кружок чайковцев, автор правильно выдвигает огромное влияние книг Флеровского: «Положение рабоч. класса» и «Азбука социальных наук» — на ум и чувства семидесятников. Можно не соглашаться со взглядами автора на мировоззрение Флеровского, но большая заслуга т. Аптекмана в том, что он вспомнил почти забытого большого человека и отвел ему вполне заслуженное почетное место в революционном движении. Говоря о том, что «Азбука социальн. наук» появилась на свет в ответ на этические запросы молодежи, Аптекман ошибочно приписывает вообще молодежи этого момента какие-то религиозные искания. Был небольшой кружок «бого-человеков», основанный Маликовым. Суть этого учения была такова: в каждом человеке бог, поэтому человек должен быть совершенен, всемогущ и создавать жизнь, достойную бога. Кружок просуществовал недолго. Часть его переехала в Америку. Возможно, что были лица и вне маликовского кружка, искавшие «бога». «В то время среди учащейся молодежи, несмотря на доминировавшее в ее среде стремление к положительному знанию, к критике, намечалось, правда еще смутно, но все же сказывавшееся *уже* течение» (курсив мой. *Е. К.*). Это «*уже*» предполагает какое-то, как будто развернувшееся впоследствии. «*Это стремление, можно сказать, потребность в религиозном настроении*» (курсив мой. *Е. К.*). Для такого обобщения решительно не было никаких оснований. Автор переносит свое личное настроение на молодежь вообще.

В «З. и В.» Аптекман, в противоречие с собственной позднейшей статьей, определенно говорит об основных принципиальных разногласиях, послуживших причиной раскола. Здесь мы видим, с какой душевной болью люди порывали старые товарищеские отношения из-за глубоких принци-

пиальных расхождений, а не из-за каких-то столкновений мелких самолюбий редакторов «З. и В.», как изображает Аптекман в предисловии к литературе «Черн. Пер.». «Обязательно и необходимо, казалось мне, бороться против опасной и вредной логики, ибо, *в случае полного успеха политической борьбы, в случае благоприятного ее исхода, положение народа от этого только ухудшилось бы*» (курсив мой. *Е. К.*). Так говорит сам Аптекман на странице 349. И еще: «И теперь, когда я вновь переживаю перипетии этих драматических событий, для меня все более и более становится понятной *роковая неизбежность этого раскола*» (курсив мой. *Е. К.*).

Но и в этой книге к «Черн. Пер.» автор не благоволит. Не удостоил даже упомянуть в оглавлении название этой партии, как будто ее и не существовало.

Вот как Аптекман подходил, по его собственным словам, к «Черн. Пер.» при самом его возникновении: «Если с «З. и В.» были связаны мои мысли и самые смелые мои надежды, то уже *на пороге* «Черн. Пер.» (курсив мой. *Е. К.*) я оставил бесповоротно все это». (Совершенно непонятно, выражаясь словами нашего сатирика — «в каком смысле и на какой предмет» в таком случае автор вступил в «Черный Передел»?)

Автор пространно говорит о том, как «*Н. В.*» увлекала молодежь и как его собственное выступление вызвало у молодежи такое впечатление: «они (чернопередельцы) беззаветно преданы народу, но они сами как будто изверились в него». Молодежь чутка, она поняла, что у выступавшего «сама с собой в борении находится душа». Где уж тут зажигать пламень в юных сердцах? «Егорыч», выступавший с ним, умевший прекрасно вести дело с крестьянами, далек был от красноречия Демосфена; немудрено, что ему трудно было конкурировать с Желябовым среди интеллигентной молодежи. Но в этом ничуть не повинна программа «Черн. Пер.». По своей склонности к противоречиям автор на стр. 405 говорит по поводу суда над чернопередельцами: прокурор сказал: «Я не настаиваю на тяжком наказании: они не террористы, *хотя и должен сказать, что по своим целям и задачам чернопередельцы опаснее народовольцев* (курсив мой. *Е. К.*). «Народоволец» все равно, что убийца, который смело врывается в дом и убивает домохозяина; «чернопеределец» же тихо, незаметно, невидимо подрывается под самый фундамент здания так, что в один прекрасный день здание рушится, рассыпается в прах, погребая безвозвратно под своими обломками и домохозяина, и чад его, и слуг его, и все добро». К этому Аптекман добавляет собственное мнение: «Умные речи приятно слушать даже от прокурора». «Наши дорогие товарищи, действительно, могли утешиться: если *тогда* в 1879—1880 г.г. их постигла неудача, то во всяком разе они были *предтечами* той великой исторической работы, глубоко драматические моменты которой мы еще и теперь переживаем: рушится старое, строится новое»... Так говорит сам Аптекман. Напрасно автор, считая нашу чернопередельческую программу отжившей в тот момент, умиляется тем, что сочувствие всего *общества* было на стороне народовольцев. Еще бы: либеральное общество рассчитывало руками народовольцев вытащить для себя из огня конституцию. К нам оно не могло относиться сочувственно, понимая, что чернопередельцы уготовляют для них крах.

Ошибочно говорит автор: «Я присутствовал при рождении хилого, больного ребенка (сиречь, «Черн. Пер.». *Е. К.*), я был свидетелем, как он все более и более хирел, я видел его агонию и смерть». Видеть это он никак не мог. Ему кажется, что с его ссылкой в Якутку все кончилось. В действительности, после ареста Аптекмана и первой типографии молодой чернопередельческий кружок, организованный Аксельродом, продолжал работать; моряки, входившие в него, вели работу среди матросов, студенты — с рабочими и с учащейся молодежью. Кружок был многочислен. В Москве Георгий Преображенский работал с другим чернопередельческим кружком. В Киеве М. Р. Попов создал большую организацию из местных чернопередельцев и народовольцев, работавших совместно. После ареста этой организации, мы с Щедриным основали «Юж.-Р. Р. С.», поставили новую типографию, в которой печатали прокламации и листовки. А еще позже петербургские чернопередельцы поставили в Минске типографию, в которой печатали «Черн. Пер.» и рабочую газету «Зерно». Все это не похоже на «агонию и смерть».

Укажу еще на некоторые ошибки автора.

Приписывая Халтурину главную роль в Сев. Раб. Союзе, Аптекман забывает Обнорского, который сыграл не меньшую роль в организации этого союза.

На стр. 397 автор говорит, что Плеханов поехал в Киев на помощь Попову. Плеханов ездил в Киев по своему личному делу, на очень короткое время, и никакого участия в местной работе не принимал.

Далее Аптекман говорит, что в ссылке «Черн. Пер.» называли «кружком Попова». Возможно, что называли киевский кружок, судившийся в 1880 г., «кружком Попова», но никак не могли называть так целую организацию «Черн. Пер.».

В «Заключении», приложенном к книге, Аптекман приписывает неудачу возобновления сношений с чигиринцами неподходившему для этого лицу, посланному туда «Черн. Пер.», — Петрову. Аптекман резонирует: «Мне и тогда казалось, а теперь я убежден в этом, что никакое военное положение не в состоянии убить живое дело...», забывая, что в деревне каждый новый человек вызывает подозрение. Откуда могла такая уверенность явиться у Аптекмана, сидевшего в Якутке? Не знаю каков был подход Петрова в этом деле, но определенно могу сказать, со слов киевских рабочих, примыкавших к Ю.-Р. Р. Союзу, бывавших в этой местности: «там и не подступиться теперь»... Далее, в том же «Заключении» автор бросает камешком в бывших своих товарищей: «Многие сами, без всякого со стороны правительства толчка, бежали без оглядки из деревни; деревня, очевидно, опротивела им хуже самого правительства, но мы, тем не менее, сваливаем свои неудачи на правительство». Так рассуждает Аптекман. Но разве В. Н. Фигнер, ее сестра и др. без толчка правительства бежали из деревни? Разве Александр Михайлов не вследствие разгрома уезда покинул сектантов, которыми так увлекался? Разве Плеханов покинул казаков, а Попов свое дело в деревне не потому, что их вытребовала партия в Петербург вследствие разгрома? «Я не виню народников, боже упаси. Я знаю, как им тяжело было. Больно было разорвать со своим прошлым, больно было выбросить в один мах за борт все свое *состояние*» (?!! Курсив мой. *Е. К.*)

Трудно предположить, что эти строки написаны революционером.

Закончу выпиской примечания Аптекмана на стр. 442:

«Последние две строчки (рукописи, писанной в Якутке) до того смыты и стерты временем, что едва-едва отдельные буквы просвечивают. *Буквально* я этих слов восстановить не могу, но смысл их — ручаюсь за то — таков. Наша позиция в политическом вопросе была крайне колеблющаяся: то мы, подражая Герцену (если не ошибаюсь), считали царя за «историческое недоразумение» народа, полагая, что народ анархист по природе и ни в каких царях, князьях нужды не имеет: сам со всем справится; то народ за царя, но какого? — «выборного», «миром» поставленного, «землею» излюбленного и т. д. Попали в мертвый круг и никак из него выбраться не могли».

Ни в программе «З. и В.», ни в «Черн. Пер.» ни о каком царе не было и речи. Даже Стефанович, думавший поднять бунт именем царя — не думал насаждать какого-то «выборного» царя. Поэтому, если мог кто попасть «в мертвый круг и никак из него выбраться не мог»... то, вероятно, только сам автор статьи.

«Большая была у нас на этот счет путаница в головах», — заключает Аптекман.

Зачем же с больной головы на здоровую?

Л. ДЕЙЧ

ТАК ПИШЕТСЯ ИСТОРИЯ

В № 2 (9) журн. «Каторга и Ссылка», — как, впрочем, и в предыдущих книжках, — попадаются значительные неточности и промахи, на наиболее существенные из которых, в интересах истины, укажу здесь, для чего приведу соответствующие места целиком.

В посвященной Н. С. Тютчеву заметке А. Прибылев, между прочим, написал:

«Здесь необходимо отметить характерную черту Николая Сергеевича, обнаруживающую его скромность, чуткость и присущее ему благородство. Незадолго до ареста, когда было уже видно, что скомпрометированным Тютчеву и Плеханову не миновать ареста, перед ними встал вопрос о переходе на нелегальное положение: Николай Сергеевич, как человек предусмотрительный и практичный, предвидел возможность ареста и своевременно запасся паспортом, без которого было невозможно укрыться от полиции; Плеханов же об этом заранее не позаботился или, быть может, не рассчитывал на возможность ареста. Как бы то ни было, в момент ареста, 2 марта 1878 года, когда оба они были уже в участке, Николаю Сергеевичу предстояло решить вопрос, кто из них двух воспользуется паспортом и кто отдаст себя в руки полиции. Николай Сергеевич решил этот вопрос легко и быстро: он отдал паспорт Плеханову, а сам был задержан. Оценил ли он в это время выдающиеся силы Плеханова, уже получившего известность своим выступлением на «Казанской демонстрации» в 1876 г., или в нем говорило простое товарищеское чувство, во всяком случае этот эпизод рисует нам в лице Николая Сергеевича человека, ни одной минуты не задумывающегося отдать преимущество свободы другому лицу предпочтительно перед собой» (стр. 233—234).

В этой выдержке верно только то, что Плеханов и Тютчев были задержаны во время стачки на Новой бумагопрядильне, все же остальное — сплошная небылица, выставляющая в блестящем сиянии «скромность, чуткость

и благородство» умершего Тютчева, но зато рисующая не в совсем благовидном свете также покойного Георгия Валентиновича. В самом деле, если бы был верен приведенный рассказ Прибылева, то из него вытекало бы, что Плеханов обнаружил чрезвычайную непредусмотрительность и легкомыслие, — отправившись принять участие в стачке, «не рассчитывал на возможность ареста». А убедившись в совершении этого непростительного промаха для тогда уже довольно опытного революционера, как говорится, «тертого калача»,—согласился посадить заместо себя в тюрьму товарища, к тому же, в противоположность себе: «предусмотрительного и практичного».

Все это совершенно противоречит как характеру, так и поведению моего покойного друга. Рассказы со всеми мельчайшими деталями об его аресте на Обводном канале около Новой бумагопрядильни я несколько раз слыхал от него, а также и от покойного д-ра Н. В. Васильева, но в них ни единого слова не упоминалось о «скромной, чуткой и благородной» роли Н. Тютчева, следовательно, и о предоставленном им Георгию Валентиновичу паспорте. Да этого эпизода и не могло быть по той простой причине, что *паспорт, к тому же «недурной», был при Плеханове.*

А. Прибылев сообщает, будто перед Тютчевым и Плехановым «встал вопрос о переходе на *нелегальное положение*» (подчеркнуто мной. *Л. Д.*). Выходит, что Плеханов, «получивший известность своим выступлением на «Казанской демонстрации» еще в 1876 г.», о чем упоминает и А. Прибылев, — полтора года спустя (весной 1878 г.) был еще легален и свободно вращался в Петербурге! Может ли быть более яркое опровержение эпизода о передаче паспорта Тютчевым, чем приведенное самим же Прибылевым? Между прочим, вот что Плеханов в брошюре «Русский рабочий в революционном движении» сообщает об этом случае:

«Арест мой продолжался всего один день. В качестве «*нелегального*» я *имел недурной паспорт* [подчеркнуто мной. *Л. Д.*] и носил ничем не запятнанное в глазах полиции имя какого-то потомственного почетного гражданина. Меня выпустили, обязав подпиской о невыезде. Я добросовестно исполнил это обязательство, так как долго после этого не покидал Петербурга» (Сочин., т. III, стр. 166).

Это сообщение не полно: устно Георгий Валентинович приписывал свое освобождение не только «недурному» паспорту, но еще и следующим обстоятельствам.

Одновременно с названными выше лицами был задержан и приведен в участок какой-то случайно проходивший вблизи Обводного канала молодой мещанин, не имевший никакого отношения к стачке. Находясь в канцелярии участка, в ожидании прихода пристава, этот мещанин сообщил Плеханову, что задержавший его квартальный предложил ему показать на него, как на агитатора среди стачечников, раздававшего им прокламации, обещав за это немедленно выпустить его. Этому сообщению Плеханов очень обрадовался, и, когда явившийся затем пристав стал допрашивать его о сопровождавших его арест обстоятельствах, он отрицал приписанные ему квартальным деяния, в подтверждение чего сослался на сообщение мещанина о подбивании его этим полицейским дать против него ложное показание.

«Видите сами, — сказал он, — как поступают ваши подчиненные: они не только задерживают случайных прохожих, но еще подбивают одного дать ложные показания против другого!»

Смущенный этим пристав, не желавший, чтобы столь неприятный эпизод дошел до высших властей, старался замять это дело; все же он не сразу отпустил Плеханова: кроме недурного его паспорта, на пристава, видимо, произвело также благоприятное впечатление, что в ответ на его вопрос о профессии, Плеханов сказал, что он писатель и занимается в Пет. Публ. Библ., при чем показал постоянный свой билет на посещение последней. После этого пристав велел своему помощнику отправиться вместе с Георгием Валентиновичем на его квартиру, полицейская явка которой была обозначена на его паспорте, для проверки данных им показаний. В занимаемой Георгием Валентиновичем меблированной комнате, конечно, ничего предосудительного не оказалось. К тому же помощник пристава также проникся к нему таким благоговением, что не прикоснулся к бумагам и рукописям, которые, как это всегда бывало у Георгия Валентиновича, были в полном порядке расположены на столе и полках.

Из всего этого очевидно, что рассказ Тютчева был вымышлен им. А раз это так, то непроизошедший эпизод не может, понятно, служит подтверждением, как заявляет А. Прибылев, «характерной черты, обнаружившей скромность, чуткость и благородство» Тютчева: этих качеств, кроме как небылицей, ничем другим Прибылев подкрепить не в состоянии; в противном случае, он выбрал бы другой, действительно имевший место факт из жизни этого «деятеля», являвшегося, будто бы, «заметной величиной в революционном мире» (стр. 234). О последнем, несмотря на мою давнюю прикосновенность к нашему движению, я впервые узнал из этой фразы, которой, однако, совершенно противоречит даже в крайне приподнятом тоне написанный Прибылевым некролог: в этом красноречивом надгробном слове он сообщает лишь об участии Тютчева, в качестве студента, в упомянутой стачке и об административной за это его высылке, т.-е. о деянии, к которому привлекались в те времена многие заурядные юноши. Вместо сообщения о выдающейся деятельности Тютчева Прибылев распространяется только об его жизни в ссылке, где всюду «квартира его становилась центральной для ссыльных», среди которых он занимал «центральное положение» и где он «шесть лет бездеятельного пребывания посвятил литературным делам, усиленно занимаясь... переводами» (стр. 235). После этого, как не согласиться, что Тютчев был «заметной величиной в революционном мире»?

Возвращаясь к сообщению Прибылева о неимевшей места передаче Тютчевым своего паспорта Плеханову, естественно спросить, — кто же автор этой выдумки? Я полагаю, что не Прибылев, что он был лишь введен в заблуждение опоэтизированным им Тютчевым, имевшим большую склонность изображать себя перед малосведущими или легковерными людьми великодушным героем, человеком, способным, «ни минуты не задумываясь», пожертвовать своей свободой для другого лица, «генералом от революции». Мне же и многим другим, хорошо знавшим Тютчева, он представлялся, говоря словами гоголевского Осипа, «генералом, только с другой стороны». Подтверждением этому может отчасти служить помещенная в той же книжке «Каторга и Ссылка» № 2

библиографическая заметка самого Тютчева о брошюре Прибылева «От Петербурга до Кары».

Там, между прочим, находится следующий возмутительнейший выпад его против Стефановича:

«Молодые, полные веры в партию и в свои силы, каторжане шли в Сибирь дружной товарищеской артелью, не подозревая даже, что в их среде идут двое Иуд — Л. Мирский и Я. Стефанович... *второй — продавшись Плеве и выдав Ю. Н. Богдановича—купил себе значительное облегчение своей участии»* (стр. 306).

Как это уже неопровержимо доказала В. И. Засулич, подчеркнутые мною слова представляют *злостную клевету.*

Ввиду того, что помещенное ею возражение (в № 13 «Былого» за 1918 г.) осталось почти совершенно неизвестным, между тем как пущенная Тютчевым в том же году клевета повторялась им после ее смерти по всякому и без всякого повода, — я позволю себе привести здесь небольшую выдержку из упомянутой заметки Веры Ивановны, озаглавленной «Правдивый исследователь старины».

Прежде всего В. И. Засулич указывает на недостойный прием, к которому прибег Тютчев в статье «Здание у Цепного моста» («Былое», № 10 — 11 за 1918 г.). «Сообщив о перехваченных Тихомировым и Ошаниной письмах ко мне Стефановича, Тютчев заявляет, будто бы Стефанович в них признается, что «в разговоре с Плеве он проговорился относительно имени, под которым жил Богданович». Но дальше, — совершенно правильно замечает Вера Ивановна, — слова «проговорился в разговоре» г. Тютчев ставит уже в кавычки, как будто это слова Стефановича. Между тем,— сообщает она,—в подлинных письмах Стефановича этого *нет*, как *нет*, впрочем, и подлинных писем в архиве «Нар. Воли», — это было вторым ложным сообщением Тютчева».

В опровержение подставленных Тютчевым слов, взятых к тому же в кавычки, Вера Ивановна писала: «Перехваченные письма Стефановича [после их возвращения нам] прочли все ближайшие друзья, бывшие в то время за границей — Кравчинский, Плеханов, Хотинская, которые умерли, а также находящиеся в живых [1]).

[1]) П. Б. Аксельрод, Р. М. Плеханова, Ф. М. Степняк и я. Л. Д.

«Каждому читавшему [эти письма], — сообщает она далее, — врезались в память трагические строки, относящиеся к Богдановичу: «Судейкин [1]) наклонился ко мне и, глядя в упор мне в глаза, вдруг спросил: «а ведь под фамилией Прозоровского скрывается Богданович?» — Я любил Богдановича больше всех в России; я почувствовал, что вся кровь бросилась мне в лицо, и у меня вырвалось восклицание, подтвердившее догадку Судейкина» (стр. 179).

Вера Ивановна совершенно правильно заявляет далее: «У всех читавших [это письмо], наряду с ужасом перед [самим] фактом невольного преступления, просыпалась и жгучая жалость к самому Стефановичу. Несомненно, до самой смерти эта минута осталась самым тяжким его воспоминанием».

После этого не удивительно, что с пера В. Засулич, *никогда* не употреблявшей грубых выражений, тем более в печати, — сорвались следующие резкие слова по адресу Тютчева.

«Опираясь затем на свою, приписанную им Стефановичу, *подлую* фразу «в разговоре как-то проговорился», —г. Тютчев доказывает затем *умышленность* предательства со стороны Стефановича»... «Без очередной и весьма крупной неправды, — добавляет она, — г. Тютчев не обошелся...» и т. д.

Не оставив ни единой фразы этого, по голословному утверждению Прибылева, «скромного, чуткого, благородного» «исследователя» без возражения, показав, что созданное им обвинение Стефановича в умышленном предательстве построено на возмутительных извращениях, подтасовках и «очередных крупных неправдах», Вера Ивановна призела также и взгляд Плеханова на этот печальный случай в жизни Стефановича, а также и нас всех близких ему лиц.

«Помню отзыв Плеханова, — писала она: — его можно обвинить только в том, что, так плохо владея своими расшатанными нервами, он вернулся к революционной работе в России».

Не только Вера Ивановна и Георгий Валентинович, также Кравчинский, П. Б. Аксельрод, А. Зунделевич [2]), дей-

[1]) А не Плеве, как вновь ложно писал Тютчев. Л. Д.

[2]) Его хорошее отношение к Стефановичу будет видно из имеющей быть опубликованной переписки его.

ствительно принадлежавшие к благороднейшим и наиболее выдающимся революционным деятелям, не бросили Стефановичу гнусного обвинения в умышленной выдаче им Богдановича. Только «обнаруживший скромность, чуткость и благородство» Тютчев задумал, путем всяческих извращений слов Стефановича, взвести это на него, хорошо запомнив, что от упорно повторяемой клеветы всегда что-нибудь остается.

Если бы этому «крупному деятелю» была присуща хотя бы минимальная доза «чуткости» и «благородства», он понимал бы, что недостойно повторять эту клевету, так как давно умершего Стефановича она, понятно, уже не затрагивает, но это может причинить тяжелые огорчения немногим находящимся в живых родственникам и друзьям его.

Несмотря на возведенное Тютчевым низкое обвинение на Стефановича, последний остается в наших глазах все тем же выдающимся, искренно преданным трудящимся массам человеком, посвятившим им всю свою жизнь, каким мы его знали до случившегося с ним несчастья.

Здесь мне приходит на ум следующее сопоставление. Года три тому назад была опубликована возмутительная «Исповедь» Бакунина и низкопоклонные его письма к царям. В этих произведениях представлявшийся всем нам непреклонным борцом разрушитель государства падал ниц, пресмыкался перед жесточайшим душителем России и Западной Европы, а также и перед его сыном.

Бакунин называл себя унизительнейшими именами, отрекался от всего, каялся в своем «преступном прошлом», высмеивал свою и своих единомышленников революционную деятельность, грубо, позорно льстил отвратительному деспоту. «В Зап. Европе, — писал он в «Исповеди», — куда ни обернешься, везде видишь дряхлость, слабость, безверие и разврат, разврат, происходящий от безверия... все шарлатанят друг перед другом...» Это огульное, на манер самых закоренелых славянофилов-мракобесов, хаяние всего Запада до того пришлось по вкусу кровожадному Николаю I, что он собственноручно выразил на полях свое одобрение, написав: «разительная истина!»

Не довольствуясь названием своей революционной деятельности «преступным и дон-кихотским безумием», «кающийся грешник», как «великий апостол анархии» подписал свою «Исповедь», в дальнейшем еще резче охарактеризовал свои замыслы и деятельность: «они, — писал он, — были в высшей степени смешны, бессмысленны, дерзостны и преступны против Вас, моего Государя, против России, моего отечества, против всех политических, нравственных, божеских и человеческих законов».

Невозможно исчерпать все перлы, заключающиеся в этом позорном документе, который, как известно, Бакунин трусливо скрыл от своих близких друзей — Герцена, Огарева, в течение многих лет затем обманывал весь мир насчет своей «неприкосновенности» и т. д.

Между тем Стефанович, с которым, помимо его воли, случилось тяжелое несчастье, при первой же представившейся ему возможности, еще из тюрьмы, по пути на каторгу, поспешил чистосердечно обо всем сообщить находившимся за тридевять земель от него всем своим друзьям, прося их вынести ему суровый приговор. Ведь если бы он не написал о своем промахе, последний так и остался бы совершенно неизвестным, потому что его разговор с Судейкиным нигде не был записан.

Вот что, между прочим, написала В. Фигнер, по прочтении «Исповеди» и писем Бакунина к царям: «Можно сказать, что все мы, как почитатели, так и хулители Бакунина, создали мечту, иллюзию о цельности его натуры и его жизни, и «Исповедь» разорвала эту иллюзию надвое, но *величавая* фигура Бакунина и *любовь к нему останутся*» [1]).

Мне, признаться, не совсем понятно, почему после «Исповеди» и писем Бакунина В. Фигнер все же продолжает считать Бакунина «величавой фигурой» и не перестает его любить. Как бы то ни было, к поведению Бакунина она отнеслась чрезвычайно мягко, снисходительно. Но в таком случае почему же ее единомышленники глумятся, издеваются над памятью Стефановича, раздувая его невольное прегрешение, которое не может итти ни в какое сравнение с деянием «апостола всеобщего разрушения»? Справедливо ли это?

---

[1]) См. «Бюллетень Задруги», № 1, дек. 1921 г.

О пребывании Стефановича среди народовольцев я в скором времени сообщу в особой статье.

* * *

P. S. Настоящая заметка была уже закончена, когда в № 24 «Былого» я прочел посвященный Тютчеву некролог, в котором повторяется приведенный выше эпизод с передачей Плеханову паспорта. По словам неизвестного автора, «Тютчев сам не раз передавал своим друзьям, как он передавал свой нелегальный паспорт Плеханову, чтобы дать ему возможность избавиться от ареста», «после чего ушел в ссылку в далекий Баргузин, но ценой своей ссылки он, не задумываясь, купил освобождение Плеханова» (стр. 285 — 286).

В этом надгробном слове ригористическому литератору, находившемуся в дружеских отношениях с Кибальчичем, Пресняковым, Михайловым, Натансоном и т. д. и т. п., рядом с «не раз переданным друзьям эпизодом», рисующим скромность, альтруистичность, правдивость Тютчева, упоминается брошюра Плеханова «Русский рабочий в револ. движении», где, как известно, совсем иначе это изложено. Но ни редактор, ни автор заметки, очевидно, не считали нужным проверить, что сообщается о последнем в тут же названной брошюре. Аналогичных казусов не оберешься на страницах этого тщательно и добросовестно редактируемого П. Е. Щеголевым журнала.

Нельзя обойти молчанием и другого курьеза.

Воскурив фимиам и пролив слезу по поводу потери «постоянного сотрудника этого журнала», не пожелавший увековечить своего имени автор надгробного слова, повидимому, не сам почтенный редактор, а легко узнаваемый по ушам его подручный, пользуется сим подходящим случаем, чтобы запустить стрелу, — уязвить кого-то, являющегося одним «из прежних соратников Тютчева», и тем свести с ним какой-то свой счетец. Вот этот любопытный пасус:

«Обо всем этом он (Тютчев. *Л. Д.*) мог бы рассказать лучше, чем кто иной, будь он настолько же словоохотливым мемуаристом, как некоторые из его прежних соратников, ныне испытывающих наше терпение весьма пристрастным описанием своей деятельности — *«за полвека»* (стр. 267).

Если эта тирада кому-нибудь напомнит раздающееся совершенно неожиданно из подворотни тявканье дворняжки, это обнаружит лишь неправильность его восприятий: нет, это — смертельный выстрел, открыто и метко произведенный среди бела дня смелым противником с поднятым забралом, к тому же у гроба великодушного, крупного деятеля, ригористического на воспоминания и лишь друзьям неоднократно рассказывавшего эпизоды, не имевшие только места в действительности...

М. БАБИН.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Многоуважаемый Лев Григорьевич!

Позвольте мне сделать некоторые замечания к воспоминаниям В. В. Поздняковой о детстве и отрочестве Георгия Валентиновича.

Я считаю совершенно правильным ваше критическое отношение к отдельным моментам этих воспоминаний. Дело не только в том, что Варвара Валентиновна была на 8 лет моложе своего брата и что им непосредственно пришлось мало жить вместе, а еще и в том, что они до конца дней своих остались духовно совершенно чуждыми друг другу людьми.

Это обстоятельство, несомненно, помешало покойной В. В. Поздняковой сохранить в своей памяти эпизоды, характерные для Георгия Валентиновича, и способствовало тому, чтобы его облик в ее очерке вышел бледным и неверным.

Я жил зимой 1910—1911 г. в Сан-Ремо у Плехановых как раз в то время, когда у них гостила Варвара Валентиновна с мужем Н. Н. Поздняковым. Я видел, как Георгия Валентиновича раздражала крайняя религиозность сестры; он делал меткие иронические замечания по поводу ее религиозных настроений, заявлений, приемов, но от поры до времени горячился, и тогда между ним и сестрой происходили схватки.

Помню, между прочим, что однажды произошел бой из-за отношения Георгия Валентиновича к незадолго до этого умершему Льву Толстому. Г. В. был сильно раздражен, что марксисты поддались либеральным утверждениям, будто

Л. Толстой являлся великим мыслителем, «Современный Мир» назвал его «учителем жизни», «властителем дум» и даже «святым».

Варвара Валентиновна утверждала, что попытки революционеров дискредитировать религию бессильны, что Толстой был велик тем, что он очищал религию от излишней обрядности и наслоений, что он был апостолом морали, нравственности, а социал-демократы только уничтожают все и т. п.

Это вывело, наконец, Г. В. из себя, и он стал бичевать не только Толстого как ничтожного в философии мыслителя, но, главным образом, ханжей, всячески цепляющихся за религию, подвешивающих иконы к своим постелям, полагающих, что елейными речами можно бороться со злом или что вообще злу не следует противиться. При попытке В. В. вступить с Георгием Валентиновичем в дальнейший спор, он выпрямился и с иронической усмешкой произнес: «Ну, что ж, хочешь вступать со мною в бой? Давай: у меня на поясе нанизано не мало скальпов, сорванных с моих врагов, — пускай прибавится еще один»... Варвара Валентиновна ушла расстроенная, и после этого брат с сестрой несколько дней не разговаривали; для их примирения потребовалось дипломатическое вмешательство Розалии Марковны. Таким образом Георгия Валентиновича не сблизила встреча с сестрой после 35-летней разлуки.

Насколько В. В. была чуждой Георгию Валентиновичу, отчасти показывает ее замечание в письме к вам от 15 мая 1919 г. о том, что она не знала, что вы были другом В. И. Засулич. Не нужно было даже быть очень близким Г. В-чу, чтобы знать, какие были отношения между Плехановым, вами, Верой Ивановной и Павлом Борисовичем (несмотря на разногласия, которые возникали по временам между Г. Валентиновичем и остальными членами этой группы).

Вот почему у В. В-ны и мог не удержаться в памяти эпизод об угрозе Г. В-ча сжечь хлеб у арендовавшего их землю купца. Это настолько не соответствовало созданному ею в «идеале» образу Плеханова, что указанный эпизод был совершенно забыт и неправильно передан А. А. Френчеру.

Вот те немногие замечания, которые позволяю себе сделать, стремясь занять как можно меньше места.

Желаю вам довести начатое чрезвычайно полезное и важное дело до конца.

С тов. приветом *Мих. Бабин.*

В течение нескольких лет тов. М. Бабин состоял личным секретарем Г. В., пользуясь у него большим доверием. За это время ему посчастливилось много видеть, слышать и узнать от Г. В. Плеханова, поэтому его воспоминания, которые надеемся получить со-временем, должны представлять большой интерес.

Л. Д.

ЛЕВ ДЕЙЧ

ПОЛУЧЕНИЕ ВАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В статье «О сближении и разрыве с народовольцами», помещенной в № 8 (20) «Прол. Рев.» за 1923 г., я подробно рассказал о полученном в феврале 1882 года нами, группой известных эмигрантов, замечательного письма «Исполнительного Комитета», в котором он сообщал нам под секретом о поставленной им себе задаче произвести переворот с тем, чтобы захватить власть в свои руки, и предложил нам в этом ему содействовать. Я упомянул там о том, что покойный Г. В. Плеханов крайне сожалел о пропаже этого важного исторического документа, которому он придавал огромное значение. По поводу этой моей статьи некоторые старые народовольцы чрезвычайно на меня обиделись; они стали даже утверждать, будто бы такого письма от «Исп. Ком.» никогда не было и не могло быть; что я, следовательно, выдумал все изложенные там обстоятельства.

Но вот 12 июля н. г., т.-е. месяц спустя после отправки всего материала этого сборника в Госиздат, я вдруг совершенно неожиданно получил из Лондона от вдовы С. Кравчинского-Степняка, Фанни Марковны, точную копию этого в высшей степени ценного исторического документа, найденного ею среди бумаг покойного ее мужа.

Не трудно представить себе мою радость при получении этой копии. К крайнему моему сожалению, ввиду довольно большого размера этого редчайшего документа, невозможно уже поместить его в настоящей книжке, — сделаю это в следующей. Тогда беспристрастные читатели увидят, что, несмотря на протекшие со времени получения этого письма

более сорока лет, я в своей статье правильно передал его содержание. Эти лица смогут убедиться, насколько несправедливы и вместе легкомысленны были старые народовольцы, обвинившие меня во всевозможных грехах и преступлениях только потому, что им, как теперь неопровержимо доказывает этот документ, не нравятся некоторые ими же признаваемые взгляды и совершенные в давно-прошедшие времена деяния.

Вместе с этим важным документом Ф. М. Степняк прислала мне также, к сожалению,—вследствие неразыскания дальнейшего,—лишь начало ответного письма С. Кравчинского на указанное письмо «Исп. Комитета». Но, несмотря на свою краткость, этот отрывок также представляет большой интерес, особенно ввиду упомянутых выше возмутительнейших на меня нападок рассвирепевших народовольцев.

Не менее, если не более еще, важно также полученное мною из-за границы до сих пор нигде еще не появлявшееся письмо Ф. Энгельса к В. Засулич о *захвате власти*: это о нем Плеханов писал, что давно пора его опубликовать. Написанное в 1885 году по поводу «Наших разногласий» Плеханова, это письмо представляет громадный интерес: в нем великий друг Маркса защищал план захвата власти народовольцами в то время, когда, как известно, после ареста Германа Лопатина и наскоро сшитой им белыми нитками «организации» чуть не из младенцев, — от «Народной Воли» осталось одно лишь грустное воспоминание. Но в связи с знаменитым письмом «Исп. Ком.» эта замечательная защита Энгельсом химерического плана «захвата власти» почти совершенно исчезнувшею революционно-террористическою организациею представляет чрезвычайно большой исторический, а также и теоретический интерес.

Надеюсь, в следующем Сборнике поместить и это письмо с соответствующими комментариями.

12 VII 1924 г.
Москва.

Э. З.

ПАМЯТИ В. И. АЛЕКСАНДРОВОЙ-НАТАНСОН

Еще новая могила: 27-го августа в Москве скончалась одна из участниц блестящего процесса 50-ти, который в течение полувека служил революционирующим возбудителем для жаждущей свободы русской молодежи. Из участников процесса Варвара Ивановна Натансон первая была похоронена с открытыми почестями от друзей и почитателей ветеранов революции. Другим пришлось отойти при обстоятельствах, не позволявших такого чествования.

В. И. Александрова, впоследствии вышедшая замуж за известного революционера М. А. Натансона, вместе с целой группой самоотверженной революционной молодежи направила свои силы на пропаганду среди фабричных рабочих. Она и товарищи вели свою агитацию в крупных промышленных центрах — Киеве, Одессе, Туле, Иваново-Вознесенске, Москве. Заслуга их тем более велика, что в этот период (1873—1875 г.г.) было в полной силе убеждение, что главной революционной средой является крестьянская масса.

Особенно большие трудности представляла агитация среди рабочих для молодых интеллигентных девушек, которые для осуществления этой задачи должны были совершенно отказаться от своей старой жизни и, сделавшись фабричными работницами, нести весь труд, всю нужду, весь гнет жизни такой работницы. Между тем, это были девушки, получившие изнеживающее воспитание богатой буржуазной или дворянской семьи. Но они ушли от своего класса, отказались от всех его привилегий и, ради более успешной пропаганды, взвалили на себя все тяготы рабо-

чего существования, зная, что ждет их за это впереди. Они возвращали рабочему классу свой долг — полученное за счет этого класса образование.

В каких условиях приходилось жить и работать этим добровольным мученицам, ясно видно из биографии одной из них, подобной всем прочим: «нужно было работать до позднего вечера при ужасной обстановке: на сыром, грязном полу они сшивали обрывки различного тряпья. Воздух был полон пыли от тряпок; эта пыль лезла в нос, в уши, ела глаза; вентиляции, кроме двери, не было никакой. И за такую работу, длившуюся по 16 часов в течение суток, женщины получали только по 4 р. 50 к. в месяц на своих харчах. Помещались работницы в хозяйских казармах, т.-е. в подвальном этаже с каменным, мокрым от помоев и разных нечистот, полом, с крохотными оконцами, заносимыми зимою снегом. Вдоль стен шли в два яруса нары, на которых спали, тело к телу, по 20 женщин. Постелью им служила рогожа, а одеялами загрязненные их же верхние платья. Вонь и духота стояли в этих «спальнях» невыносимые; насекомые разных мастей кишели уймами. Пищу варить работницам негде было, да и не из чего, — они обходились поэтому одним лишь черным хлебом с квасом и огурцами» [1]).

Для ведения такой жизни пропагандисткам того времени нужно было гораздо больше стойкости, выдержки, силы духа и революционной убежденности, чем для совершения единичного террористического акта.

В. И. Александрова сосредоточила свою деятельность в районе Иванова-Вознесенска, где она играла крупную роль и по Московскому процессу 50-ти, об'единившему революционеров всех вышеупомянутых районов, и была присуждена на пять лет каторжных работ.

Процесс 50-ти дает достаточную характеристику всех его участников вообще и вполне выясняет как цели, так и методы работы привлеченных революционеров.

Он вскрыл читающей России эту самоотверженную подпольную работу проникновения революционной социалистической мысли в рабочую среду.

---

[1]) Л. Дейч. Бетя Каменская в кн. «Роль евреев в русск. рев. движ.», кн. I, стр. 140—141.

«Перед изумленной публикой, — говорит С. М. Кравчинский, — проходят лучезарные фигуры девушек, которые с спокойным взором и с детски-безмятежной улыбкой на устах идут туда, откуда нет возврата, где нет места надежде — идут в центральные тюрьмы, на вечную каторгу».

Дальнейшее движение показало, что и смерть не устрашала этих борцов за свободу.

Однако это не было мечтательно-экзальтированным исканием жертвы. Сильная, блестящая речь Софьи Бардиной на этом процессе показала, с какой ясной, строго-логической последовательностью они подвергали анализу социально-экономическую структуру общества. Софья Бардина задала своим судьям ядовитый вопрос: «Я ли подрываю основы общественности или тот фабрикант, который, платя рабочему за одну треть его рабочего дня, две трети берет даром?» [1]).

Она указала, что та же фабрика разрушает семью и подрывает моральные устои общества своею нищенской оплатой труда.

«Мы выставляем на первый план *право рабочего на полный продукт его труда*», — так формулировала она их конечную цель.

И с этим точным анализом экономического положения рабочего, с этим выявлением стоящей перед рабочим классом задачи, они несли свою пропаганду на фабрики не как посторонние люди, а как живущие в тех же условиях труда рабочие.

Результаты их пропаганды уже ярко сказались на том же процессе в речи рабочего из крестьян, Петра Алексеева. Он подверг жестокой критике правительственную власть и даже самую благодетельную ее реформу — освобождение крестьян.

«Мы по-прежнему остались без куска хлеба, с клочком никуда не годной земли, и перешли в зависимость к капиталисту» [2]).

Петр Алексеев с беспощадной логикой показывает, что эта «благодетельная» реформа превратила закрепощение крестьянина помещиком в закрепощение рабочего капиталистом.

---

[1]) «За сто лет», стр. 125.

[2]) Там же, стр. 128.

«Если мы, — говорит он, — к сожалению, нередко бываем вынуждены просить повышения пониженной самим капиталистом заработной платы, нас обвиняют в стачке и ссылают в Сибирь, — значит, *мы крепостные*. Если мы со стороны самого капиталиста вынуждены оставить фабрику и требовать расчета, вследствие перемены доброты материала и притеснения от разных штрафов, нас обвиняют в составлении бунта и прикладами солдатского ружья приневоливают продолжать у него работу, а некоторых, как зачинщиков, ссылают в дальние края, — значит, *мы крепостные*. Если из нас каждый отдельно не может подавать жалобу на капиталиста и первый же встречный квартальный бьет нас в зубы кулаком и пинками гонит вон, — значит, *мы крепостные*» [1]).

И всего удивительнее, что эти горькие истины были высказаны Петром Алексеевым без всякого противодействия со стороны председателя суда. Но когда он, подводя итог своей речи, сказал: «*Русскому рабочему народу остается только надеяться самим на себя, и не от кого ожидать помощи, кроме от одной нашей интеллигентной молодежи...*» — председатель вскочил с криком:

«Молчите! Замолчите!»

Таким страшным врагом представлялась тогда правительству эта интеллигентная молодежь.

Но Петр Алексеев еще возвысил голос, продолжая характеризовать беззаветную преданность интеллигентной молодежи делу освобождения трудящихся: «*И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда...*».

Председатель неистово кричит: «Молчать, молчать», а Петр Алексеев, покрывая его голос, кончил: «*И ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах...*».

Петра Алексеева слуги самодержавия вытащили за эти слова из зала, но его пророчество, ровно сорок лет спустя, сбылось: поднялась мускулистая рука рабочего класса, и самодержавный деспотизм свергнут. Рабочий класс взял в свои руки власть, и наступила его очередь уплатить свой

---

[1]) Там же, стр. 128, 129.

долг не только памяти погибших и уходящих борцов революции, но и дать широкий творческий простор нарождающимся духовным силам без классовых привилегий и без классового гнета.

В. И. Натансон до конца жизни осталась верна старым заветам русской революционной интеллигенции. Уже отбыв каторгу, она подверглась вместе с М. А. Натансоном новой многолетней ссылке в Якутскую область за отказ принять присягу вступившему на престол Александру III.

Только 71 года попала В. И. Натансон, после своей многотрудной жизни, в «Дом Отдыха Ветеранов Революции», но тяжкая болезнь уже не дала ей «отдохнуть»: она скончалась от рака желудка в мучительных страданиях.

Почтим же светлую память отошедшей, одной из деятельниц замечательного периода русского революционного движения, — периода, имевшего громадное влияние на его дальнейшие судьбы.

Москва.
1924 г. 4 сентября.

«Если мы, — говорит он, — к сожалению, нередко бываем вынуждены просить повышения пониженной самим капиталистом заработной платы, нас обвиняют в стачке и ссылают в Сибирь, — значит, *мы крепостные.* Если мы со стороны самого капиталиста вынуждены оставить фабрику и требовать расчета, вследствие перемены доброты материала и притеснения от разных штрафов, нас обвиняют в составлении бунта и прикладами солдатского ружья приневоливают продолжать у него работу, а некоторых, как зачинщиков, ссылают в дальние края, — значит, *мы крепостные.* Если из нас каждый отдельно не может подавать жалобу на капиталиста и первый же встречный квартальный бьет нас в зубы кулаком и пинками гонит вон, — значит, *мы крепостные*» [1]).

И всего удивительнее, что эти горькие истины были высказаны Петром Алексеевым без всякого противодействия со стороны председателя суда. Но когда он, подводя итог своей речи, сказал: «*Русскому рабочему народу остается только надеяться самим на себя, и не от кого ожидать помощи, кроме от одной нашей интеллигентной молодежи...*» — председатель вскочил с криком:

«Молчите! Замолчите!»

Таким страшным врагом представлялась тогда правительству эта интеллигентная молодежь.

Но Петр Алексеев еще возвысил голос, продолжая характеризовать беззаветную преданность интеллигентной молодежи делу освобождения трудящихся: «*И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда...*».

Председатель неистово кричит: «Молчать, молчать», а Петр Алексеев, покрывая его голос, кончил: «*И ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах...*».

Петра Алексеева слуги самодержавия вытащили за эти слова из зала, но его пророчество, ровно сорок лет спустя, сбылось: поднялась мускулистая рука рабочего класса, и самодержавный деспотизм свергнут. Рабочий класс взял в свои руки власть, и наступила его очередь уплатить свой

[1]) Там же, стр. 128, 129.

долг не только памяти погибших и уходящих борцов революции, но и дать широкий творческий простор нарождающимся духовным силам без классовых привилегий и без классового гнета.

В. И. Натансон до конца жизни осталась верна старым заветам русской революционной интеллигенции. Уже отбыв каторгу, она подверглась вместе с М. А. Натансоном новой многолетней ссылке в Якутскую область за отказ принять присягу вступившему на престол Александру III.

Только 71 года попала В. И. Натансон, после своей многотрудной жизни, в «Дом Отдыха Ветеранов Революции», но тяжкая болезнь уже не дала ей «отдохнуть»: она скончалась от рака желудка в мучительных страданиях.

Почтим же светлую память отошедшей, одной из деятельниц замечательного периода русского революционного движения, — периода, имевшего громадное влияние на его дальнейшие судьбы.

Москва.
1924 г. 4 сентября.

ОТ РЕДАКЦИИ

Недели три спустя после помещения последней заметки, я прочел во вновь вышедшей книжке «Былого» (№ 25) резкие нападки на меня со стороны некоторых старых народовольцев: они обвиняют меня «во лжи, инсинуациях, клевете», ввиду сделанных мною сообщений в статье «О сближении и разрыве с народовольцами» («Прол. Рев.», № 2[20]) главным образом, на том основании, что Исп. Ком. Народ. Воли *не мог написать нам*, известным эмигрантам, упомянутого мною там письма. Уже из приведенного выше сообщения о полученной мною из Лондона от Ф. М. Степняк копии этого замечательного письма очевидно, что мои обвинители не правы.

В следующей книжке сборника я помещу как обстоятельный разбор напечатанных в «Былом» писем, так и письмо Исп. Ком., — тогда читатели увидят, как несправедливы мои хулители.

Л. Д.

Просьба ко всем лицам, имеющим какие-либо материалы (документы, заметки, воспоминания), относящиеся к членам группы «Освобождение Труда» и их близким знакомым, направлять таковые в Государственное Издательство: Москва, Угол Рождественки и Софийки, д. № 4/8, комната 52 (тел. 1-69-69), для редакции Сборников группы «Освобождение Труда».

Редакция.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН.

ОШИБКИ, ВКРАВШИЕСЯ В СБОРНИК № 1.

на стр. 118 вместо „курсистки-медички: Белякова...“ нужно читать: „курсистки-фельдшерицы: В. Бычкова и М. Решко; курсистки-медички: Кланс...

„ „ 119 в примечании неправильно указано, что бывший чернопеределец Загорский сотрудничает в берлинской „Заре“: это—его однофамилец.

„ „ 122 Петров скончался вскоре после нашего возвращения из ссылки, но сам он в ссылке не был.

„ „ 122 Лавров был не в Восточной Сибири, а в Западной.

„ „ 210 во втором абзаце надо читать вместо: „Рус(ские)“—„Рус(анов)“.

ОПЕЧАТКИ, ЗАМЕЧЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СБОРНИКЕ.

стр.	*строка:*	*напечатано:*	*должно быть:*
77	12 сн.	Успенский	Успенской
88	9 св.	их	ее
120	2 сн.	Ротбертуса	Родбертуса
121	16 св.	нет,	не
147	6 сн.	и понимать	и хочет понимать
163	22 св.	корректности	кротости
164	4 сн.	приходили	проходили
165	20 „	Ливенсон	Левенсон
181	21 „	пространства	пространстве
182	20 „	провожаемый	провожаемый
214	4 „	тоже	точно
244	15 св.	эмигрировал	эмигрировала
310	19 „	печему	почему
„	12 сн.	большой	бо́льший
312	14 „	о скоре	о сроке
353	12 св.	неприкосновенности	непогрешимости